



**QUAESTIO
ROSSICA**

ISSN 2311-911X

QR.URFU.RU

Russia as Intellectual Adventure

The Many Faces of the 17th Century:
Russia's Path to Modernity

European Identity of the Pskov Republic

2013 № 1

Редакционная коллегия журнала

Главный редактор

проф. Ф.-Д. Лиштенан (Франция)

Ответственные редакторы:

по историческим наукам

проф. Д. А. Редин (Россия)

по культурологии и филологии

проф. Л. С. Соболева (Россия)

Куратор отдела рецензий

проф. М. А. Литовская (Россия)

Ответственный секретарь

доц. Р. Т. Ганиев (Россия)

Члены редколлегии

проф. В. В. Абашев (Россия)

проф. В. А. Аракчеев (Россия)

проф. Е. Л. Березович (Россия)

PhD. М. Бинне (США)

к. и. н. К. Д. Бугров (Россия)

проф. Е. М. Главацкая (Россия)

д. и. н. А. Горак (Польша)

к. и. н. Ю. В. Запарий (Россия)

PhD. А. В. Келлер (Россия)

проф. Н. А. Купина (Россия)

проф. О. Л. Лейбович (Россия)

д. и. н. И. В. Побережников (Россия)

проф. Д. О. Серов (Россия)

проф. М. Тиссье (Франция)

PhD. Г. Робертс (Франция)

проф. Е. К. Созина (Россия)

Редакционный совет

проф. Е. В. Анисимов (Россия)

д. и. н. Е. Т. Артемов (Россия)

проф. С. Бертолисси (Италия)

проф. П. Бушкович (США)

проф. Б. М. Гаспаров (США)

чл.-корр. РАН А. В. Головнев (Россия)

д. и. н. И. Н. Данилевский (Россия)

проф. Ч. Даннинг (США)

проф. Е. И. Дергачева-Скоп (Россия)

проф. А. Л. Зорин (Великобритания)

проф. Т. Н. Красавченко (Россия)

проф. С. Л. Кропотов (Россия)

проф. Лай Инчуань (Китай)

проф. Д. Майклсон (США)

проф. А. Мустайоки (Финляндия)

д. и. н. С. А. Нефедов (Россия)

проф. М. Перри (Великобритания)

д. и. н. В. Я. Петрухин (Россия)

проф. Р. Г. Пихоя (Россия)

проф. Д. Свак (Венгрия)

проф. Н. А. Фатеева (Россия)

Отдел переводов

к. ф. н. Т. С. Кузнецова

А. А. Дергачева

М. И. Михайлова

Journal Editorial Board

Editor-in-Chief

Prof. F.-D. Liechtenhan (France)

Section Editors:

History Studies

Prof. Dmitry Redin (Russia)

Culture Studies and Philology

Prof. Larisa Soboleva (Russia)

Reviews Section Editor

Prof. Maria Litovskaya (Russia)

Executive Secretary Associate

Dr. Rustam Ganiyev (Russia)

Editors

Prof. Vladimir Abashev (Russia)

Prof. Vladimir Arakcheev (Russia)

Prof. Elena Berezovich (Russia)

PhD. Matthew Binney (USA)

Dr. Konstantin Bugrov (Russia)

Prof. Elena Glavatskaya (Russia)

Dr. Artur Górak (Poland)

Dr. Julia Zapariy (Russia)

PhD. Andrey Keller (Russia)

Prof. Natalia Kupina (Russia)

Prof. Oleg Leybovich (Russia)

Dr. Igor' Poberezhnikov (Russia)

Prof. Dmitry Serov (Russia)

Prof. Michel Tissier (France)

PhD. Graham H. Roberts (France)

Prof. Elena Sozina (Russia)

Editorial Council

Prof. Evgeniy Anisimov (Russia)

Dr. Evgeniy Artemov (Russia)

Prof. Sergio Bertolissi (Italy)

Prof. Paul Bushkovitch (USA)

Prof. Boris Gasparov (USA)

Dr. Andrey Golovnev (Russia)

Dr. Igor Danilevsky (Russia)

Prof. Chester Dunning (USA)

Prof. Elena Dergacheva-Skop (Russia)

Prof. Andrey Zorin (UK)

Prof. Tatiana Krasavchenko (Russia)

Prof. Sergey Kropotov (Russia)

Prof. Lai Yin Chuang (China)

Prof. Gerald Michaelson (USA)

Prof. Arto Mustajoki (Finland)

Dr. Sergey Nefedov (Russia)

Prof. Maureen Perrie (UK)

Dr. Vladimir Petrukhin (Russia)

Prof. Rudolf Pihoya (Russia)

Prof. Gyula Szvák (Hungary)

Prof. Natalia Fateyeva (Russia)

Translators

Dr. Tatiana Kouznetsova

Anna Dergacheva

Margarita Mikhailova

Журнал основан в 2013 г.
Выходит 3 раза в год

Учредитель – Уральский феде-
ральный университет им. первого
Президента России Б. Н. Ельцина
620000, Россия, Екатеринбург,
пр. Ленина, 51

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-56174 от 15.11.2013

«Quaestio Rossica» – рецензируемый на-
учный журнал, сферой интересов кото-
рого являются исследования в области
культуры, искусства, истории, археологии,
лингвистики и литературы России. Задача
журнала – расширить представления
о российском гуманитарном дискурсе
в пространстве мировой науки. Приоритет
отдается публикациям, в которых исследу-
ются новые исторические и литературные
источники, соблюдаются академизм и науч-
ная объективность, присутствует истори-
ографическая полнота и полемическая на-
правленность. К публикации принимаются
статьи на русском, английском, немецком
и французском языках. Полнотекстовая
версия журнала находится в режиме сво-
бодного доступа на сайте журнала и разме-
щается на платформе Российского индекса
научного цитирования (РИНЦ) Российской
универсальной научной электронной би-
блиотеки. Более полная информация о жур-
нале и правила оформления статей разме-
щены на сайте: <http://qr.urfu.ru>

Контактная информация
Россия, 620000,
Екатеринбург, пр. Ленина, 51, оф. 260
E-mail: press-urfu@mail.ru

Тираж 500 экз.

Отпечатано в типографии Издательско-
полиграфического центра УрФУ
620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4
Тел.: +7 (343) 350-56-64, 350-90-13
Факс: +7 (343) 358-93-06
E-mail: press-urfu@mail.ru

© Уральский федеральный университет, 2013

Established in 2013
Published three times a year

Founded by Ural Federal University
named after the first President
of Russia B. N. Yeltsin
51, Lenin Ave., 620000, Yekaterinburg,
Russia

Journal Registration Certificate # FS77-
56174 as of 15.11.2013

“Quaestio Rossica” is a peer-reviewed aca-
demic journal focusing on the study of
Russia’s culture, art, history, archaeology,
and linguistics. The Journal aims to broaden
the idea of the Russian humanities discourse
within the international scientific space.
Priority is given to articles considering new
historical and literary sources, observing
rules of academic writing and objectivity,
and characterized by historiographic com-
pleteness and polemic approach. The Journal
publishes articles in Russian, English,
German and French. The full-text version of
the Journal is available free of charge on the
website of the Journal and is published on
the platform of the Russian Science Citation
Index of the Russian Universal Scientific
Electronic Library. For more informa-
tion on the Journal and article submission,
please consult the website of the Journal:
<http://qr.urfu.ru>

Address
Office 260, Lenin Ave.,
620000, Yekaterinburg, Russia
E-mail: press-urfu@mail.ru

Circulation 500 cop.

Publisher: Ural Federal University Publishing
Centre (Izdatel'stvo Ural'skogo universiteta)
4, Turgenev St., 620000 Yekaterinburg, Russia
Phone: +7 343 350 56 64, +7 343 350 90 13
Fax: +7 343 358 93 06
E-mail: press-urfu@mail.ru

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS

Vox redactoris

Préface de l'éditeur [с переводом на русский] (<i>F.-D. Liechtenhan</i>) 5	Editor-in-Chief's Introduction [in French, in Russian] (<i>F.-D. Liechtenhan</i>) 5
От редколлегии [с переводом на английский] (<i>Д. Редин, Л. Соболева</i>) 8	Preface of the Editorial Board [in Russian, in English] (<i>D. Redin, L. Soboleva</i>) 8

Scientia et vita

<i>Rüß Hartmut</i> . Familiengeschichte und Russlandinteresse [с переводом на русский]. 13	<i>Hartmut Rüß</i> . Family History and Interest in Russia [in German, in Russian]. 13
<i>Dunning Chester</i> . Russia in a Scholar's Life [с переводом на русский]. 27	<i>Chester Dunning</i> . Russia in a Scholar's Life [in English, in Russian] 27

Problema voluminis

Многоликий XVII век: русский путь к модернизации	The Many Faces of the 17 th Century: Russia's Path to Modernity
<i>Редин Дмитрий</i> . Переходные эпохи, власть и дидактика исторического знания: культурно-семиоти- ческое прочтение 43	<i>Dmitry Redin</i> . The Power and the Teaching of History in the Times of Transition: A Cultural-Semiotic Perspective. 43
<i>Трёбст Штефан</i> . Судьбоносный 1667 год? К дебатам о «прорыве в Новое время» Московского централизованного государства [с предисловием <i>Р. Пихои</i>] . . . 52	<i>Stefan Troebst</i> . 1667 – a Crucial Year? On the Debates about the “Breakthrough to the Modern Era” of the Moscow Centralized State [foreword by Rudolf Pikhovia] . . . 52
<i>Liapin Denis</i> . Political Struggle in Russia in the Summer of 1645 and Oath of Allegiance Registries . . 73	<i>Denis Lyapin</i> . Political Struggle in Russia in the Summer of 1645 and Oath of Allegiance Records. 73
<i>Kosheleva Olga</i> . The Formation of the Intellectual Elite in the 17 th century and works of Prokhor Kolomnyatin . 79	<i>Olga Kosheleva</i> . The Formation of the Intellectual Elite in the 17 th century and works of Prokhor Kolomnyatin . 79
<i>Акельев Евгений</i> . Из истории введения бородобрития и «немецкого» костюма в петровской России. 90	<i>Evgeny Akelyev</i> . On the History of Beard Shaving and the Introduction of «German» Clothing in Peter the Great's Russia. 90

Disputatio

<i>Arakcheyev Vladimir</i> . Political Organization in the Pskov Republic: The Prince, the Veche and Sovereignty 101	<i>Vladimir Arakcheyev</i> . Political Organization in the Pskov Republic: the Prince, the Veche and Sovereignty. 101
---	--

<i>Бугров Константин</i> «Вольность, дар бесценный»: республиканская концепция политической свободы в России конца XVIII в. 117	<i>Konstantin Bugrov</i> “Liberty, a Priceless Gift”: On the Formation of the Republican Concept of Liberty in Late 18 th Century Russia. 117
<i>Черников Сергей</i> . Российский генералитет 1725–1730 гг.: численность, национальный и социальный состав. 128	<i>Sergey Chernikov</i> . The Russian General Staff in 1725–1730: Personnel, Ethnic and Social Structure. 128
<i>Keller Andreas</i> . Der deutsch-russische Unternehmer Andreas Knauf im Ural. Der Aufstieg 144	<i>Andreas Keller</i> . The German-Russian Entrepreneur Andreas Knauf in the Urals. The Ascent. 144
<i>Лиштенан Франсин-Доминик</i> Якоб фон Штелин, придворный историограф и педагог XVIII в. . . 160	<i>Francine-Dominique Liechtenhan</i> . Jacob von Staehlin, 18 th century Court Historiographer and Teacher. . . . 160

Dialogus

Old Belief in the Mirror of Literary Work (<i>Soboleva Larisa</i> , <i>Zhuravel Olga</i>). 173	Old Belief in the Mirror of Literary Work (<i>Larisa Soboleva</i> , <i>Olga Zhuravel</i>). 173
--	--

Critica

<i>Snigireva Tatiana</i> . The History of Literature and its Ethnopoetics: Realization of a Large Scale Project 193	<i>Tatiana Snigireva</i> . The History of Literature and its Ethnopoetics: Realization of a Large Scale Project 193
<i>Трёбст Штефан</i> . Европеизация России в исследовании Ярмо Т. Котилайне 206	<i>Stefan Troebst</i> . Russia's Europeanization in Jarmo T. Kotilaine's Work 206
Сокращения 211	Abbreviations 211

VOX REDACTORIS

Préface de l'éditeur

Quaestio Rossica? Certains s'interrogeront pourquoi créer une nouvelle revue, alors que nombre de ses consœurs sont obligées de cesser leurs activités. Or, cette nouvelle venue sur le marché des publications scientifiques se distingue par son caractère novateur et centralisateur. Elle cherche d'abord à créer des liens entre les différents centres de recherche sur l'ex-URSS, la Russie impériale et la Fédération de Russie actuelle en publiant, sur un mode régulier, des informations sur leurs membres et leur lien avec la Russie. Ces données prosopographiques forment une des bases pour faciliter les contacts entre les chercheurs et de ce fait entre les institutions. Un de nos premiers soucis, c'est de faire découvrir des centres de recherche provinciaux, n'ayant pas pignon sur rue, mais dont les travaux sont révélateurs pour une science vivace, même si elle reste excentrée et loin des grands centres de documentation sis dans les capitales. Cette recherche régionale participe activement à l'avancement des connaissances et reste fortement méconnue, tant à l'Est qu'à l'Ouest. Dans le même ordre de logique, Quaestio Rossica, fournit des informations bibliographiques aujourd'hui difficilement accessible, ou, avec un retard considérable. Les ouvrages les plus novateurs seront retenus et confiés à un spécialiste pour en faire la recension. L'objectif de cette nouvelle revue est donc de déployer sa force d'intégration et de ne négliger ni les chercheurs, de tout âge par ailleurs, et leurs instituts aussi modestes soient-ils. Il va sans dire qu'elle portera un soin particulier à trouver les historiens, historiens de l'art, philologues, culturologues etc. travaillant dans des centres qui ne sont pas spécialisés sur la Russie.

Quaestio Rossica se veut donc avant tout pluridisciplinaire ; même si l'histoire occupe une large place dans ses volumes à venir, elle s'ouvre aux différents horizons des sciences humaines. Des articles scientifiques doivent alterner avec la publication de textes inédits, dans leur langue originale (cyrillica, gothica) suivis de leur translittération et de leur traduction. Ces publications archéographiques seront dûment annotées et introduites par les maîtres d'œuvres de ces éditions qui pourront parfois occuper tout un volume. L'école soviétique excellait en cette matière. Ce constat a aussi inspiré un autre aspect de cette nouvelle revue ; nous souhaiterions rééditer des articles, établissements de textes issus des écoles soviétiques par trop décriées de nos jours. Si l'ouverture des archives en 1991 a permis un formidable essor historiographique, consacré avant tout à la période soviétique, et un renouvellement des sciences humaines, l'on assiste de nos jours à une certaine stagnation. Ce ralentissement s'explique entre autres

par un refus trop radical d'accepter les acquis de la recherche soviétique et de ce fait même d'une certaine méconnaissance des écoles universitaires russes actuelles. A preuve les innombrables rééditions d'ouvrages de l'époque tsariste, Karamzine, Soloviev, Klioutchevski, ou la traduction tous azimuts de monographies rédigées par des chercheurs étrangers, comme si rien de sérieux n'avait été publié entre 1917 et 1991 en URSS. Cette période, si l'on fait abstraction des introductions teintées d'idéologies ou ornées de citations de Lénine, Marx ou Staline, produisit pourtant de grands chercheurs, songeons aux regrettés S. M. Troïtski, A. Ya. Gourevitch ou, pour n'en citer que trois, à F. I. Ouspenski. Quaestio Rossica a pour objectif de réhabiliter les résultats scientifiques de plusieurs générations de chercheurs aujourd'hui injustement oubliés en rééditant leurs articles ou partie de leurs œuvres. La revue a donc un objectif essentiel : témoigner d'une certaine exception scientifique russe en comparant les différentes étapes de son évolution spécifique, non sans négliger la comparaison avec les différentes écoles européennes, américaines ou asiatiques.

Le présent volume est, pour la majorité des articles, consacré à l'époque moderne et associe des travaux relevant de l'histoire, de la civilisation et de la littérature russe. Ils sont présentés dans leur langue originale avec une traduction en russe. Comme annoncé, un article est spécialement consacré aux causes de l'intérêt pour la Russie chez les chercheurs occidentaux, une enquête qui est destinée à être poursuivie au fil des générations et des volumes à venir de Quaestio Rossica.

«Quaestio Rossica»? Новый журнал? Зачем создавать новый журнал, спросит иной, когда множество его собратьев вынуждены свертывать свою деятельность? Возьму смелость ответить, что этот журнал – новое явление на рынке научных изданий, которое выделяется своим новаторским и консолидирующим характером. Первая задача журнала – укрепление связей между различными центрами в России и в мире, специализирующимися на исследованиях по истории и культуре России с древности до наших дней. Регулярные публикации научной информации такого рода формируют новые области исследования, институционально интегрируют русистов в единое сообщество, стимулируют становление нового поколения авторов. Другая важная задача – привлечение внимания профессионального сообщества к провинциальным исследовательским центрам, попытка выхода за пределы тематического пространства, сфокусированного на проблемах российских столиц. Региональная наука, не занимающая первенствующего положения в «официальной» иерархии университетских и академических центров России, остается в значительной

степени неизвестной сегодня как на Западе, так и на Востоке. Она кажется далекой от крупных архивных и музейных центров, но на деле это не так: совокупный источниковый и культурный потенциал российской провинции чрезвычайно богат и разнообразен, а творческий поиск и деятельность региональных исследовательских институтов обладают – в лучших своих проявлениях – чертами, характерными для живой науки. Следуя этому факту, «*Quaestio Rossica*», не отказываясь от сотрудничества с признанными специалистами из Москвы и Санкт-Петербурга, ставит своей целью поиск исследователей – историков, филологов, культурологов, историков искусства, работающих в различных российских и зарубежных центрах. На основе предельно объективного рецензирования журнал готов предоставлять возможность публикации любым незаурядным и талантливым авторам независимо от их возраста или формального статуса, каким бы скромным он ни был. Журнал будет представлять на суд экспертного сообщества тот широкий пласт трудноступной или значительно запаздывающей сегодня информации, которая имеется в сфере российских гуманитарных исследований.

«*Quaestio Rossica*» претендует на то, чтобы стать полидисциплинарным изданием, разрушающим институциональные и языковые барьеры, помогающим сотрудничеству представителей различных гуманитарных наук, формирующим создание общего интеллектуального пространства гуманитаристики.

Научные обобщающие и аналитические статьи будут чередоваться с публикациями ранее не изданных источников, имеющих отношение к русской тематике, на языках оригинала (с использованием в том числе кириллического и готического шрифтов). В соответствии с современными археографическими нормами они будут снабжены надлежащими комментариями и опубликованы в журнале. Надо заметить, что высокий уровень публикаций исторических источников составлял одну из сильных сторон советской научной традиции. Понимание этого факта подвигло нас к необходимости актуализации советского научного наследия. Открытие российских архивов в 1991 г. стало стимулом мощного историографического подъема, обновления гуманитарных наук, в первую очередь исторической, появления ярких исследований, посвященных прежде всего советскому периоду. Вместе с тем произошел слишком радикальный отказ от достижений советских ученых и, в силу этого, сформировалась явная недооценка значимости современных российских научных школ. За доказательствами не надо далеко ходить: неисчислимые переиздания классиков дореволюционной русской историографии (Н. М. Карамзина, С. М. Соловьева, В. О. Ключевского) и монографий иностранных историков всех направлений создают впечатление, что в период между 1917 и 1991 гг. в России не было написано и издано ничего существенного. Между тем это не соответствует действительности: советская эпоха дала многих крупных историков, достаточно вспомнить ушедших Ф. И. Успенского, С. М. Троицкого или А. Я. Гуревича, и

этот список можно бесконечно продолжать. Многие из советских историков были вынуждены уснащать введения и предисловия своих книг цитатами из Ленина, Маркса или Сталина; ряд трудов был проникнут идеологией, но если абстрагироваться от этого, то мы поймем, что советская эпоха была богата талантливыми авторами высокой академической культуры. «Quaestio Rossica», таким образом, видит еще одной из своих задач реабилитацию научных результатов нескольких поколений несправедливо забытых или недооцененных сегодня исследователей. Журнал намерен переиздавать их статьи или фрагменты из их трудов, а также готовить ряд исследований биобиблиографического характера.

Итак, главная цель журнала – свидетельствовать о своеобразии российской научной традиции, изучать различные этапы ее эволюции в плотном контексте и сопоставлении с многообразными европейскими, американскими и азиатскими научными школами русистики.

Первый номер журнала, статьи которого в основном посвящены Новому времени, объединяет работы, касающиеся различных аспектов русской истории, литературы и культуры в широком понимании этого слова. Особый раздел, открывающий номер, содержит статьи зарубежных исследователей, объясняющих свой интерес к России и раскрывающих их взгляд на ее современное состояние. Публикация такого рода материалов будет продолжена (на языке оригинала и в переводе на русский язык) и в последующих номерах.

Франсин-Доминик Лиштенан

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Вниманию научного сообщества предлагается новый проект – международный научный журнал «Quaestio Rossica». Журнал основан в 2013 г. редакторским коллективом Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета. Идея создания журнала вызвала интерес ряда ведущих ученых России и зарубежья, мы им безмерно благодарны за поддержку и веру в осуществление проекта. Многие из них вошли в редакционный коллектив журнала. Обязанности главного редактора согласилась возложить на себя видный французский специалист по истории России профессор Франсин-Доминик Лиштенан.

В журнале на равных основаниях предоставляется место для публикации статей коллегам из зарубежных центров русистики. Объединение различных научных традиций всегда плодотворно и способствует выработке иммунитета к фальсификации и необоснованным выводам. Редколлегия надеется, что в публикуемых материалах обращение к новым источникам в освещении прошлого и настоящего будет сочетаться с конструктивным переосмыслением прежних схем, формированием новых концепций и многообразием подходов.

Редколлегия отдает приоритет статьям, в которых привлекаются новые исторические источники и малоизвестные литературные и языковые явления, открывается процесс культурного взаимодействия синхронного и диахронного планов, анализируются новые артефакты.

Мы надеемся, что журнал войдет в международные индексы рецензируемых журналов, а российская тематика займет достойное место в мировой гуманитаристике.

Журнал открывают эссе ведущих зарубежных исследователей Хартмута Рюсса и Честера Даннинга о их интересе к российской истории.

Объединяющей проблемой первого номера (рубрика «*Problema voluminis*») стало время, когда определялись направления исторического пути России, – XVII–XVIII столетия, так как эта эпоха схожа с процессами, происходящими в современной России. Важной для российских историков является статья Шт. Трёбста, которую мы перевели с разрешения автора на русский язык. Статья освещает переломный для России год 1667-й и публикуется с предисловием профессора Рудольфа Пихои. Столь же новаторской является работа Ольги Кошелевой, освещающей процесс формирования интеллектуальной элиты России и приближение новой литературной эпохи. Новые материалы вводят статьи Дениса Ляпина, где использованы крестоприводные записи 1645 г., и Евгения Акельева об идеологическом контексте внешнего облика человека петровского времени.

В рубрике «*Disputatio*» публикуются статьи, касающиеся европейской идентичности России в связи с республиканскими интенциями. Эта тема представлена при освещении истории властных структур Псковской республики XV в. в статье Владимира Аракчеева и раскрытии республиканского дискурса XVIII столетия в статье Константина Бугрова. Новые источники вводятся в статью Сергея Черникова о российском генеральском корпусе 1725–1730 гг. Этот исследовательский вектор, связанный с обращением к новым историческим источникам, отвечает целям журнала. Столь же важной и постоянной может стать в журнале тема о деятельности иностранцев в России и россиянах за рубежом. Урало-Сибирский регион интересен для иностранцев различными областями. Среди них было немало деятельных, образованных и масштабно мыслящих людей, для которых Россия становилась второй родиной. Деятельность и многогранность личности академика XVIII в. Якоба Штелина рассмотрена в статье Ф.-Д. Лиштенау. Рассказ об уральском горнозаводчике немце Андрее Кнауфе на основании новых данных начинается в этом номере Андрей Келлер.

В рубрике журнала «*Dialogus*» публикуется беседа автора глубокой и новаторской работы о литературном творчестве российских старообрядцев О. Журавель и профессора УрФУ Л. Соболевой.

С первого номера в разделе «*Critika*» мы начинаем публикации рецензий на вышедшие монографии. Перекликаются между собой аналитическая рецензия профессора УрФУ Татьяны Снигиревой об академическом труде – «Истории литературы Урала XIV – XVIII вв.»,

где впервые открываются духовные поиски населения в многонациональном регионе со сложной исторической судьбой, и рецензия Шт. Требста на книгу финского исследователя Ярмо Котилайне (Jarmo Kotilaine) о российской политической и экономической экспансии в XVII столетии. Обе рецензии связаны с работами, где на основании конкретных фактов выстраиваются глубокие теоретические концепции, структурирующие историческое время и пространство России.

The Editorial Board would like to introduce a new international academic journal *Quaestio Rossica* founded in 2013 by the staff of the Institute of Humanities and Arts of Ural Federal University. This idea was greeted with great interest and approval of leading scholars in Russia and abroad alike, and we are infinitely grateful for the support and belief they give us and our project. Many of the scholars I mentioned have joined the Editorial Staff of the Journal. Professor Francine-Dominique Liechtenhan, a distinguished French historian of Russia has kindly agreed to become Editor-in-Chief.

The Journal gives foreign scholars of Russia possibilities for publication equal to those of their Russian peers, as the combination of a variety of academic traditions is always fruitful and helps acquire immunity to falsification and unfounded conclusions. Priority is given to articles written with reference to new historical sources and little-known literary and linguistic phenomena, reflecting cultural interaction (synchronic and diachronic alike), and analyzing new artifacts.

The Editorial Board expects the articles to be published in the Journal to refer to new sources in their account of the present and past, as well as contribute to constructive reconsideration of former patterns, and to the formation of new concepts, and demonstrate a multitude of approaches. Articles are published in accordance with the rules applied to academic journals included into citation indexes. We have a well-grounded hope that our effort will not be wasted, and the Journal will be included into international citation indexes of peer-reviewed journals, and Russian themes will occupy a fitting place in the world humanities.

*Дмитрий Редин
Лариса Соболева*

SCIENTIA ET VITA





This section is meant for essays of foreign scholars who made Russian history and literature their object of study. The editorial board suggested that such scholars answer several questions about how they first took interest in Russia, what their choice of aspect for research was determined by, how they viewed modern Russian studies, and the image of Russia in the present-day world, etc. In effect, such articles are historical sources on Russian discourse, that is why the Journal publishes these articles both in the original and in the Russian translation.

For this issue, Hartmut Rüß, a renowned historian and professor at the University of Münster has provided his reflections on the importance of family history for his interest in Russia. His essay is full of vivid and meaningful details and paradoxes, the author's dedication to what he does is worthy of admiration. The text is filled with both sincere gratitude to Russia's cultural heritage and worries about its troubled destiny. This all is of immense importance to us now that Russia is to choose its way again.

Chester Dunning, professor of History and Murray and Celeste Fasken Chair in Liberal Arts, Department of History, Texas A&M University, College Station has authored a paper answering the aforementioned questions. His freethinking, professionalism and talent of a narrator draw the reader's attention. His attitude towards Russia which is both critical and constructive, based on the scholar's knowledge of Russian research schools and respect to the achievements of Russian academic thought testify to the substantial potential of Russian-American interaction in the sphere of historical study

В этом разделе публикуются эссе зарубежных ученых, для которых русская история и литература стали главными объектами исследования. Редколлегия предложила ученым ответить на несколько вопросов, касающихся возникновения интереса к России, выбора аспекта изучения, состояния современной русистики, образа России в современном мире etc. Эти эссе стали своеобразным введением в тему российского дискурса и публикуются на языке оригинала и в переводе на русский.

Свои размышления о значении семейной истории в интересе к России предоставил известный историк, профессор Вестфальского университета имени Вильгельма **Хартмут Рюсс**. Его эссе наполнено удивительно живыми и многозначными деталями, удивляет парадоксами и восхищает верностью избранному делу, искренним интересом к культурному наследию России и болью за ее непростую судьбу.

Честер С. Л. Даннинг, профессор истории и заведующий кафедрой гуманитарных наук имени Мюррея и Селесты Фаскен Техасского университета А & М в Колледж-Стейшен, подготовил публикацию в форме ответов на поставленные вопросы. В его ответах привлекает свобода мышления, профессионализм и несомненный талант рассказчика. Отношение к России, одновременно критическое и конструктивное, основанное на знании российских научных школ и уважении к достижениям русской науки и культуры, превращает эти заметки в важное свидетельство потенциала во взаимосвязях русской и американской исторической науки

FAMILIENGESCHICHTE UND RUSSLANDINTERESSE

Am 3. Mai kamen die Russen in unser Dorf.¹ Den als besonders indoktriniert geltenden Einheiten der 2. Belorussischen Front ging unter der Zivilbevölkerung ein schlechter Ruf voraus. Die überwiegende Mehrheit der 53000 starken Truppe, fast die Hälfte von ihnen Parteimitglieder und Komsomolzen, stammte vermutlich aus Weißrussland (Vgl. Schulz-Naumann 1989, 156), das den Terror und die Verbrechen der deutschen Besatzung erlebt hatte. Im Schulhaus, das wir als Lehrerfamilie bewohnten, herrschte schockstarre Erwartungsangst. Die meisten Wohnräume und alle Klassenzimmer waren mit Menschen voll gestopft. Der Krieg im Osten trieb sie massenweise vor sich her nach Westen. Abends kamen Familien aus dem Ort zum Übernachten, weil sie sich hier unter vielen Leuten sicherer fühlten, als allein in ihren Häusern. Im Garten des gegenüberliegenden Bauerngehöfts fand man die Leichen des Besitzerpaares und ihrer beiden Söhne. Einige Dorfbewohner hatten Schreie gehört. Der Bauer hatte sich bei den auf seinem Hof arbeitenden Kriegsgefangenen verhasst gemacht. Aber es konnte auch Selbstmord gewesen sein, aufgeklärt wurde der Fall nie. Die jungen Frauen machten sich alt, verbargen sich unter dicker, abgerissener Arbeitskleidung und ließen fettige, ungepflegte Haarsträhnen in bleich gemachte Gesichter fallen, die von hässlichen Kopftüchern halb zugedeckt waren (zu dem lange Zeit tabuisierten Thema, vgl.: Grossmann, 1995, 43–63). Erst einige Tage später wird der russische Kommandant verkünden lassen, dass die jungen Frauen nicht mehr wie Großmütter herumzulaufen brauchten. All das weiß ich natürlich nur aus Erzählungen, denn ich war an diesem Tag genau 3 Jahre, 5 Monate und 6 Tage alt. Und vielleicht genau an diesem 3. Mai 1945 hob mich ein russischer Soldat (in meiner späteren Erinnerung musste es unbedingt ein Offizier sein!) auf den Arm, tätschelte und neckte mich scherzhaft und strahlte mich dabei mit großen Augen an. Das ist die allererste Erinnerung meines Lebens. Die allererste, wohlgemerkt! Ich habe mich oft gefragt, warum gerade dieses Bild des mich anlächelnden und in fremden Lauten freundlich auf mich einredenden Rotarmisten so tief in mir haften geblieben ist, als ob es mein ganzes weiteres Leben auf geheimnisvolle Weise beeinflusst hätte. War es die panische Angst vor der Ungewissheit, vor den lauernden, unberechenbaren

¹ Es handelte sich um das 8. Mechanische Korps der 49. Armee der 2. Belorussischen Front, das in den letzten Apriltagen von Südosten her in Richtung Ludwigslust vorstieß.

Gefahren, vor der Rache der Sieger, die sich in den Gesichtern der Erwachsenen eingegraben hatte, die ich instinktiv wahrnahm und die sich nun durch die unerwartete „Menschlichkeit“ des vermeintlich „bösen Russen“ gleichsam in Luft auflöste? Jedenfalls muss ich eine unendliche Erleichterung verspürt haben, in die Augen eines „Guten“ und nicht eines „bösen Wolfs“ zu schauen.

Wenn man mich in späteren Jahren, wie es öfter vorkam, danach fragte, warum ich mich mit russischer Geschichte und Kultur befassen würde – weswegen man übrigens bis weit über den Kalten Krieg hinaus auch im privaten Verkehr im Westen Deutschlands lange Zeit noch unter einem gewissen Rechtfertigungszwang stand –, so trat mir unweigerlich immer jene meine erste Erinnerung lebendig vor Augen.

Während alles nach Westen strebte, zogen wir ostwärts zu meinen Großeltern mütterlicherseits. Sie gehörten zur kleinen bäuerlichen Oberschicht ihres Dorfes und besaßen außer dem Hof ein Haus, das wegen seiner ungewöhnlichen Architektur von den Dorfbewohnern als „Villa“ bezeichnet wurde, in die wir nun einzogen. Mein Großvater war von stattlicher Größe und verströmte in seinem Äußeren die Aura eines „Herrn“ und wohlhabenden Großbauern, der er in jenen Jahren für kurze Zeit noch war. Die Russen hatten ihn, der eine anerkannte Dorfautorität war, vorübergehend zum Bürgermeister ernannt. Als ehemals „Deutschnationaler“, der den Nazis relativ kritisch gegenüber gestanden hatte, erschien er ihnen politisch unverdächtig. Für seine kurzzeitige Verhaftung wegen angeblicher Nichterfüllung des Ablieferungssolls wurden zu Hause vor allem die „deutschen Kommunisten“ und „Spitzel“ verantwortlich gemacht, weniger die Russen, obwohl jene ja nur deren übereifrige Erfüllungsgehilfen waren. Bei meinen Großeltern war zeitweise ein russischer Major einquartiert, der dafür gesorgt haben soll, dass es im Dorf kaum zu willkürlichen Übergriffen gekommen ist. Über den Major sprach man im Hause des Großvaters nur mit Respekt und Hochachtung. Mich faszinierten am meisten seine Uniform und seine blitzblank gewienerten Stiefel.

Es war einer dieser unglaublich heißen Augusttage 1945. Das Dorf lag still in der flimmernden Nachmittagsshitze. Der Sand unter den Füßen brannte, die Blumen im Garten ließen kraftlos ihre Köpfe hängen, die Hühner, mit offenen Schnäbeln als schnappten sie nach Luft oder schrien um Hilfe, flüchteten unter schattige Büsche, und alle Welt sehnte die Abendkühle herbei. Die beiden unbekannten Männer in Ledermänteln und mit Hut, die dem schwarzen Auto entstiegen waren, das seit geraumer Zeit vor unserem Haus parkte, hatten anderes im Sinn. Sie starrten den Sandweg entlang, der zur Ackerflur meines Großvaters aus dem Dorf heraus führte, und rauchten. Meine Mutter befand sich in hellster Aufregung. Unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen, rannte sie kopf- und ziellos von einem Zimmer ins andere, wühlte panisch im Kleiderschrank herum und schaute hinter

der Gardine ab und an entsetzt auf die beiden Gestalten, die ihr soeben mitgeteilt hatten, dass sie ihren Mann zu einem Verhör in die Kreisstadt nach Parchim bringen müssten.

Vom Ende des Dorfes näherte sich das mit Korngarben hoch beladene Pferdefuhrwerk. Die Männer warfen die Reste ihrer Zigarette weg und blickten angespannt in die Richtung. Als der Leiterwagen die Kreuzung bei unserer „Villa“ erreichte, hielten sie ihn an. Oben auf dem Erntewagen sitzt mein Vater in grauem Knickerbocker mit Hosenträgern und weißem Unterhemd. Ich habe die Szene vor Augen, als sei es gestern gewesen. Mein Vater wird aufgefordert abzustiegen und lässt sich am Strick des Ladebaums herunter. Er wird zum Auto geführt. Eine Jacke darf er mitnehmen, aber ja, selbstverständlich. Handtuch, Seife, Zahnbürste? Ja, natürlich, es ist nur für kurze Zeit, er kommt bald zurück. Es geht lediglich um die „Klärung eines Sachverhalts“. Dieser „Sachverhalt“ stellte sich als „das verbotene Ausgraben einer Leiche“ heraus. Die Schwester meiner Mutter war mit ihren drei kleinen Kindern auf dem Weg nach Westen in ein von einem fanatischen SS-Offizier angezetteltes Rückzugsgefecht zwischen die Fronten geraten und von einem Schuss ins Herz tödlich getroffen worden. Mein Vater hatte mit einem Verwandten in einer Nacht- und Nebelaktion die Tote ausgegraben und auf einem Pferdewagen in unser Dorf überführt. Die Männer, Deutsche, beschwichtigen meine Mutter: „Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Ihr Mann ist bald wieder zu Hause.“ Ich finde, dass sie nett sind. Einer streicht mir übers Haar. Mein Vater wird in einem schönen Personenwagen gefahren. Im Dorf hat niemand ein Auto und man sieht auch sonst keines. Irgendjemand muss ihn angezeigt haben. Die Vergangenheit holte ihn ein. Unter den Nazis war er vor dem Krieg zeitweise Ortsgruppenleiter gewesen. Das war der eigentliche Grund seiner Verhaftung.

Am nächsten Tag erblickten wir ihn noch einmal hinter dem vergitterten Kellerfenster einer Parchimer Stadtvilla, in der russische Kommandantur und NKWD einquartiert waren. Er wurde in den wenigen Tagen, die er dort war, gut behandelt, weil er den russischen Offizieren auf dem Klavier vorspielte. Dann verschwand er für drei Jahre aus unserem Gesichtskreis und kam in das russische Spezial- und Schweigelager Fünfeichen bei Neubrandenburg [vgl.: Morre 1997; Mironenko, Niethammer, von Plato, 1998]. Das erfuhren wir erst viel später und nur durch Zufall. Für mich änderte sich nicht viel, er war ja auch schon vorher während des Krieges, den er die meiste Zeit als Oberzahlmeister (ObItn) bei der Heeresgruppe Süd in Russland zubrachte, kaum zu Hause gewesen und nur sporadisch für wenige Urlaubstage bei uns aufgetaucht. Fotos zeugen davon. Seine Verhaftung ist meine erste Erinnerung an ihn. Als er nach drei Jahren zurückkehrte, habe ich ihn kaum wiedererkannt. Seine Haare waren schneeweiß. Über seine Leidenszeit im Lager hat er vor uns Kindern bis zu seinem Tod 1968 beharrlich geschwiegen. Auch über seine Soldatenzeit in Russland sprach er nicht. Schmerzhaft, belastende Erlebnisse werden

verdrängt, man erzählt sie nicht - eine allgemeine Erfahrung. Allerdings haben wir, aus instinktiver Rücksichtnahme vielleicht, auch nie danach gefragt. In vielen Familien gab es damals diese Gesprächsbarriere zwischen den Generationen, wenn die jüngste deutsche Vergangenheit und der Krieg im Osten zur Sprache kamen [vgl.: Heer, Naumann].

Szenenwechsel. Es wird im Spätherbst 1945 gewesen sein, als meine Mutter und ich in der Abenddämmerung hinter den Fenstergardinen des Wohnzimmers verstohlen die nicht enden wollenden Kolonnen von Russen beobachteten, die mit ihren Panje-Wagen durch unser Dorf in die umliegenden Wälder zogen. Unheimlich war das Schweigen, man hörte fast keinen Laut, keine Rufe, keine Befehle, nur das Schnaufen der Pferde. Als wenn die Soldaten, auf plötzliche Gefahr gefasst, die dörfliche Szenerie angespannt im Auge hatten, wie wir *s i e* hinter unserer Gardine. Es konnte aber auch der Eindruck ihrer großen Erschöpfung und Müdigkeit entstehen und dass sie nichts weiter im Sinn hatten, als endlich das nächtliche Biwak zu erreichen. Wer die Russen waren, woher sie kamen und warum sie hier waren, wusste ich nicht. Später entnahm ich den Gesprächen der Erwachsenen, dass die Deutschen den Krieg verloren hatten und die Russen die Sieger waren, was ihre Anwesenheit bei uns erklärte. Darüber, was vor dem Krieg war und warum es Krieg gegeben hatte, hat keiner mit mir gesprochen, ich hätte es wohl ohnehin nicht verstanden.

Fasziniert sahen wir Dorfkinder zu, wenn die russischen T34-Panzer die breiteste und tiefste Stelle unseres Baches neben einer alten Steinbrücke durchquerten und nur noch der Geschützturm aus dem Wasser ragte oder fast gänzlich verschwand und sie dann, triefend vor Wasser, als wäre ihr Bauch randvoll damit, ans andere Ufer gelangten. Es irritierte mich, dass für die einen die Russen die „Guten“ waren, für andere die „Bösen“. In der Schule, in die ich 1948 als Sechsjähriger kam, hörten wir nichts Schlechtes über sie. Dennoch war es mir schleierhaft, warum wir in Häusern lebten und sie in Wäldern, wo sie uns doch besiegt hatten [Naimark].

Im Repertoire des gemischten Dorfchores, den mein Vater nach seiner Rückkehr aus Neubrandenburg leitete, spielte russisches Gesangsgut eine gewisse Rolle. Besonders die „Abendglocken“ wurde mit Inbrunst gesungen und man versäumte nicht, mit bedeutungsvollem Blick und gesenkter Stimme zu erwähnen, dass dies Stalins Lieblingslied sei, was ihn mir sympathisch machte, da ich nichts anderes über ihn wusste. Das Lied war traurig, also war auch Stalin traurig.

Ein anderes russisches Kulturgut aus damaliger Zeit ist mir ebenfalls in unauslöschlicher Erinnerung geblieben: Alexander Fadeevs verfilmter Sowjetklassiker „Die Neunzehn“, in dem eine rote Partisanenabteilung im Fernen Osten gegen Japaner und „weiße“ Truppen des Admirals Koltschak kämpft. Dieser im Saal des Dorfkrugs gezeigte Film barg

für uns mit Flitzbogen und Katapulten „Indianer“ spielende Knaben ein hohes Identifikationspotential, wobei die roten Helden mit den dann später in Hamburg von mir bewunderten „Western“-Größen wie Jesse James, Wyatt Earp oder Zorro durchaus mithalten konnten. Die politisch-ideologischen Hintergründe des Films blieben uns natürlich verschlossen.

In der 5. Klasse, kurz vor der Flucht meiner Eltern aus der DDR nach Westberlin im Frühjahr 1953, lernte ich noch das russische Alphabet und erinnere mich an ein Schaubild im Russischunterricht, auf dem zu lesen stand: „Nina, Nina, tam kartina, eto traktor i motor.“²

Die Übersiedlung nach Westdeutschland war mit einem spürbaren Identitätsverlust verbunden, bei dem sich auch die *r u s s i s c h e n* Erlebnisanteile meiner ostdeutschen Knabenexistenz in die tieferen Schichten meines Bewusstseins absenkten, verdrängt wurden und gleichsam in den toten Zustand der Vergessenheit gerieten. „Russisches“ war mir nur noch als hauptsächlich durch Medien vermittelte ferne Großereignisse – aufständische Steinewerfer auf sowjetische Panzer in Ostberlin am 17. Juni 1953, Niederwerfung des ungarischen Volksaufstands durch die Sowjets im November 1956, Berliner Mauerbau im August 1961 – und dann im Gewand des als bedrohlich empfundenen Sowjetkommunismus mehr oder weniger gegenwärtig, aber natürlich ohne den hohen Grad emotionaler Betroffenheit, wie sie sich üblicherweise durch das unmittelbare persönliche Erleben einstellt.

Das änderte sich schlagartig, als ich, Gymnasiast noch und einige Monate vor dem Abitur, 1961 auf einer Party meine spätere Frau kennen lernte. Das „Russische“ kehrte durch ihre Familiengeschichte nach und nach massiv in mein Leben zurück. Schon bei der ersten Begegnung erfuhr ich, dass sie eine russische Großmutter hatte, die sich beharrlich einer korrekten deutschen Sprechweise und Grammatik verweigerte und zur Freude der Enkelkinder auf Russisch zu fluchen pflegte, was diese in den Besitz eines zwar nur sehr begrenzten Sprachschatzes, aber eines dafür umso charakteristischeren russischen Kulturguts brachte. Diese „Babuschka“ Olga war mit ihrem deutschbaltischen Mann, einem Psychiater, und zwei kleinen Töchtern 1918 vor den Bolschewiken aus Charkow nach Riga geflohen und dann später als Folge des Hitler-Stalin-Paktes nach Posen umgesiedelt worden. Ihre jüngere Tochter, die mit mir als Zweiundneunzigjährige 2010 nach Moskau reiste, um dort zum ersten Mal ihre russische Verwandtschaft zu besuchen, war 1940 in Leipzig, wo sie am dortigen Konservatorium Musik studierte, vom evangelischen zum russisch-orthodoxen Glauben konvertiert, was damals auf dem Höhepunkt der allgemeinen „Führer“-Hysterie und Sieges euphorie durchaus als ein Zeichen innerer Widerständigkeit gegen das Nazi-Regime aufgefasst werden konnte.

² Zum Einfluss sowjetrussischer Kultur in der unmittelbaren Nachkriegszeit vgl.: [Hartmann, Eggeling].

Die Großeltern väterlicherseits stammten ebenfalls aus Russland bzw. waren russische Untertanen deutschbaltischer Herkunft. Der zarentreue Großvater Wladimir A., dessen Vorfahren im 18. Jahrhundert in das zum Russischen Reich gehörende Baltikum eingewandert waren und die sich als Unternehmer und im Dienst der Zaren erfolgreich in die russische Gesellschaft integriert hatten,³ besaß ein Gut bei Saratov und wurde während der Revolution 1917 umgebracht. Der Familienüberlieferung zufolge sollen sich die leibeigenen Bauern bei der Witwe feierlich entschuldigt haben, „sie hätten es nicht gewollt“. Diese Großmutter „Oma Tasche“, wie sie später von ihren Enkeln scherzhaft genannt wurde, floh mit ihren beiden minderjährigen Söhnen nach Riga, das ihre Heimatstadt war, und gelangte durch die Umsiedlung 1939 mit ihnen und einer Schwiegertochter ebenfalls in den nationalsozialistischen „Mustergau“ Posen. Hier hat meine Frau Freya das Licht der Welt erblickt.

In beiden großelterlichen Familien bestand also eine starke lebensgeschichtliche und mithin auch mentale Affinität zu Russland und eine ebenso stark ausgeprägte antibolschewistische Einstellung, wie sie bekanntlich in deutschbaltischen Kreisen und bei russischen Emigranten ganz überwiegend anzutreffen war.

Bereits gegen Ende meiner Schulzeit und während meines Wehrdienstes habe ich mich, jetzt inspiriert durch die Beziehung zu meiner Frau, erstmals intensiver auch mit russischer Literatur befasst. Die russischen Klassiker standen auf dem Bücherregal von „Babuschka“ Olga, welche den Gogol'schen Schalk im Nacken hatte und ihre Sehnsucht nach Russland und dem ukrainischen Sternenhimmel mit Puschkins Versen beschwichtigte. Meine Entscheidung, von der Germanistik zur Slawistik zu wechseln, war somit eine zuvorderst emotionale, das heisst durch die Familiengeschichte angestoßene, für die es allerdings auch gewichtige rationale Argumente gab. Dass ich Geschichte studieren würde, stand für mich von vornherein fest. Mein Interesse für dieses Fach war nicht zuletzt das Resultat eines für damalige Verhältnisse sehr progressiven Geschichtsunterrichts durch einen hervorragenden Lehrer auf der Oberstufe des Gymnasiums. Dieser Lehrer Rudolf Lüdemann schärfte nicht nur unseren kritischen Blick für die jüngste deutsche Vergangenheit, sondern versuchte uns Schülern als Konsequenz aus diesem dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte den Geist der Versöhnung auch mit den ehemaligen östlichen Kriegsgegnern zu vermitteln, was in der politisch und medial aufgeheizten Stimmung des Kalten Krieges durchaus nicht selbstverständlich war.

Als ich im ersten Semester das Vergnügen hatte, bei Paul Johansen in Hamburg eine Vorlesung über „Russische Geschichte“ zu hören, stand für mich fest, dass ohne Kenntnis der russischen Sprache eine

³ Vgl. dazu demnächst meinen Aufsatz „Porträt eines Weitläufigen“ (erscheint 2014 in den „Forschungen zur baltischen Geschichte“); [Wette, Überschar].

Spezialisierung auf die osteuropäische Geschichte, zu der ich mich auch unter dem Eindruck dieser Vorlesung entschlossen hatte, schlechterdings unmöglich sei. Der Wechsel von der Germanistik zur Slawistik war deshalb nur folgerichtig.

Auf den verschlungenen Pfaden von Kindheit und Jugend zum frühen Erwachsenenalter war mir somit am Wegesrand immer wieder „Russisches“ in verschiedener Gestalt und Intensität begegnet, so dass letztlich, wie es mir in der Rückschau erscheint, gleichsam zwangsläufig alles für mich auf Russland, auf seine Geschichte, Kultur und Sprache hinausgelaufen ist. Die Bekanntschaft mit der Familie und den Vorfahren meiner Frau sowie die nun wieder stärker in mein Bewusstsein rückende Erinnerung an meine eigene Kindheit in der Sowjetzone und der DDR hatten zweifellos einen kaum zu überschätzenden Anteil daran. Mit Paul Johansen (1901-1965) in Hamburg und Manfred Hellmann (1912-1992) in Münster bekam ich es mit Universitätslehrern zu tun, die lebensgeschichtlich mit Russland, der Sowjetunion und den baltischen Staaten Lettland und Estland aufs engste verbunden waren. Mein Doktorvater Manfred Hellmann gehörte zu jenem heute selten gewordenen Typus des Gelehrten, der mit hoher wissenschaftlicher Kompetenz ein überaus breites historisches Forschungsspektrum abzudecken imstande war und in der mittelalterlichen deutschen Geschichte ebenso zu Hause war, wie in der russischen, baltischen oder venezianischen [siehe den Nekrolog von Carsten Goehrke: *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*]. Als er mir die Abfassung des Abschnitts über das „Kiever Reich“ im renommierten „Handbuch der Geschichte Russlands“ übertrug, war das ein großer Vertrauensvorschuss für einen jungen Historiker, zumal die wissenschaftliche Laufbahn, die er mir nahe gelegt hatte, damals nicht unbedingt ein prioritäres Berufsziel für mich war [Maier]. Aber das ist eine andere Geschichte.

Als ich meine Frau kennen lernte, wusste sie noch nicht, dass ihr Vater, der fließend Russisch sprach und 1954 bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam, mit Kriegsbeginn gegen die Sowjetunion den berüchtigten SS-Einsatzgruppen [Krausnick, Einsatzgruppen] angehört hatte und zwischen 1941-1943 SD-Chef in einem weißrussischen Bezirk gewesen war. In der Endphase des Krieges gehörte er zum SS-Verbindungsstab im Umfeld des ehemaligen Sowjetgenerals Andrej Wlassow. Das alles haben wir erst viel später erfahren. Hätten wir es gewusst, hätte mich das in meinem Entschluss, mich mit Russland und seiner Geschichte zu beschäftigen, nur noch zusätzlich bestärkt.

* * *

СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ И ИНТЕРЕС К РОССИИ

Третьего мая в нашу деревню пришли русские¹. О подразделениях 2-го Белорусского фронта как об особенно индоктринированных среди гражданского населения шла дурная слава. Большинство личного состава из 53 тыс. военнослужащих, около половины которых были комсомольцами и коммунистами, было предположительно родом из Белоруссии [ср.: Schulz-Naumann, S. 156], особенно пострадавшей от террора и преступлений немецких оккупантов. В школьном здании, где мы как учительская семья проживали, всех сковал шок от страха ожидания. Большинство помещений школы было до отказа заполнено людьми. Война на востоке гнала массу беженцев на запад. Каждый вечер в здание школы приходили жители нашей деревни, чтобы переночевать здесь, боясь оставаться в своем доме и чувствуя себя в безопасности среди множества людей.

В саду крестьянской усадьбы напротив были найдены трупы членов семьи, проживавшей там, – супругов и их двух сыновей. Некоторые жители деревни говорили, что они слышали крики. Крестьянина ненавидели военнопленные, работавшие в его хозяйстве. Возможно, это было самоубийство, но обстоятельства смерти остались невыясненными.

Молодые женщины старались выглядеть старухами, одеваясь в старые разодранные рабочие лохмотья. Жирные пряди волос спадали на их неестественно бледные лица, наполовину прикрытые безобразными платками [см. об этом: Grossmann, S. 43–63]. Только через несколько дней русский комендант объявил, что молодым женщинам нет более нужды одеваться подобно старухам. Все это мне известно, конечно, только из рассказов взрослых, потому что мне было тогда всего лишь три года пять месяцев и шесть дней. И, возможно, именно в тот день, 3 мая 1945 г., меня взял на руки один русский солдат (в моей памяти отложилось, что это обязательно должен был быть офицер!). Он трепал меня по щеке и шутил, смотря на меня сияющими глазами. Это первое воспоминание в моей жизни. Самое первое! Я часто спрашивал себя, почему в мою память так глубоко запал именно этот образ улыбающегося и шутящего со мной на непонятном мне языке красноармейца, таинственным образом повлиявшего, возможно, на всю мою жизнь. Был ли это панический страх перед неизвестным, перед непредсказуемыми опасностями и местью победителей, застывший на лицах взрослых и отразившийся в моем подсознании, который превратился теперь в ничто благодаря неожиданной «человечности» якобы «злого

¹ Речь идет о 8-м моторизованном корпусе 49-й армии 2-го Белорусского фронта, продвигавшемся в первые апрельские дни в сторону Людвигслюста.

русского»? Во всяком случае, я, кажется, почувствовал беспредельное облегчение, когда заглянул в глаза «добрého», а не «злого волка».

И когда меня впоследствии спрашивали, что случалось нередко, почему я занимаюсь русской историей и культурой, в эти моменты у меня пред глазами всегда возникал образ того самого солдата.

В то время как все стремились на Запад, мы переехали к моим бабушке и дедушке по материнской линии на восток. Они принадлежали к узкой прослойке деревенской элиты. Кроме деревенской усадьбы, в их собственности находился дом необычной архитектуры, получивший среди односельчан название «виллы», в котором мы и обосновались. У моего деда была статная фигура, он обладал обаянием «барина» и крупного зажиточного крестьянина, которым он мог оставаться тогда уже недолго. Русские назначили его, пользовавшегося большим авторитетом среди односельчан, временным бургомистром. У них, хотя он был немцем по национальности, он не вызывал подозрений в политической неблагонадежности, так как относился довольно критично к нацистам, симпатизируя консервативной Немецкой национальной народной партии (Deutschnationale Volkspartei, DNVP). Когда впоследствии его арестовали на непродолжительное время из-за якобы невыполненной нормы поставки, у нас в семье в этом обвиняли прежде всего «немецких коммунистов» и «шпикиов» и менее всего русских, хотя их немецкие помощники и были всего лишь чересчур старательными исполнителями воли последних. Какое-то время в доме моего дедушки был расквартирован один русский офицер, позаботившийся о том, чтобы в деревне практически не было произвола и насилия. Об этом майоре в нашей семье всегда говорили с большим уважением. Мне больше всего запомнились его форма и до блеска начищенные сапоги.

Это был один из тех невероятно жарких августовских дней 1945 г. Деревня тихо лежит в струящемся полуденном зное. Песчаная почва горит под ногами, цветы в саду в изнеможении опустили свои головы, обессиленные куры хватают приоткрытыми клювами воздух, тревожно кудахтая, словно зовя на помощь, и скрываясь в тенистых кустах. Весь мир застыл в ожидании вечерней прохлады. Два незнакомца в черных кожаных плащах и шляпах вышли из «воронка», стоящего уже долгое время припаркованным у нашего дома. Очевидно, их мысли заняты другим. Они курят не спеша. Взгляд их прикован к дороге, ведущей из деревни прямо к полевым уголкам деда. Моя мать крайне взволнована. Неспособная сосредоточиться на одной мысли, она в ужасе снует бесцельно по комнатам, роется в панике в платяном шкафу, что-то ища, и выглядывает время от времени из-за гардин, чтобы бросить взгляд на пришельцев. Те только что сообщили ей, что приехали забрать ее мужа на допрос в районный центр Пархим.

В конце деревни показалась наконец-то повозка, нагруженная высоко возвышающимися снопами. Незнакомцы бросили недокуренные сигареты и пристально посмотрели в ее сторону. Когда телега по-

равнялась с ними, выехав на перекресток напротив нашей «виллы», они сделали знак остановиться. На самом верху сидел мой отец в брюках гольф и белой нижней сорочке. Эта сцена у меня до сих пор перед глазами, как будто это было вчера. По требованию незнакомцев отец слезает с повозки, спускаясь по веревке грузовой стрелы. Его ведут к машине. Разрешают взять с собой куртку: «Да, само собой разумеется...» – «Полотенце, мыло, зубная щетка?» – «Да, конечно...» Речь идет якобы всего лишь о «выяснении некоторых обстоятельств». Эти «некоторые обстоятельства» означали не что иное, как «запрещенное извлечение тела покойника из земли». Сестра моей матери, по пути на Запад с тремя маленькими детьми, попала под перекрестный огонь, когда некий фанатично настроенный офицер СС устроил «арьергардный бой» при отступлении. Она погибла на месте: пуля прострелила ей сердце. Мой отец с одним из своих родственников поехал на место гибели, чтобы забрать погибшую. Под покровом ночи они выкопали тело несчастной и привезли на телеге в нашу деревню. Мужчины в кожаных плащах, немцы, успокаивают мою мать: «Не беспокойтесь. Ваш муж вернется». Я нахожу их симпатичными. Один из них гладит меня по голове. Моего отца увозят на красивом легковом автомобиле. В деревне ни у кого нет машины, да никто таких и не видел здесь. Кто-то донес на моего отца, и прошлое настигло его. При нацистах до войны он некоторое время был руководителем местной группы НСДАП (Ortsgruppenleiter). Это и было истинной причиной его ареста.

На следующий день мы увидели его еще раз – за решеткой подвального окна одной из городских вилл Пархима, где находилась комендатура и отделение НКВД. В те несколько дней, пока он находился там, с ним хорошо обращались, так как он играл русским офицерам на пианино. Потом он пропал на три года из нашего поля зрения. Его интернировали в специальный лагерь НКВД в Фюнфайхен под Нойбранденбургом [см.: Morre; Mironenko, Niethammer, Plato]. Мы узнали это значительно позднее и по чистой случайности. Лично для меня мало что изменилось. Во время войны он тоже почти не бывал дома и только иногда приезжал в отпуск на несколько дней, подтверждением этому служат фотографии. Он служил на восточном фронте в группе армий «Юг» в звании оберцальмейстера (Oberzahlmeister, Oblt.). Его арест – это мое первое воспоминание о нем. Когда он вернулся после трех лет лагеря, я его узнал с трудом. Он был седой как лунь. О своих страданиях в лагере он упорно молчал вплоть до своей смерти в 1968 г. Также ничего не рассказывал о своей военной службе в России. Болезненные, тяжелые события люди пытаются забыть, о них, как известно, не говорят. К тому же, возможно, повинаясь внутреннему такту, мы никогда не спрашивали его об этом. Во многих семьях существовал непреодолимый барьер между поколениями, когда речь заходила о недавней немецкой истории и войне на востоке Европы [см.: Heer, Naumann].

Смена декораций. Это было, вероятно, поздней осенью 1945 г. Смеркалось, прячась с матерью за гардинами, мы наблюдаем бесконечную колонну фургонов с красноармейцами, медленнодвигающуюся по деревне в сторону окрестных лесов. Совершенное безмолвие. Не слышно ни команды, ни звука, – только фырчанье лошадей. Как будто солдаты, ожидая внезапной опасности с любой стороны, зорко всматриваются в проплывающие мимо них деревенские дома. Хотя и могло показаться, что они от усталости и изнеможения не могли думать ни о чем другом, как только о ночном привале и сне. Кто были эти русские, откуда они пришли и почему они были здесь, я не знал. Из разговоров взрослых я узнал, что немцы проиграли войну и русские победили. Это и объясняло их пребывание здесь. О том, что было до войны и почему была война, мне никто не говорил. Я, вероятно, и не понял бы ничего.

Как зачарованные деревенские ребята смотрели на русские танки Т-34 при форсировании нашего ручья в самом широком и глубоком месте, рядом со старым каменным мостом. Они заходят в воду, и видна только их башня, которая на какой-то момент пропадает под водой. И вот они выползают на противоположный берег, со стекающей с них водой, как будто они полны ею до краев. Меня приводило в недоумение, что для одних русские были «хорошими», а для других – «плохими». В школе, в которую я пошел в шесть лет в 1948 г., я ничего о них не слышал плохого. И все же, мне было непонятно, почему мы жили в домах, а они – в лесу [см. об этом: Naimark].

В репертуаре нашего смешанного деревенского хора, которым руководил мой отец после своего возвращения из Нойбранденбурга, были и русские песни. Особой любовью пользовалась «Вечерний звон», и между делом не упускалась возможность упомянуть со значением во взгляде и низким голосом, что это любимая песня Сталина. Это делало его симпатичным в моих глазах, тем более что больше ничего о нем я не знал. Песня была грустной, а значит, и Сталин был грустным.

Неизгладимое впечатление произвел на меня также экранизированный роман Александра Фадеева «Девятнадцать». Красный партизанский отряд на Дальнем Востоке воюет против японцев и белой армии адмирала Колчака. Этот фильм, показанный в трактире нам, деревенским мальчишкам, игравшим с арбалетами и катапультами в «индейцев», содержал в себе большой идентификационный потенциал. Причем красные герои ни в чем не уступали знаменитым героям вестернов Джесси Джеймсу, Уайетту Эрпу или Зорро, которыми я восхищался позднее в Гамбурге. Политический и идеологический контекст фильма, конечно, оставался нам недоступен.

В пятом классе, незадолго до бегства моих родителей из ГДР в Западный Берлин (начало 1953 г.), я еще успел выучить русский алфавит. Вспоминаю наглядный плакат с занятий по русскому языку: «Нина, Нина, там картина. Это трактор и мотор»².

² О влиянии советской культуры в послевоенное время см.: [Hartmann, Eggeling].

Переезд в Западную Германию был связан с ощутимой потерей идентичности, обусловленной моим детским и отроческим опытом в ГДР. Воспоминания о русской составляющей моего восточногерманского бытия отодвинулись на второй план, погрузились в пассивные слои сознания и были в конечном итоге преданы забвению. С тех пор «русское» было связано для меня в основном со значительными, но далекими событиями, отражавшимися средствами массовой информации: люди, бросающиеся с булыжниками на советские танки в восточном Берлине 17 июня 1953 г., подавление народного восстания в Венгрии в ноябре 1956 г., строительство Берлинской стены в августе 1961 г. «Русское» встречалось под маской угрожающего советского коммунизма и воспринималось тогда, конечно, без того сильного эмоционального участия, возможного, как правило, при непосредственной личной вовлеченности в события.

Это положение вещей изменилось решительным образом за несколько месяцев до окончания гимназии на одной из вечеринок в 1961 г., когда я познакомился со своей будущей женой. «Русское» снова постепенно, но основательно вернулось в мою жизнь через историю ее семьи. Уже при первом знакомстве я узнал, что у нее была русская бабушка, упрямо игнорировавшая корректный немецкий акцент и правила грамматики. К радости своих внучат, она имела обыкновение ругаться по-русски, отчего последние приобрели, правда лишь незначительный, словарный запас, но зато весьма характерное достояние русской культуры. «Babushka» Ольга бежала в свое время в 1918 г. от большевиков со своим мужем-психиатром из прибалтийских немцев и двумя маленькими дочерьми из Харькова в Ригу. Оттуда они были переселены вследствие пакта Молотова – Риббентропа (Hitler-Stalin-Pakt) в Познань. Ее младшая дочь, будучи уже 92-летней, ездила со мной в Москву в 2010 г., чтобы в первый раз в жизни навестить свою русскую родню. Учась в 1940 г. в Лейпцигской консерватории, она перешла из лютеранства в православие в то время, когда в Германии был пик всеобщей истерии в отношении «вождя» и упоения победой, что, несомненно, можно было оценить и как знак внутреннего сопротивления нацистскому режиму.

Дедушка и бабушка моей жены со стороны отца также были родом из России и российскими подданными из прибалтийских немцев. Оставшийся верным царю ее дед Владимир А., чьи предки приехали на русскую службу в Остзейские провинции в XVIII в. и интегрировались в российское общество³, владел имением в Саратове и погиб во время Революции 1917 г. Согласно семейной легенде, крестьяне попросили у вдовы торжественно прощения: «они этого не хотели». Эта «бабушка-сума», как ее в шутку прозвали внучата, бежала со своими маленькими сыновьями в Ригу, где она родилась, а оттуда также

³ Подробнее см. мою статью „Porträt eines Weitläufigen“ (планируется к публикации в 2014 г. в сборнике «Forschungen zur baltischen Geschichte»).

была переселена в 1939 г. с ними и со своей невесткой, матерью моей жены, в Познань (Posen), в так называемое национал-социалистическое «образцовое рейхстау» Вартеланд. Там же появилась на свет моя жена Фрейя.

Следовательно, история семей моей жены по дедушкиной и бабушкиной линиям тесно связана с Россией как личной судьбой, так и душевной привязанностью. В то же время у них существовали сильно выраженные антибольшевистские настроения, характерные для большинства прибалтийских немцев и белой эмиграции.

Уже незадолго до окончания гимназии и во время службы в Бундесвере я, воодушевленный знакомством со своей будущей женой, впервые интенсивно занялся русской литературой. Произведения классиков стояли у «babushki» Ольги, обладавшей гоголевским юмором, на книжной полке. Свою тоску по России и украинскому звездному небу она утоляла пушкинскими стихами и гоголевскими повестями. Принятое мною решение в первом семестре перейти от германистики к славистике было мотивировано прежде всего эмоциями, связанными с семейной историей. Но существовали и чисто рациональные аргументы. Мне с самого начала было ясно, что я буду изучать историю. Интерес к ней пробудил выдающийся учитель истории старших классов гимназии Рудольф Людемманн. Его образцовое преподавание не только поощряло наш критический взгляд на новейшую немецкую историю – время Третьего рейха 1933–1945 гг., более того, Людемманн пытался показать нам, что единственным следствием этой самой темной главы нашей истории должно стать примирение с нашими бывшими врагами на востоке Европы. Данная позиция вовсе не была сама собой разумеющейся в условиях политики холодной войны и подогреваемых средствами массовой информации настроений.

Когда я в первом семестре в Гамбургском университете прослушал лекцию по русской истории Пауля Иогансена, я должен был, конечно, осознать, что без знания русского языка специализация по истории Восточной Европы решительно невозможна.

Со времени моего детства и юношества, вплоть до взрослого возраста, судьба вновь и вновь сводила меня с «русским» в самых разных ситуациях и контекстах. Так что, как это мне видится сейчас, все как будто неизбежно сводилось к России, к ее истории, культуре и языку. Знакомство с семьей моей жены и с историей ее предков, а также все чаще появляющиеся воспоминания о моем детстве в советской зоне и в ГДР, несомненно, повлияли на это. Благодаря своим учителям Паулю Иогансену (1901–1965) в Гамбурге и Манфреду Хельманну (1912–1992) в Мюнстере я получил возможность соприкоснуться с учеными, жизнь которых теснейшим образом была связана с Россией, Советским Союзом и странами Балтии, особенно Эстонией и Латвией. Мой научный руководитель Манфред Хельманн принадлежал к тому типу ученых, редко встречающихся сегодня, ко-

торый соединял в себе высокую научную компетенцию с широким диапазоном научных исследований. Он был прекрасным знатоком времени немецкого Средневековья, русской, прибалтийской и даже венецианской истории [см. некролог Карстена Гёрке: *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*, S. 40]. Знаком большого доверия ко мне, молодому историку, было поручение написать главу по истории Киевской Руси („Das Reich von Kiev“) в престижном научном издании «Пособие по истории России» („Handbuch der Geschichte Russlands“). Тем более что научная карьера не стояла для меня в то время на первом месте [см.: Maier]. Но это уже другая история.

Когда я познакомился со своей женой, она не знала на тот момент ничего о том, что ее отец, прекрасно говоривший по-русски и погибший в 1954 г. в автокатастрофе, в начале войны с Советским Союзом состоял в пресловутых оперативных группах СС (SS-Einsatzgruppen) [см.: Krausnick], а в 1941–1943 гг. начальником службы безопасности (Sicherheitsdienst = SD) в одном белорусском районе. После этого и до окончания войны он служил в оперативном штабе СС в окружении бывшего советского генерала Андрея Власова. Обо всем этом мы узнали много лет спустя. Если бы мы и знали об этом, я наверняка был бы еще более укреплен в своем решении заниматься Россией и ее историей.

Grossmann A. The Rape of German Women by Occupation Soldiers // *Quaestion of Silence*. 1995. October 2. P. 43–63.

Hartmann A., Eggeling W. Sowjetische Präsenz im kulturellen Leben der SBZ und frühen DDR 1945–1953. Berlin, 1998.

Heer H., Naumann K. Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944. Hamburg. 2. Aufl. 1995.

Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1992. 40. S. 477–479.

Krausnick H., *Einsatzgruppen H.* Die Truppen des Weltanschauungskrieges 1938–1942. Frankfurt/M., 1985.

Maier L. Hartmut Rüß – 70 Jahre // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 2012. 60. S. 319–320.

Mironenko S., Niethammer L., Plato A. von. Sowjetische Speziallager in Deutschland 1945–1950. 2 Bd. Berlin, 1998.

Morre J. Speziallager des NKWD. Sowjetische Internierungslager in Brandenburg, 1945–1950. Potsdam, 1997.

Naimark N. Die Russen in Deutschland. Die sowjetische Besatzungszone 1945 bis 1949. Berlin, 1997.

Schulz-Naumann J. Mecklenburg 1945. München, 1989.

Wette S. W., Überschar G. Kriegsverbrechen im 20. Jahrhundert. Darmstadt, 2001. S. 406–418.

Hartmut Rüß (Хартмут Рюсс), prof.
Germany. Münster
Westfälische Wilhelms-Universität (WWU)
ruessbockhorst@t-online.de

RUSSIA IN A SCHOLAR'S LIFE

I am Chester S. L. Dunning, Professor of History and Murray and Celeste Fasken Chair in Liberal Arts at Texas A&M University in College Station, Texas.

You asked me: How did you get interested in Russia, and what was the reason?

My interest in Russia dates back to my childhood. I grew up on the Northern California coast, near 'Fort Ross', the 'Russian River', and the «Chetko River'. My great grandparents owned a ranch near the Russian River, and vacationing Russians and Ukrainians who lived in San Francisco often took the train to visit the Russian River area (home of the famous 'Bohemian Grove'). Sometimes they stayed in wood cabins built by my great uncles. When I was a boy, I got interested in space and Sputnik. My dad, an electrician, and I watched the sky with binoculars looking for Sputnik. I built a crystal set (a radio) and was able to listen to Laika bark on a Soviet satellite. I was very impressed by the Soviet Union! At school we started getting enhanced training in science and math, at least in part to catch up with the USSR. We also began to get foreign language training earlier in school, and the federal government tried to accelerate our education, including physical fitness. We read stories about the amazing accomplishments of young Russians and how hard they worked in school and how much homework they did. One pamphlet was titled «Why Johnny can't read and Ivan can»! We learned that women in USSR held high office and had professional jobs as medical doctors and plant managers – unlike in the USA. We learned that Soviet and American scientists co-operated during IGY (International Geophysical Year). I also knew that the Russians had been our indispensable allies in the defeat of Nazi Germany.

I read a lot of military history as a teenager, especially about World War II. I read about tank battles in Eastern Europe as well as battles in North Africa and Western Europe. My father was a Navy electrician who was at Pearl Harbor at the beginning of WWII. I had a photograph of the aircraft carrier he served aboard on my bedroom wall as a child. My best friend went to the Naval Academy. I contemplated becoming a medical doctor and an admiral. I read the Christian Science Monitor to learn more about the USSR and Communist China. I was amazed by the Cuban missile crisis and horrified by the Cultural Revolution. I became intrigued by Russia and the

Soviet Union. I read about Nikita Khrushchev's struggle with China's Mao Zedong to achieve socialism first. I saw that Khrushchev was freeing Stalin-era Gulag Archipelago prisoners while Mao seemed to be killing his own people. I read and reread the first translation of Aleksandr Solzhenitsyn's *One Day in the Life of Ivan Denisovich*, and I devoured Andrei Sakharov's writings on peaceful co-existence and 'convergence'. Sakharov was a rational (brilliant, brave) Russian scientist I admired as much as Oppenheimer. My sister read the poetry of Yevtushenko to me, and we talked about the 'space race' and the race for scientific progress.

Partly inspired by the prospect of being a good citizen, I trained to be a chemist, and my first job was with the Federal Government – the Bureau of Commercial Fisheries (in the Department of the Interior) in Astoria, Oregon. My job was to take water samples along the Columbia River estuary from the mouth of the river to a spot 40 miles inland, rain or shine, and to run chemical and biochemical tests on the water samples to see what the conditions in the river were for the juvenile salmonids (fingerling chinook salmon). When my work uncovered pollution of the Columbia River by a paper mill, my boss stood up for the commercial fishermen and demanded that the pollution be stopped. He was soon informed by Interior Department officials that my scientific data was to be locked up for 20 years and that there was to be no more sharing data with private sector commercial fishermen. That meant I could not publish my findings without going to jail. I was shocked and decided to rethink my career plans.

I went back to college and tried a different major, Greek literature. Then I listened to brilliant lectures on Russian history by Professor Peter Kenez. A child in a Nazi concentration camp, Kenez escaped from Hungary in 1956 to get a Ph.D. from Harvard in Russian history. His first two books were on the Russian Civil War. He taught at University of California at Santa Cruz, an experimental campus with no grades! I was one of the pioneering students at UCSC. (I studied chemistry under Prof. Stanley Williams, a nominee for a Nobel Prize for creating xenon tetrafluoride.) I ended up studying Russian history and the Russian language. My Russian language professor, Benjamin T. Clark, had grown up in Central California. He spoke German to talk to his grandparents. He went to the Monterey Language School and learned Russian so well that he became a spy. He spoke with a slight German accent and was often mistaken for a Baltic German. His pronunciation of Russian in the dialect of Arkhangel'sk was memorable.

I could not afford graduate school. I had no money. But I was invited to join the graduate program at U.C. Berkeley to study with Professor Nicholas Riasanovsky. He wanted all of his students to study 19th century Russian intellectual history. I rejected that plan. Instead, I accepted the invitation to join the History graduate program at Boston College, a Jesuit university. My plan was to study early modern Russia, a pioneering field that intrigued me. Peter Kenez had encouraged to study early modern Russia, and I got hooked. When I moved to Boston, just across the Charles River in Cambridge, Massachusetts, was Professor Edward L. (Ned) Keenan, a

brilliant historian of Muscovite Russia. He was kind to me, offered excellent advice, and was willing to sit on my Master of Arts thesis committee and my Ph.D. dissertation committee. Also on my dissertation committee was Professor Robert O. Crummey, another fine historian of Muscovite Russia (first at Yale and then at UC Davis). It was Bob Crummey who encouraged me to study Russia's Time of Troubles.

For my Ph.D. dissertation, I translated the first printed French account of Russia, published in 1607 by the captain of Tsar Dmitrii's bodyguard, Jacques Margeret. After graduating from Boston College in 1976, I returned to Oregon. Without any academic job lined up, I worked for a year as an electrician. My father told me that he wanted me to work with my head, not my hands. But, he said, you also need to know how to work with your hands. Good advice! In 1977 I landed a job teaching Russian history at Pembroke State College in North Carolina (now The University of North Carolina at Pembroke). I was happy! I regularly traveled to Chapel Hill to use the fine University of North Carolina library for my research on the Time of Troubles. After two years in North Carolina, I was lucky to be appointed as an Assistant Professor at Texas A&M University, a major research university. I have been teaching Russian and early modern European history at Texas A&M University for over thirty years. I love my job and my students.

I am especially proud to be part of the A&M team that trains future thoughtful, hardworking professionals who focus on Russia. Among my former students who work in Russian-related jobs are U.S. military officers helping to destroy aging Soviet-era missiles, N.S.A. analysts, C.I.A. officers, Defense Intelligence translators, State Department personnel, lawyers and analysts working for American corporations doing business in the Slavic world, entrepreneurs, religious missionaries, musicians, artists, farmers sharing their skills with Slavs, and engineers (agricultural, computer, electrical, chemical, petroleum, nuclear, and civil). Among the U.S. military officers who studied with me are some who now teach and conduct research and others who work in embassies throughout the world. One of them was the first American to be invited to study at Russia's prestigious Frunze Military Academy. Another former student who keeps in close touch with me is the director of all Orthodox Christian relief work done throughout the world. There can be no better, more rewarding career than helping American students learn about other cultures, improve their analytical and writing skills, and become more self-aware, independent thinkers and active citizens of the United States and the world.

During the past three decades my research and publications have been very well received by the scholarly community. In addition to two dozen refereed articles and a half dozen book chapters, I have published several books, including *The Russian Empire and Grand Duchy of Muscovy: A Seventeenth Century French Account* (1983). That book is still in print as a paperback. I am especially proud of my big book, *Russia's First Civil War: The Time of Troubles and the Founding of the Romanov Dynasty* (2001). It took me a dozen years to research and write, and it is still in print

in paperback. I published an abridged version: *A Short History of Russia's First Civil War* (2004); it is still in print. I thoroughly enjoyed working on a collaborative research project that resulted in *The Uncensored Boris Godunov: The Case for Pushkin's Original Comedy, with Annotated Text and translation* by Chester Dunning with Caryl Emerson, Sergei Fomichev, Lidiia Lotman, and Antony Wood (2006). It is still in print in paperback.

During my first research trip to USSR (1987), I traveled alone and was amazed to be assigned my own personal KGB agent. He helped me find free transportation to my hotel and told me to avoid eating at certain places in Leningrad. I was appalled by how rusty the Soviet Union was and the harsh ways the authorities treated most ordinary citizens. The first time I ever saw policemen beat up a panhandler was in Vyborg. I also saw Asian men being beaten by policemen in a Moscow train station. On the other hand, I was treated kindly. My main contacts in the Soviet academic world were Professors Ruslan Skrynnikov and Aleksandr Stanislavskii. Ruslan Grigor'evich and I developed a good working relationship, and together we destroyed the old Marxist (and Soviet) historical model of the Time of Troubles known as the 'first peasant war'. We demonstrated that there was no social revolution of the masses in the Time of Troubles. There were no demands for the abolition of serfdom, and very few serfs participated in any of the uprisings or military campaigns. It is gratifying to see the end of the old, 'stupid' model of the Smuta as a younger generation of Russian scholars attempt to construct more robust interpretations of early modern Russian history by using empirical evidence. It is equally gratifying to see the original version of Aleksandr Pushkin's *Boris Godunov* (*Comedy about Tsar Boris and Grishka Otrep'ev*) finally receive the attention it deserves. Thanks in part to our work, it has been included in the new Academy edition of the Complete Works of A. S. Pushkin.

You asked me: **Is there a future for studying Russia within the global science development?**

Of course, the answer is a loud YES! We need Russian science now more than ever. Let me just point out two examples: space and global warming. I still love science and deeply respect the commitment to scientific progress of many Russians. I am also interested in the possible application of social science models to early modern Russian history. I have a graduate student who works on the climate of early modern Europe, the Little Ice Age, and I have written about its impact on early modern Russia. I have written about the application to Muscovite Russia of the 'fiscal-military' state model derived from early modern Western military history. I have also written about the application of historical sociology to early modern Russia, and I have collaborated with Sergey Nefedov on projects applying to Russia the ideas of Jack Goldstone.

You asked me: **What do you consider to be most attractive in Russia's past and present?**

I have always admired Russians's skill at science and engineering and the great courage and enormous capacity for self-sacrifice and generosity of many Russians. I enjoy attempting to reconstruct Russia's history. The task is very difficult, but for me it is a privilege as well as a puzzle. I thoroughly enjoy teaching Russian history to American students. Russian history and culture present some challenges to Americans, and I enjoy helping my students meet those challenges. As we learn more about Russia and the Russians, we learn more about ourselves. Among other things, my students learn that early modern Russian soldiers were considered to be the best defensive fighters in the world. In the 17th century Muscovite lords and ladies became addicted to wearing pearls they thought were from the Caspian Sea and Persia but were actually from wherever the Dutch could find them for the right price. Patriarch Nikon personally 'owned' up to 35,000 serfs. It was Tsar Aleksei, not his son Peter the Great, who first saw the serious problems posed to the Romanov dynasty by the Russian people's belief in 'Holy Russia' and, as a result, began the country's secularization. In my opinion, there is no period of Russian history that will not fascinate us if we study it closely.

You asked me: **Which fields of Russian studies you would call the most important for you?**

I am a historian of early modern Russian culture, but I do not have any faith in semiotics – only in data-based empirical evidence carefully evaluated by peer review. As a research scholar I find the seventeenth century 'most important'. I do not mean that in a silly way. I believe the impact of the horrific Time of Troubles pushed Russia in the 17th century down a path toward a near-caste society that greatly retarded Russia's economic, social and intellectual development. The last thing the early Romanov tsars wanted was a civil society of active citizens thinking for themselves. As a teacher, I find several periods of Russian history to be very important. In Kievan Rus' a 'Latin allergy' developed that cut Russia off from the West just as much as the Mongols did. (Think about the impact of choosing not to read Latin or study Latin sources.) The Mongols were responsible for much in Russian history, including the rise of Muscovy. The sixteenth century saw the creation of the 'sacred' Russian empire and the severe decline of Russia's economy and peasants-becoming-serfs. In spite of the Time of Troubles, Muscovite Russia managed to grow by the mid-17th century to become the largest country on the planet.

I am also interested in Russian history after the 17th century. My students learn that Russian troops first occupied Berlin in 1760. They learn that Aleksandr Radishchev became the grandfather of the Russian intelligentsia, and that Aleksandr Pushkin became Historian Laureate of Russia in 1831. My students find it hard to believe that Tsar Nikolai the First did not like railroads and did not encourage their construction in Russia. The British and French built railroads on the Crimean peninsula during the Crimean War while the Russians had no railroads connecting St. Petersburg or Moscow to

Sevastopol. Guess who won the war? My students learn that Rasputin urged Tsar Nikolai II to stay out of World War II, but that after Rasputin's death he apparently continued to advise Empress Aleksandra – by seance – about running the government while the tsar was at the military front. We study why Aleksandr Kerenskii failed to end the war or to deliver the land to his own constituents. We ask the awkward question: Where would Russia (and the USA!) have been in 1941 without Stalin's collectivization of agriculture? How did the Soviet scientists and engineers manage to put a dog in space? What did Khrushchev mean to say when he reassured Americans upset by the death of the first dog in space that they shouldn't worry because 'Laika was black'? What would have happened if Yeltsin had created his own political party as president of the Russian Federation? Where would we be if President Bill Clinton had tried harder to help bring Russia safely out of communism into the modern world instead of bombing Belgrade? What did we learn from Russia's recent brushfire war with Georgia? I guess what I'm trying to say is that all periods of Russian history are important. At least they are important to this old professor whose wife also studied Russian and read Yevtushenko and Dostoevsky, and whose son is fascinated by Skriabin's atonal music and is curious about Russia's special relationship with Syria's murderous dictator.

You asked me: **Does Russia's image in post-Soviet time encourage the rise of interest in the country?**

Not really, unless you are referring to a slight rise in 'negative' interest in Russia as a foe of the USA. In fact, most of my students at Texas A&M University are politically conservative, but they are also fairly open-minded about Russian history and culture. Many admire Russian culture and science, and there are fewer and fewer ardent Cold Warriors who see Russia as the enemy of USA. But my students are not impressed by Mr. Putin. He seems fearful of allowing open expression of ideas, something Americans hold dear.

Let me end this long note about my 'love affair' with Russian history and culture with a question for my Russian readers: Why do you tolerate such poor health in children and adults and poor health care for most of your citizens? Russia is wealthy enough to take good care of all its citizens. On the other hand, here in USA the Republicans in the House of Representatives are trying to destroy access to good, affordable health care for poor Americans. We Americans are still learning about poverty in our own country, so I do not mean to sound judgmental about Russia. In the end, by studying others, we learn – sometimes reluctantly – more about ourselves. As Sting said in one of his best songs, 'Russia': The Russians love their children too. Regardless of ideology, we share the same biology!

* * *

РОССИЯ В ЖИЗНИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

Меня зовут Честер С. Л. Даннинг, я профессор истории и заведующий кафедрой гуманитарных наук имени Мюррея и Селесты Фаскен Техасского университета А & М в Колледж-Стейшен, Техас.

Вы спрашиваете: «Как Вы заинтересовались Россией и какова была причина этого интереса?»

Мое увлечение Россией уходит корнями в детство. Я вырос на побережье Северной Калифорнии, недалеко от Форт-Росса, реки Русской (Четко). У моих прадедушки и прабабушки было ранчо около реки Русской, и отдыхающие русские и украинцы из Сан-Франциско часто приезжали в эти места (здесь расположена знаменитая Богемская роща). Иногда они останавливались в деревянных хижинах, построенных моими двоюродными дедушками. Когда я подрос, я заинтересовался космосом и искусственным спутником. Вместе с отцом-электриком я смотрел на небо в бинокль в поисках спутника. Я собрал детекторный радиоприемник и слушал голос Лайки, доносившийся оттуда. Меня очень впечатлял Советский Союз! В школе нас стали усиленно обучать естественным наукам и математике, чтобы хотя бы частично догнать СССР. Мы начали раньше учить иностранные языки, и правительство пыталось ускорить наше образование, в том числе в области физической подготовки. Мы читали рассказы об удивительных достижениях юных россиян, о том, как усердно они трудились в школе и как много они делали домашнего задания. Одна брошюра, например, была озаглавлена: «Почему Джонни не умеет читать, а Иван умеет?». Мы узнавали, что советские женщины занимают высокие должности, работают врачами и директорами заводов, чего в те годы в США не было. Мы узнавали, что советские и американские ученые сотрудничают в рамках международного геофизического года (МГГ). Я также знал, что русские были нашими важнейшими союзниками в разгроме нацистской Германии.

Будучи подростком, я читал много книг по военной истории, особенно о Второй мировой войне. Я читал о танковых сражениях в Восточной Европе, а также о битвах в Северной Африке и Западной Европе. Мой отец работал электриком на флоте и в начале Второй мировой войны был в Пёрл-Харборе. Когда я был ребенком, на стене моей спальни висела фотография авианосца, на борту которого он служил. Мой лучший друг учился в Военно-морской академии. Я думал о том, чтобы стать врачом и адмиралом. Я читал газету «Кристиан Сайэнс Монитор», чтобы больше узнать об СССР и коммунистическом Китае. Меня поражал Карибский кризис и ужасала китайская культурная ре-

волюция. Россия и Советский Союз меня заинтриговали. Я читал о том, как Никита Хрущев и Мао Цзэдун борются за то, чтобы достичь социализма первыми. Я видел, что Хрущев освобождает узников Архипелага ГУЛАГ, в то время как Мао убивает свой народ. Я читал и перечитывал первый перевод «Одного дня Ивана Денисовича» Александра Солженицына и проглатывал работы Андрея Сахарова о мирном сосуществовании и «конвергенции». Сахаров – отважный русский ученый, которым я восхищался так же, как Оппенгеймером. Сестра читала мне поэзию Евтушенко, и мы разговаривали о космической гонке и о соревновании в сфере научного прогресса.

Отчасти потому, что я хотел стать образцовым гражданином, я выучился на химика. Свою первую должность я получил в федеральном правительстве – в Бюро коммерческого рыболовства (Министерство внутренних дел) в Астории, штат Орегон. Моя работа состояла в том, чтобы брать образцы воды из дельты реки Колумбия, продвигаясь от ее устья на 40 миль вглубь страны, в дождь и зной. Я должен был проводить химические и биохимические исследования образцов воды, чтобы установить условия жизни молодых лососевых (мальков чавычи). Когда в результате моей работы обнаружилось, что река Колумбия загрязняется бумажной фабрикой, мой начальник встал на сторону промышленного рыболовства и потребовал остановить загрязнение. Вскоре Министерство внутренних дел поставило его в известность, что мои научные данные будут засекречены на 20 лет и что отныне нам запрещено делиться информацией с частным сектором промышленного рыболовства. Это означало, что если я опубликую свои открытия, то попаду в тюрьму. Я был потрясен и решил пересмотреть свои карьерные планы.

Я вернулся в колледж и попробовал другую специализацию – греческую литературу. Затем я слушал блестящие лекции по истории России, которые читал профессор Питер Кенез. Ребенком побывавший в нацистском концентрационном лагере, Кенез уехал из Венгрии в 1956 г., чтобы получить степень доктора философии по истории России в Гарварде. Его первые две книги были посвящены Гражданской войне в России. Он преподавал в Калифорнийском университете в Санта-Круз – в экспериментальном кампусе, где не было принято ставить оценки! Я был одним из лучших студентов университета (изучал химию у профессора Стэнли Уильямса, который был номинирован на Нобелевскую премию за создание тетрафторида ксенона). В конце концов я начал изучать историю России и русский язык. Профессор, у которого я учился русскому языку, Бенджамин Т. Кларк, вырос в Центральной Калифорнии. Он знал немецкий, на котором разговаривал со своими бабушкой и дедушкой, поступил в языковую школу в Монтерее и выучил русский настолько хорошо, что стал разведчиком. Он говорил с легким немецким акцентом, и его часто принимали за балтийского немца. Его русское произношение – он говорил на архангельском диалекте – хорошо мне запомнилось.

Я не мог позволить себе обучение в аспирантуре из-за отсутствия денег. Но меня пригласили присоединиться к программе для выпускников в Калифорнийском университете в Беркли, где я должен был учиться у профессора Николая Рязановского. Он хотел, чтобы все его студенты занимались интеллектуальной историей России XIX в. Я отказался. Вместо этого я принял приглашение участвовать в программе по истории в Бостонском колледже, одном из иезуитских университетов. Я планировал изучать историю России XVI–XVII вв. – область науки, которая меня увлекала. К этому меня подтолкнул Питер Кенез, и тематика меня затянула. Когда я переехал в Бостон, прямо по другую сторону реки Чарльз, в Кембридже (штат Массачусетс), жил профессор Эдвард Л. (Нед) Кинан, блестящий исследователь России периода Московского государства. Он хорошо ко мне относился, давал прекрасные советы и охотно принимал участие в работе комиссий по защите моих магистерской и докторской диссертаций. В комиссии по защите моей докторской диссертации присутствовал также профессор Роберт О. Крамми, великолепный исследователь Московского государства (сначала он работал в Йельском университете, а затем – в Калифорнийском университете в Дэвисе). Именно он побудил меня к изучению истории Смутного времени в России.

При работе над докторской диссертацией я перевел первое французское печатное описание России, изданное в 1607 г. Жаком Маржеретом, который служил в России капитаном в период правления Лжедмитрия I. После окончания Бостонского колледжа в 1976 г. я вернулся в Орегон. Не подыскав никакой работы в научном сообществе, в течение года я работал электриком. Мой отец сказал, что он хочет, чтобы я работал головой, а не руками. «Но, – сказал он, – тебе нужно уметь работать и руками». Хороший совет! В 1977 г. я добился должности преподавателя истории России в Пембрукском государственном колледже в Северной Каролине (ныне Университет Северной Каролины в Пембруке). Я был счастлив! Я регулярно ездил в Чапел-Хилл, чтобы воспользоваться прекрасной библиотекой университета для работы над своим исследованием Смутного времени. После двух лет работы в Северной Каролине мне повезло: меня назначили на должность старшего преподавателя в Техасском университете А & М, крупнейшем исследовательском центре. Я преподаю историю России и историю Европы раннего Нового времени в Техасском университете А & М более тридцати лет. Я люблю свою работу и своих студентов.

Я очень горжусь тем, что университет, где я работаю, готовит будущих вдумчивых, трудолюбивых специалистов, чье внимание сосредоточено на России. Среди моих бывших студентов, чья работа связана с Россией, – офицеры Вооруженных сил США, участвующие в ликвидации старых боеголовок, произведенных в Советском Союзе, аналитики Агентства национальной безопасности, офицеры ЦРУ,

переводчики Агентства военной разведки, служащие Государственного департамента. Среди них юристы и аналитики, работающие на американские корпорации, которые ведут бизнес в славянских странах, предприниматели, религиозные миссионеры, музыканты, художники, фермеры, делящиеся своим опытом со славянами, и инженеры (сельскохозяйственные, компьютерные, электротехники, химики, нефтяники, атомщики и строители). Среди офицеров Вооруженных сил, которые учились у меня, некоторые сейчас преподают и занимаются исследовательской деятельностью, а другие работают в посольствах по всему миру. Один из них стал первым американцем, которого пригласили учиться в престижной Военной академии им. М. В. Фрунзе в России. Еще один бывший студент, который поддерживает со мной тесную связь, является руководителем Всемирной православной гуманитарной миссии. Нет профессии лучше и полезнее, чем помогать американским студентам узнавать о других культурах, совершенствовать умение анализировать и писать и становиться более самокритичными, независимыми мыслителями и активными гражданами США и мира.

На протяжении последних трех десятилетий моя исследовательская работа и публикации очень хорошо принимались академическим сообществом. В дополнение к двум дюжинам рецензируемых статей и полудюжине книжных глав я опубликовал несколько книг, в том числе «Российская империя и Великое княжество Московское: французское описание XVII века» (1983). Эта книга в печатном варианте до сих пор есть в продаже. Я особенно горжусь своей крупной работой «Первая гражданская война в России. Смутное время и основание династии Романовых» (2001). Исследование и написание этой книги заняло 12 лет. Я опубликовал ее сокращенный вариант: «Краткая история первой Гражданской войны в России» (2004) (она также имеется в продаже). Я получил огромное удовольствие, работая над совместным исследовательским проектом, который воплотился в труде «“Борис Годунов” без цензуры: аргументы в пользу оригинального варианта пьесы Пушкина с аннотированным текстом и переводом» (в соавторстве с Кэрил Эмерсон, Сергеем Фомичевым, Лидией Лотман и Энтони Вудом, 2006). Эту книгу также можно найти в продаже.

В свою первую исследовательскую поездку в СССР (1987) я отправился один, и, к моему изумлению, ко мне приставили личного агента КГБ. Он помог мне бесплатно доехать до гостиницы и сказал, в каких местах в Ленинграде лучше не есть. Меня привело в ужас то, каким неприветливым был Советский Союз и как грубо власти обращались с самыми обычными гражданами. В Выборге я в первый раз увидел, как милиционеры избивают попрошайку. Я также видел, как милиционеры бьют людей из Азии на Московском вокзале. С другой стороны, ко мне относились хорошо. Наиболее тесную связь в советском научном сообществе я поддерживал с профес-

сорами Русланом Скрынниковым и Александром Станиславским. С Русланом Григорьевичем мы хорошо сработались, вместе мы разрушили старый марксистский (и советский) исторический стереотип модели Смутного времени как «первой крестьянской войны». Мы показали, что в период Смутного времени не было социальной революции масс. Потребности в отмене крепостного права не существовало, и очень небольшое число крепостных участвовало в бунтах и военных кампаниях. Отрадно наблюдать конец «примитивной» модели Смуты по мере того, как молодое поколение русских ученых пытается создать более убедительные интерпретации истории России раннего Нового времени, используя эмпирические доказательства. Настолько же отрадно видеть, что оригинальный вариант «Бориса Годунова» Александра Пушкина («Комедия о царе Борисе и Гришке Отрепьеве») наконец получил заслуженное внимание. Отчасти благодаря нашей работе он был включен в новое академическое издание «Полного собрания сочинений А. С. Пушкина».

Вы спрашиваете: «Есть ли будущее в изучении России в рамках развития глобальной науки?»

Конечно же, ответ – это громкое «да!». Сейчас мы нуждаемся в российской науке больше, чем когда-либо. Позвольте мне просто привести два примера: космос и глобальное потепление. Я все еще люблю науку и глубоко уважаю приверженность многих россиян научному прогрессу. Меня также интересует возможное приложение социологических моделей к истории России раннего Нового времени. У меня есть аспирант, который исследует климат в Европе этой эпохи, Малый ледниковый период, и я написал о его влиянии на Россию. Я также написал о приложении к России периода Московского государства модели военно-фискального государства, взятой из военной истории Запада раннего Нового времени. А кроме того, описал использование исторической социологии по отношению к России этой эпохи и совместно с Сергеем Нефедовым работал над проектами по приложению к России идей Джека Голдстоуна.

Вы спрашиваете: «Что, по Вашему мнению, наиболее привлекательно в прошлом и настоящем России?»

Я всегда восхищался мастерством, которое русские проявляют в науке и инженерном деле, а также удивительным мужеством, потрясающей способностью к самопожертвованию и щедростью, которые свойственны многим россиянам. Мне нравится пытаться реконструировать историю России. Это очень сложная задача, но для меня это не только головоломка, но и честь. Учить американских студентов истории России доставляет мне огромное удовольствие. Российские история и культура несут в себе некоторые трудности

для американцев, и мне нравится помогать моим студентам их преодолевать. Узнавая больше о России и русских, мы больше узнаем о себе. Кроме всего прочего, мои студенты узнают, что русские солдаты раннего Нового времени считались лучшими в обороне во всем мире. В XVII в. русская знать увлеклась жемчугом, который, как они думали, был из Каспийского моря и Персии и который на самом деле голландцы покупали где придется по нужной цене. Патриарх Никон сам владел около 35 тыс. крепостных. Именно царь Алексей, а не его сын Петр I первым увидел серьезную проблему, которую перед династией Романовых ставила вера народа в «святую Русь» и, как следствие, начал секуляризацию страны. На мой взгляд, нет периода истории России, который не заморозит нас, если мы будем изучать его глубоко.

Вы спрашиваете: «Какие области исследования России Вы бы назвали наиболее важными для себя?»

Я изучаю культуру России раннего Нового времени, но я не верю в семиотику: я доверяю только эмпирическим доказательствам, основанным на данных, тщательно проанализированных. Как ученый-исследователь я нахожу XVII век «наиболее важным». Я считаю, что ужасающее Смутное время в XVII в. толкнуло Россию на путь, ведущий почти к кастовому обществу, что очень сильно затормозило экономическое, социальное и интеллектуальное развитие России. Чего первые Романовы хотели бы меньше всего, – это гражданское общество, активные члены которого думают за себя сами. Как преподаватель я нахожу несколько периодов истории России очень важными. В Киевской Руси развилась «аллергия на все латинское», которая отрезала Россию от Запада точно так же, как татаро-монгольское иго. (Подумайте, к каким последствиям может привести решение не читать на латыни или не изучать латинские источники.) На монголах лежит ответственность за многие события в истории России, в том числе за возвышение Московского княжества. Шестнадцатый век увидел создание «своятой» Российской империи, резкий спад экономики и закрепощение крестьян. Несмотря на Смутное время, к середине XVII в. Московскому государству удалось вырасти до размеров самой большой страны в мире.

Меня также интересует история России после XVII в. Мои студенты узнают, что русские войска впервые захватили Берлин в 1760 г. Они узнают, что Александр Радищев был «прадедом» русской интеллигенции и что в 1831 г. Александр Пушкин стал официальным историографом. Моим студентам трудно поверить, что царю Николаю I не нравились железные дороги и что он не поддерживал их строительство в России. Британцы и французы построили железные дороги на Крымском полуострове в течение Крымской войны, в то время как у русских не было путей, соеди-

няющих Санкт-Петербург или Москву с Севастополем. Угадайте, кто выиграл войну? Мои студенты узнают, что Распутин убеждал Николая II не ввязываться в Первую мировую войну, но что после своей смерти Распутин, по-видимому, продолжал путем спиритических сеансов давать императрице Александре Федоровне советы по управлению правительством, пока царь был на фронте. Мы изучаем, почему Александру Керенскому не удалось закончить войну и уступить землю своим собственным избирателям. Мы задаемся множеством вопросов. Что было бы с Россией (и с США!) в 1941 г., если бы не сталинская коллективизация сельского хозяйства? Как у советских ученых и инженеров получилось отправить собаку в космос? Что имел в виду Хрущев, когда, успокаивая американцев, расстроенных смертью первой собаки в космосе, он сказал, что им не стоит беспокоиться, потому что «Лайка была черной»? Что бы случилось, если бы Ельцин в качестве президента Российской Федерации создал свою собственную политическую партию? Что бы было, если бы президент Билл Клинтон приложил больше усилий к тому, чтобы помочь России безопасно перейти из коммунизма в современный мир вместо того, чтобы бомбить Белград? Что мы вынесли из недавней локальной войны России с Грузией? Я пытаюсь сказать, что все периоды истории России важны. По меньшей мере они важны для пожилого профессора, чья жена тоже учила русский и читала Евтушенко и Достоевского и чей сын очарован атональной музыкой Скрябина и интересуется особой связью России с сирийским кровавым диктатором.

Вы спрашиваете: «Способствует ли образ России в постсоветское время повышению интереса к ней?»

Не очень, если вы не имеете в виду небольшое повышение «отрицательного» интереса к России как к врагу США. В сущности, большинство моих студентов из Техасского университета А & М политически консервативны, но они также довольно непредвзяты по отношению к русской истории и культуре. Многие восхищаются российской культурой и наукой, остается все меньше и меньше горячих сторонников холодной войны, которые видят в России врага США. Но моих студентов не впечатляет господин Путин. Похоже, что он боится разрешить открытое выражение идей – то, что американцы высоко ценят.

Позвольте мне закончить эту длинную заметку о своем «романе» с историей и культурой России, задав моим русским читателям вопрос: почему вы допускаете столь плохое состояние здоровья у детей и взрослых и плохой медицинский уход за большинством людей? Россия достаточно богата, чтобы хорошо заботиться обо всех гражданах. С другой стороны, здесь, в США, республиканцы из палаты представителей пытаются отрезать доступ к хорошему, доступному по цене медицинскому обслуживанию для бедных амери-

канцев. Мы, американцы, все еще узнаем о нищете в нашей стране, поэтому я не хочу, чтобы мои слова о России звучали осудительно. В конце концов, изучая других, мы узнаем, иногда неохотно, больше о себе. Как сказал Стинг в одной из своих лучших песен “Russians” («Русские»): «Русские тоже любят своих детей. Несмотря на идеологию, у нас одна природа!»

Chester Dunning (Честер Даннинг), prof.
USA, Texas
Texas A&M University
c-dunning@tamu.edu

PROBLEMA VOLUMINIS

**Многоликий XVII век:
русский путь к модернизации**



**The Many Faces
of the 17th Century:
Russia's Path to Modernity**

ПЕРЕХОДНЫЕ ЭПОХИ, ВЛАСТЬ И ДИДАКТИКА ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ: КУЛЬТУРНО- СЕМИОТИЧЕСКОЕ ПРОЧТЕНИЕ

The article explores the correlations between history as a discipline and the process of power legitimation in Russia in the times of transition. Using methods and approaches of cultural-semiotic analysis, and more particularly the models of dual systems developed by the Tartu-Moscow Semiotic School, the author shows that the didactic and ideological potential of history has been actively and consciously used by the authorities since the reign of Peter the Great when, due to a cultural shift a “secular religion of statehood” started taking shape. As semiotics makes it possible to correctly compare and comprehend any periods of transition, the researcher focuses on the contemporary interest of the authorities in creating a uniform school textbook of Russian history and maintains that it is one of the manifestations of the ordinary desire of the authorities to use history for their own social legitimation which is characteristic of the typological situation of cultural and historical transition.

Key words: power; legitimation; cultural semiotic approach; dual models; times of transition; ideology; teaching of history; school textbook of history.

Живая власть для черни ненавистна.
Они любить умеют только мертвых...
А. С. Пушкин. Борис Годунов

Этими словами, вложенными в уста Бориса Годунова, А. С. Пушкин определил проблему отношения народа и власти в России. Между тем для власти, безусловно, важно, чтобы подданные ее любили, но любили не мертвую, а нынешнюю и здравствующую. Потребность власти в народном признании – константа, какие бы формы ни принимала власть и в какие бы эпохи ни разворачивалось бесконечное драматургическое действо взаимоотношений власти и народа. Однако же способы приобретения народной поддержки, признания, любви, если угодно, вариативны и историчны, т. е. обусловлены временем и обстоятельствами. Равным образом сама острота потребности власти в признании может усиливаться или ослабевать в зависимости от того, «какое столетье нынче на дворе».

Если попытаться перевести вышеизложенное на более рациональный научный язык, то стремление власти к общественному признанию есть ее стремление к собственной легитимации. Эта легитимация выше той, которую утверждают писанные законы. В средневековой теории и практике общественных отношений она обеспечивалась религиозной сакрализацией власти, в Новое время она находила опору в сложном конгломерате государственных концепций, формировавших идеи договорного происхождения власти, «естественного закона», «общественной пользы» (или «всеобщего блага») и т. п. Естественно, что проблема легитимации власти обостряется в переходные эпохи – те исторические отрезки (зачастую гораздо более длительные, чем это представляется), когда происходит смена ценностных систем, присущих данному социуму, или, иначе говоря, происходит построение новой культуры. Легитимация власти является, таким образом, одним из основных процессов в этом построении и (как отмечалось выше) не может быть сведена только к юридическому оформлению. Трактую культуру как систему коллективной памяти и коллективного сознания [Лотман, Успенский, с. 263], следует признать, что она проявляет себя в определенных действиях, предметах и явлениях, имеющих знаковую природу, и поэтому поддается семиотическому анализу, имеющему в отечественной гуманитаристике солидную традицию изучения, представленную в Новейшее время трудами представителей московско-тартуской школы и близкими к ней учеными: Б. А. Успенским, Ю. М. Лотманом, В. М. Живовым, А. М. Панченко, В. Н. Топоровым, С. С. Аверинцевым и др. Попробуем рассмотреть проблему легитимации власти через призму историко-культурной семиотики, используя для этого материалы некоторых переходных периодов русской истории и акцентируя внимание на роли истории, в частности новейшей истории как отрасли человеческого знания, в разрешении этой проблемы.

В качестве отправной точки и одновременно базы для дальнейших сравнений мне хотелось бы предложить эпоху петровских преобразований. Во-первых, потому что этот период близок моим специальным научным интересам. Во-вторых, потому что петровское царствование представляет одну из ярчайших (во всяком случае именно с точки зрения знаковости) переходных эпох в истории нашей страны. В-третьих, потому что в XVIII в. в России начинает формироваться новое отношение к историческому знанию – предмету, имеющему непосредственное отношение к заявленной теме. Наконец, потому что этот исторический отрезок очень активно и многоаспектно подвергался осмыслению с позиций семиотики.

Петровская эпоха – время активного и декларируемого процесса десимволизации жизни (пользуясь словами Ю. М. Лотмана [Лотман, т. 4, с. 39], в том числе изменения официальной идеологии. Переходный характер эпохи обострил поиск общекультурных обоснований легитимации власти, а барочные веяния потребовали инвентари-

зации и обновления арсенала пригодных для этого идеологических средств, обновления их форм и самого языка. Церковно-религиозная идеология, веками остававшаяся если не единственным, то по крайней мере главным орудием идеологической поддержки монаршей власти, последнюю уже не удовлетворяла. Мышление и практика Нового времени с присущим ему прагматизмом и утилитарностью (Осип Мандельштам говорил о «высоком пафосе утилитаризма» как характерном проявлении русской культуры XVIII в. [Мандельштам, т. 2, с. 277]) вынуждали царя-реформатора и его окружение прибегать к более широкому, наглядному, прямо воздействующему на умы и чувства подданных набору таких инструментов, как светская литература, законодательство¹, новые жанры и формы изобразительного искусства, публичные зрелища и т. п. Все перечисленное наполняется значением массовой пропаганды, выносятся, по образному выражению Б. А. Успенского, «из дворца на площадь» [Живов, Успенский, с. 174], становится целой системой идеологического перевоспитания общества.

В этом ряду заметное место отводится историческому знанию, которое, в отличие от средневековой практики, в руках власти меняет свою форму, содержание и цель. В первую очередь следует отметить, что отношение власти к истории обретает такой же ярко выраженный утилитарный оттенок, который, как уже говорилось выше, был присущ всей официальной культуре петровского времени; из всех свойств истории как некоего знания приоритетно актуализируется ее дидактическая составляющая. Конечно, нельзя отрицать, что в средневековой Руси не осознавалась роль истории как «учителя жизни». Само наличие мощной летописной традиции, агиографических текстов с их отсылками к священной и древней истории, беллетристики вроде «Александрии», публицистических сочинений свидетельствует об обратном. Но тексты, относящиеся к перечисленным жанрам, не были достоянием широкого круга, не носили пропагандистского характера, оставаясь литературой элитарной. И дело, разумеется, не только в том, что технические возможности времени не позволяли широкого тиражирования, а ограниченное распространение грамотности – широкого прочтения этих произведений. К сочинениям, несшим в себе исторические сведения, было иное отношение: их дидактический потенциал раскрывался через церковно-религиозную систему ценностей, в малой степени подразумевавшую рациональную силу логического убеждения. Не случайно, наверное, древняя

¹ Имеется в виду тот идеологический потенциал законодательства, который воздействовал на подданных не только посредством юридических норм, но и с помощью прямых декларативных обращений петровских указов к народу, пространно объяснявших, что всякое юридическое нововведение предпринимается властью для «общественной пользы». Такое отношение к закону как к средству, формирующему «правильный» образ власти, – черта Нового времени, впервые, на наш взгляд, проявившаяся в отечественной культуре еще в середине XVII в., в Уложении 1649 г. [см.: Редин, с. 112–115].

(мировая и отечественная) история, в том числе и священная, в петровское время вводится в сферу панегирического стихосложения, в область устройства зрелищных мероприятий с многослойными и насыщенными аллегориями триумфальных арок, маскарадов и фейерверков, по-новому обживает культуру церковной проповеди (в том числе и печатной, письменной), поставленной на службу светской идеологии и формирования «светской религии государственности» [Лотман, с. 40].

В то же время в руках собственно светской власти и ее апологетов оказывается новейшая история, по сути – текущая современность. Официозные дидактики, в числе которых был и сам монарх, спешат запечатлеть в исторических сочинениях события, свидетелями и участниками которых были они сами, а запечатлев, поведать миру, в первую очередь современникам и ближайшим потомкам. И это еще одна новизна, открытая петровской эпохой в области использования исторического знания. «Поденная записка Петра Великого» пера его кабинет-секретаря А. В. Макарова, отредактированная императором, «Журнал государя Петра I с 1695 по 1710 г.» бар. К. Гюйсена, биографии Петра, написанные Ф. Прокоповичем, К. Тредиаковским, кн. С. Кантемиром и т. п., – все это исторические сочинения: они и воспринимались и писались авторами как исторические сочинения в научном (в понимании эпохи) стиле, на «строгой документальной основе», без «баснословий». Примечательно, что эти исторические труды создаются в ту пору, когда в России история как наука находилась в самой зачаточной стадии своего становления, а история как учебная дисциплина практически отсутствовала, поскольку отсутствовала система государственного образования.

Какие обстоятельства подвигли Петра и его современников приписать новейшие события к Истории? Ощущение монументальности переживаемого времени? Наверное. Новое понимание цели и смысла писательского труда: индивидуализм, эмансипация, самодостаточность творческой личности? Несомненно. Но в нашем случае важнее другое. Создавая описание современности в жанре исторического сочинения, эти авторы легитимировали власть средствами секуляризированной государственной идеологии. Возвеличивая труды Петра и достижения его времени, апологеты, с одной стороны, обосновывали идеал царя – воплощение высшей власти – как идеал высшего служения «общему благу», а с другой стороны, «встраивали» историю петровского времени в плотный контекст современной истории европейских государств, а значит, в единую ткань исторического наследия христианских наций. Актуализация новейшей истории в первой четверти XVIII в. и в ближайшее последующее время, без сомнения, питалась идеологическими и дидактическими потребностями власти, конструирующей «светскую религию государственности». Благодаря Петру Россия вошла в число «исторических народов», доказала свою состоятельность, была приведена «из небытия в бытие».

Новейшая история доказывала превосходство Петра и построенной им новой культуры перед предшественниками. В этом контексте старая культурная модель не имела смысла и значения и была достойна лишь осмеяния.

И здесь мы подходим к той семиотической аксиоме, которая объясняет не только стремление власти к утилитарному использованию новейшей истории в петровскую эпоху, но и в другие переходные эпохи нашего развития, в том числе последних трех с лишним столетий. «Наблюдения над историей русской культуры, – писали Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский, – убеждают в отчетливом ее членении на динамически сменяющие друг друга этапы, причем каждый новый период... ориентирован на решительный отрыв от предшествующего. <...> Регулярность подобных повторов не позволяет отмахнуться от них как от не имеющих глубинных оснований случайностей» [Лотман, Успенский, с. 220]. В то же время радикальный отказ новатора от опыта предшественника не задевает некие принципиальные первоосновы, задавая тем самым единство и поступательное развитие русской культуры: «именно в изменениях обнаруживается неизменное» [Там же, с. 221–223]. Поясняя сказанное, авторы постулировали две модели построения новой культуры. При первой модели «сохраняется глубинная структура, сложившаяся в предшествующий период, однако она подвергается решительному переименованию при сохранении всех основных старых структурных контуров. В этом случае создаются новые тексты при сохранении архаического старого каркаса». При второй «меняется самая глубинная структура культуры. Меняясь, она, однако, обнаруживает зависимость от существовавшей ранее культурной модели, поскольку строится как “выворачивание ее наизнанку”, перестановка существовавшего с переменной знаков» [Там же, с. 224].

Применение подобного культурно-семиотического подхода в качестве методологической основы сравнения различных исторических эпох переходного характера избавляет от опасности некорректных сопоставлений, неизбежных при использовании историко-компаративистского подхода веберовского толка. Отрешившись от фактуры петровского времени, мы без труда сможем вычленить аналогичные дуальные модели в отечественной культуре XX – начала XXI в. Так, например, вторая модель построения новой культуры очевидно была присуща переходному периоду, начавшемуся в России после событий 1917 г. Идеология и практика государственного строительства большевиков по всем своим направлениям являлась «выворачиванием наизнанку» ценностных структур поздней Российской империи. С точки зрения семиотики культуры этот период схож с древнейшим переходом, связанным с крещением Руси (при абсолютной, разумеется, несхожести содержания и особенностей социально-экономических и политических реалий).

Переживаемая нами современность, которую можно оценить как очередную переходную эпоху, проявляющуюся в очередном констру-

ировании новой культуры, больше соответствует первой модели. Непредвзятые наблюдения свидетельствуют, что за последние годы многие черты формирующейся культурной модели современного государства и общества порой пугающе, а порой карикатурно воспроизводят структуру предшествующего периода – советскую культурную модель «развитого социализма». Это базовое сходство проявляется в партийном строительстве, в экономике, ориентированной на крупные государственно-монополистические компании и преимущественное развитие сырьевого сектора, в преобладании бюрократических методов разработки и принятия решений, в профанации принципов разделения и выборности власти, наконец, в подходах и методах организации пропаганды и иных форм суггестивного воздействия на общество. Вместе с тем современная власть демонстративно отказывается от роли преемника советско-социалистической культурной модели; все культурные топосы нынешних ценностных структур переименованы, а любой представитель правящей партии с негодованием (во всяком случае публично) отвергнет любой намек на сходство с КПСС. Равным образом, если не более решительно и знаково, проявлено отрицание связи ныне выстраиваемой культурной модели с самым ближайшим и непосредственным предшественником, просуществовавшим слишком короткий с точки зрения исторического измерения хронологический период 1990-х гг.

В какой-то мере нынешняя ситуация схожа с той, которая была присуща России петровского времени. Естественное, что нынешняя власть, как и триста лет назад, остро нуждается в общественной легитимации, которая достигается в том числе активным привлечением дидактического потенциала новейшей истории. Подчеркнем: не истории древней или средневековой Руси, не истории Европы Нового времени, не истории народов доколумбовой Америки, а именно новейшей истории Отечества. Как и три столетия назад, новейшая современность, возведенная в ранг истории, внедренная в систему школьного образования (благо таковая, какова бы она ни была в отличие от петровского времени, существует) и преподнесенная в форме единственно правильной версии, должна помочь власти решить по меньшей мере две задачи. Во-первых, доказать ее позитивное созидательное превосходство и преимущества по сравнению с предшественниками. легитимировать ее в глазах нынешнего и будущих поколений. Во-вторых, включить ее деяния в непрерывный поток исторического времени и пространства, увековечить.

Деятельность власти по созданию учебных стандартов нового поколения в области школьной истории и обществознания, активные попытки создания нового единого школьного учебника отечественной истории, подходящие, судя по всему, к своему результативному финалу, деятельность, осмысленная при помощи культурно-семиотического метода, не предстает, таким образом, как некая неожидан-

ность, как гром средь ясного неба, как «вот тебе, бабушка, и Юрьев день». Она закономерна и предсказуема, как и в прежние времена: сходные обстоятельства приводят к сходным последствиям. Противники унификации школьного учебника обвиняют заказчиков и сторонников его создания в том, что последние тем самым формируют очередную лживую идеологию, приносят критическое мышление в жертву по-своему понятому воспитанию патриотизма, подменяют исторический подход династийной историей, восславляют государство в ущерб обществу и т. п.

Но давайте разберемся по возможности спокойно. Наверное, в таком случае мы должны будем признать несколько вещей, лежащих на поверхности. Во-первых, всякая государственная власть имеет право на продвижение того учебника, который, по ее мнению, создает нужное власти мировоззрение у юношества; в нашем случае это право обусловлено тем, что система школьного образования – государственная. Власть, преследующая свои цели, доказывающая свою легитимность и исключительные преимущества предлагаемой ею системы ценностей, формирующая собственную самооценку, выраженную через школьный курс новейшей истории, не может поступать иначе. Оставим же кесарю кесарево. Во-вторых, вполне очевидно, что единый учебник есть меньшее зло, чем необозримое множество таких, но при одном обязательном условии: этот учебник должен быть написан профессионалами, чья репутация в научном сообществе неоспорима. В этом случае, какие бы аксиологические и идеологические акценты ни расставлялись в новом учебнике, он будет полезен хотя бы тем, что сможет дать школьнику структурированное представление о прошлом. И даже если это представление на очередном витке развития окажется ложным, его можно будет переформатировать именно в силу его структурированности. В-третьих, не надо вообще демонизировать учебник, преувеличивать силу его воздействия или возлагать на него какие-то немислимые надежды. История как учебная дисциплина (в силу своей природы) всегда будет нести в себе идеологическую нагрузку, бессмысленно рассуждать – какую (ложную или правдивую), потому что столь же бессмысленно утверждать, будто существует какая-то «правдивая идеология». Много ли было в нашей практике учебников, формировавших критическое мышление? Их ли это задача? Правозащитник академик Андрей Сахаров и первый в мире космонавт Юрий Гагарин, лидеры сегодняшних российских коммунистов и единокороссов, действующий министр образования и автор этих строк – все мы и миллионы граждан бывшего Советского Союза учились по единому и, вероятно, «неправильному» учебнику истории, но разве он сумел нивелировать всех нас под один стандарт? Значит, дело вовсе не в учебнике как таковом. Значит, нелепо пытаться вынудить власть отказаться от одиозных с точки зрения общества или какой-то его части оценок, возведенных в ранг исторической истины. Проблема в том, чтобы выяснить для

себя свое собственное отношение к прошлому и настоящему. Пусть дуальность в динамике русской культуры продолжает доказывать свою аксиоматичность. И пусть вновь и вновь появляются на свет стандартные учебники. Не они формируют критичность мышления, чувство патриотизма и гражданственности, а человек, учитель. При сегодняшней открытости информационного пространства, бесчисленном множестве доступных исторических источников только ленивый будет бессмысленно зазубривать учебные постулаты. Профессиональная совесть и профессиональное мастерство человека, ведущего образовательный процесс, обеспечат воспитание и критичности, и патриотизма, и гражданственности. Как это обеспечить – вопрос, выходящий за рамки настоящего рассуждения. Но последний «рубеж обороны» всегда проходил и будет проходить через нас, а не через учебник. А насколько нынешняя власть была продуктивна и полезна для общества, рассудит история. Позднее. Когда из новейшей она перейдет хотя бы в категорию новой.

Живов В. М., Успенский Б. А. Царь и Бог. Семиотические аспекты сакрализации монарха в России // Успенский Б. А. Избр. тр. : в 4 т. Т. 1. Семиотика истории. Семиотика культуры. М., 1994. [Zhivov V. M., Uspenskij B. A. TSar' i Bog. Semioticheskie aspekty sakralizatsii monarkha v Rossii // Uspenskij B. A. Izbr. tr. : v 4 t. T. 1. Semiotika istorii. Semiotika kul'tury. M., 1994.]

Мандельштам О. Собрание сочинений : в 3 т. Т. 2. N. Y., 1971. [Mandel'shtam O. Sobranie sochinenij : v 3 t. T. 2. N. Y., 1971.]

Лотман Ю. М. Очерки по истории русской культуры XVII – начала XIX века // Из истории русской культуры. Т. 4 : XVIII – начало XIX века. 2-е изд., М. 2000. [Lotman Yu. M. Ocherki po istorii russkoj kul'tury XVII – nachala XIX veka // Iz istorii russkoj kul'tury. T. 4 : XVIII – nachala XIX veka. 2-e izd. M., 2000.]

Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) // Успенский Б. А. Избр. тр. Т. 1 : Семиотика истории. Семиотика культуры. М., 1994. [Lotman Yu. M., Uspenskij B. A. Rol' dual'nykh modelej v dinamike russkoj kul'tury (do kontsa XVIII veka) // Uspenskij B. A. Izbr. tr. T. 1 : Semiotika istorii. Semiotika kul'tury. M., 1994.]

Редин Д. А. Место законодательства в формировании образа власти в России // Конституционализм в России: теория, история, современность : материалы науч.-практ. конф. Екатеринбург, 1996. [Redin D. A. Mesto zakonodatel'stva v formirovanii obraza vlasti v Rossii // Konstitutsionalizm v Rossii: teoriya, istoriya, sovremennost' : materialy nauch.-prakt. konf. Ekaterinburg, 1996.]

Исследуется взаимосвязь между историей как учебной дисциплиной и процессом легитимации власти в России в переходные исторические эпохи. Используя методы и подходы культурно-семиотического анализа, в частности модель дуальных систем, разработанную в рамках московско-тартуской школы семиотики, автор доказывает, что дидактический и идеологический потенциалы истории начинают активно и осознанно использоваться властью с эпохи Петра Великого, когда под влиянием культурного сдвига начинает формироваться «светская религия государственности». Учитывая, что с точки зрения семиотики культуры

любые переходные эпохи поддаются корректному сопоставлению и прочтению, автор статьи анализирует современный интерес власти к созданию единого школьного учебника по отечественной истории и высказывает свое мнение о том, что этот интерес, обусловленный типологической ситуацией культурно-исторического перехода, есть одно из проявлений очередного стремления власти к общественной легитимации с помощью истории.

К л ю ч е в ы е с л о в а : власть; легитимация; историко-семиотический метод (подход); дуальные модели; переходные эпохи; идеология; дидактика исторического знания; школьный учебник истории.

Dmitry Redin (Дмитрий Алексеевич Редин), prof.
Russia, Yekaterinburg
Ural Federal University
volot@mail.ru

АКТУАЛЬНАЯ СТАТЬЯ НЕМЕЦКОГО ИСТОРИКА ШТЕФАНА ТРЁБСТА

Выбор статьи Ш. Трёбста для перевода и публикации в «Quaestio Rossica» представляется вполне оправданным по нескольким основаниям. Во-первых, она посвящена одной из важнейших методологических проблем исторической науки – проблеме периодизации. Во-вторых, это обзор исследований по истории России XVII столетия, в процессе которого автор стремится выявить критерии, которые использовались российскими и немецкими авторами для периодизации истории России XVII в. В-третьих, это еще и своего рода сводка данных об изучении «бунташного века» в Германии.

Понятно, что в объемах статьи эти задачи решаются с разной степенью полноты и доказательности. Можно посетовать на то, что мимо внимания автора прошли важные исследования, появившиеся в последние десятилетия (В. И. Буганов, Н. Ф. Демидова, А. И. Комиссаренко, Т. А. Лаптева, В. Д. Назаров, Н. Н. Покровский, А. А. Преображенский, Н. М. Рогожин, А. Л. Станиславский, Ю. М. Эскин). Отмечу, что проблематика XVII в. изучается очень активно, относится к той сфере исторического знания, куда пришли молодые исследователи.

Тем важнее мне представляется главная проблема, заявленная автором, – установление критериев периодизации.

Отталкиваясь от частного факта – записи Иоганна Готфрида Грегори, пастора московской протестантской церкви, датируемой 1667 г., где этот житель Немецкой слободы сообщал, что в России уже не осталось «ничего варварского», Ш. Трёбст переходит к общим вопросам исторической периодизации вообще и переходу к Новому времени в частности. Автор солидарен с мнением И. Буркхарда о существовании в истории «эпохальных лет», имеющих дидактическое и символическое значение. Таким «эпохальным годом», по Ш. Трёбсту, стал 1667-й год, когда сошлись во времени знаменитый церковный собор 1666–1667 гг., обозначивший начало подчинения церкви государю, Андрусовское перемирие с Польшей, превращавшее Россию в важного игрока европейской политики, принятие Новоторгового устава, который стал памятником протекционистской политики, назначение Симеона Полоцкого воспитателем царских детей, что в совокупности означало переход страны к европейской модели развития.

К указанной «эпохальной дате» можно добавить еще и эсхатологические ожидания «Кирилловой книги», где 1666 г. придавался особый смысл, и начало розысков в Сибири новопришлых, превратившихся по милости властей в беглых (А. А. Преображенский).

Эта совокупность событий, однако, не снимает главного вопроса – о принципах периодизации. Стремление к универсальной схеме периодиза-

ции всегда жило и живет в историографии со времен Августина Блаженного. Всё дело сводится лишь к выявлению неких универсальных, принципов исторического развития. Уходя от этой бесконечной и важной темы, отмечу, что, пожалуй, последним взрывом попыток найти универсальные основания для периодизации в историографии России XVII в. стала длившаяся десятилетия и, по моему мнению, мало продуктивная дискуссия о времени зарождения буржуазных отношений (Н. М. Дружинин, С. Г. Струмилин, М. В. Нечкина и др.).

Выскажу своё мнение по проблеме периодизации. При субъективности и произвольности любой периодизации историческое исследование обязательно должно иметь собственную периодизацию, исходящую из анализа объекта изучения, его эволюции, тех факторов, внутренних и внешних, которые отражают эволюцию объекта исследования.

Применительно к истории русского XVII в. можно выделить несколько рубежей, каждый из которых зависит от того, что исследует историк. Конечно, для тех, кто изучает историю самодержавия, рубежом будет 1613 г., появление династии Романовых на царском престоле. Для исследователя государственного устройства страны, как и для истории социальных отношений, этим рубежом станет Соборное уложение 1649 г., для экономической истории – это 1667-й год с его Новоторговым уставом и появлением мануфактур. Но возможны и другие, обусловленные изменениями имманентных, сущностных характеристик. Они, эти периодизации, будут отличаться, что лишь подчеркивает единство и многогранность исторического процесса.

Так стал ли 1667-й год началом «нового этапа русской истории»? Пастор Иоганн Готфрид Грегори считал, что стал, так как страна перестала быть варварской. Ш. Трёбст согласен с ним. Их объединил один, выдвигаемый ими как главный, принцип периодизации – европеизация страны. Аргументы, приводимые им, вполне основательны.

Но едва ли не важнее авторская постановка проблемы о природе периодизации.

Р. Г. Пихоя

**СУДЬБОНОСНЫЙ 1667 ГОД?
К ДЕБАТАМ О «ПРОРЫВЕ В НОВОЕ ВРЕМЯ»
МОСКОВСКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ГОСУДАРСТВА¹**

The article deals with the problem of historical periodization, i.e. the problem of dating the transition “from the old Tsardom of Muscovy to the Russian Empire of the early modern period”. The author seeks to find the difference between the periods and events that turn out to be crucial from those which do not and cites a number of facts: the Truce of Andrusovo, L. A. Ordin-Nashchokin’s economic and political reforms, Simeon Polotsky’s innovations in literature and arts, the Schism (Raskol) in the Russian Orthodox Church, and Stepan Razin’s rebellion, to show that a combination of major factors of political, social, cultural, economic and some other nature falls on the year of 1667 which marks the beginning of a new period in Russian history.

Keywords: 1667; Moscow centralized State; Russian Empire; Truce of Andrusovo; Raskol; Ordin-Nashchokin’s reforms; Simeon Polotsky’s innovations; Stepan Razin’s rebellion.

В книге отзывов штутгартского гастронома Иоганна Аллгайера находим под датой 26 октября 1667 г. запись Иоганна Готфрида Грегори, на тот момент второго пастора протестантской Офицерской церкви в Москве, в форме незамысловатой рифмовки – случайного стихотворения, не свободного от некоторых стереотипов о Российском государстве и его населении. В одном месте взгляд Грегори на его новую родину значительно отличается от представлений о России его немецких соотечественников, особенно когда последний пишет, «что в варварской стране ничего варварского нет» [Rauch, S. 3]. По мнению Грегори, из-за рубежа Россию воспринимали как «варварскую» страну, хотя это внешнее восприятие едва ли соответствовало внутреннему содержанию: здесь не было «ничего варварского» [Hueck, S. 324]². Грегори утверждает, что в России «варварское» сосуществует с ци-

¹ Исправленный и сокращенный вариант статьи: *Troebst St. Schwellenjahr 1667? Zur Debatte über den „Durchbruch der Neuzeit“ im Moskauer Staat // Berliner Jahrbuch für osteuropäische Geschichte, Elitenwandel und Modernisierung in Osteuropa. 1995. 2. S. 151–172.*

² В одном из анализов данного стихотворения представлено мнение, что слово *fast* [*diene*], в отличие от сегодняшнего значения, употребляется здесь для усиления словосочетания «ничего варварского» в смысле «вообще ничего варварского».

визованным, московская традиция с западноевропейской Нового времени³, полагая, что ко времени написания этого стихотворения осенью 1667 г. новое несомненно преобладало над старым.

Весьма схожую позицию, подобную позиции современника пастора Грегори, включая датировку, можно найти в историографии, посвященной истории России. Как некую точку без возврата (*point of no return*), от которой начинается отсчет времени, переход от старомосковского царства к Российской империи Нового времени, называют именно этот год – 1667-й. Для обоснования данной точки зрения приводятся очевидные трансформационные процессы в государстве и обществе, церкви и культуре, экономике и внешних связях. Проанализируем их и представим некоторые размышления в пользу эпохального характера названного года⁴.

Четверть века назад социолог из Билефельда Никлас Луман высказался по поводу эпох и теории эволюции: «вехи в истории, а вместе с ней и качество нового, как правило, всегда преувеличиваются» [Luhmann, S. 25–26; цит. по: Bödeker, Hinrichs, S. 12]. Это высказывание соответствует *main stream* современной исторической науки, критикующей вместе с Бенедетто Кроче произвольную и субъективную природу любой хронологической классификации по эпохам и относящей таковую исключительно в область «мнемотехнической заинтересованности» [Bayer, S. 124]. «Существует консенсус, – считают историки Ганс Эрих Бёдекер и Эрнст Хинрихс, – что периодизации необходимо рассматривать как арбитражные, искусственные определения» [Bödeker, Hinrichs, S. 13], так как якобы «ранее утверждавшиеся эпохальными события <...> потеряли в процессе исследований свое прежнее значение» [Ibid., S. 5]. Следовательно, согласно Иоганну Буркхардту, «... специфические ‘эпохальные даты’ <...> не играют в сегодняшней научной дискуссии никакой роли» [Burkhardt, S. 12]. Поэтому предложение Винфрида Шульце нашло такой живой отклик у коллег: «говорить не столько о проблеме “периодизации”, сколько о проблеме “процессуализации”» [Schulze, S. 22]. Соответственно начало и конец эпох Бёдекер и Хинрихс предлагают рассматривать «не как синхронное развитие нескольких процессов, но как сонм напряженных, взаимоотноносительных процессуальных линий» [Bödeker, Hinrichs, S. 43].

На вопрос о том, в чем же принципиальное отличие Нового времени от таких больших эпох европейской истории, как Античность и Средневековье, находятся, как и следовало ожидать, самые различные точки зрения. Среди многочисленных ответов можно выделить несколько блоков общепринятых критериев, имеющих силу и в отношении России. Во-первых, это включенность в «мировую евро-

³ См. по данным терминологическим парам: [Scheidegger; Klug, 1987, S. 265–289, 193–224].

⁴ Новый год начинался 1 сентября предыдущего года. Следовательно, если речь идет о 1667 г., то необходимо учитывать последние месяцы 1666 г. и первые – 1668 г. [ср.: Hoffmann, S. 235–240]. В последующем все хронологические даты соответствуют юлианскому календарю.

пейскую экономику» в процессе интеграции и многообразие связей; во-вторых, разделение трансформационного процесса политических систем в его абсолютистскую и либеральную части; в третьих, тенденции развития, для которых характерны такие понятия, как индивидуализация, гражданственность, рационализация, секуляризация и повсеместная грамотность. Соответствуя процессуальному характеру данных категорий, в центре внимания историков находятся не аспекты событийной дипломатической или политической истории, но идеи, владеющие умами, и такие процессуальные линии, как абсолютизм, современное государство, Ренессанс и Реформация [ср.: Skalweit; Kunisch, S. 150–161; Mieck, S. 357–373; Walder, S. 21–47].

И если в исторических исследованиях применяются не только процессуальные понятия, но и такие временные понятия, как век, новая эра, эпоха или великая эпоха (*Zeitalter, Ära, Epoche, Großepoche*), или более специфические термины: переломная эпоха, ключевая эпоха (*Sattelzeit, Achsenzeit, Schwellenzeit*), значит, несмотря ни на какую критику, ученые пользуются этими понятиями и занимаются периодизацией. Это происходит именно из соображений структурирования и схематизации исторического материала для его более лучшего понимания. В этой связи понятие «эпохального года» может быть отчасти реабилитировано, говоря в унисон с Иоганном Буркхардтом, считающим, что «“эпохальные годы”... это важные даты, выделенные из дидактических соображений и имеющие символическое значение для процессов, выражением которых они являются» [Burkhardt, S. 12]⁵. Несмотря на проблематичность их применения, а это именно консенсус, характерный для исследований раннего Нового времени, исторические размышления, облаченные в одеяние периодичности, остаются актуальными сегодня, как и тонкое разделение годов на разных уровнях, фигурирующих как «сигнатура» или «аббревиатура эпохи» из соображений мнемотехники, дидактики и удобства применения в практическом исследовании.

Рейнхард Виттрам сформулировал главный вопрос данной статьи: может ли считаться год 1667-й эпохальным в процессе трансформации Московской Руси в современное Российское государство: «Великое событие <...> которое легче обозначить иносказательно, чем назвать и объяснить» [Wittram, 1964, S. 67]. Так является ли 1667-й год той ключевой датой, должной символизировать желаемый качественный скачок?

Не в последнюю очередь ответ на этот вопрос затруднен тем, что с позиции традиционной трехчастной периодизации Античности, Средневековья и Нового времени она проблематична для восточнославянского (русского) пространства. Вопрос о том, имела ли Древняя Русь в своих основах античные начала, заимствованные из Византии, живо дискутируется сегодня⁶. Нет единого мнения и по по-

⁵ Другой немецкий историк, исследующий эпоху раннего Нового времени, указывает на «во многом значимый 1660», чтобы обосновать начало своего повествования именно этим годом [Duchhardt, S. 31].

⁶ В то время как Вернер Филипп считает, что, «несмотря на критику традиционной

воду дальнейшей спецификации Нового времени на такие подразделения, как раннее Новое время или современная история (*Frühe Neuzeit*, или *Zeitgeschichte*) [см.: Zernack, HGR, 2/1, S. 1–7; Hellmann, S. 1–7]. При этом наибольшие расхождения имеются прежде всего относительно начала Нового времени, и здесь мы можем найти самые различные ответы. Историки, занимающиеся вопросами демографии, экономики, дипломатии, техники и права, делают совсем другие акценты по сравнению с теми, кто занимается историей церкви, культуры, политики и дипломатии этого крупного региона. Имеющиеся предложения по периодизации простираются от рубежа XV–XVI вв. до середины XVIII в. Один из основателей русской исторической школы Сергей Соловьев, отталкиваясь от понятия крепостного права, выделяет в русской истории два главных периода «старой России», основным признаком которой является прикрепление крестьян, и «новой России», характерной чертой которой является освобождение крестьян [Соловьев, 1988, с. 55; 1991, с. 103]. Между двумя этими эпохами существует время перемен с начала XVII до середины XVIII в. Согласно концепции Соловьева, основные черты инкубационного периода Нового времени и вступления России в систему европейских государств – ориентация на западные образцы в культуре, экономике и технологиях, в области военного дела и государственного аппарата, а также амбициозная попытка «в страну сел внести город» [Соловьев, 1991, с. 102–103].

Трехчастную модель с пограничным 1750 г., а также предшествующим ему 1600 г. значительно модифицировал его ученик Василий Ключевский. Согласно его концепции, «основным фактом» русской истории были переселение, колонизация страны, а не закрепощение крестьян. Исходя из этого понятия, Ключевский выделил четыре основных периода [см.: Ключевский, 1987, с. 50–53]. Три из них приходились на Киевскую и Московскую Русь; четвертому отведено время новейшей истории с пограничными вехами 1613 г. (год вступления на престол первого царя новой династии Романовых) и 1855 г. (Крымская война). «Этот период всероссийский, императорско-дворянский, период крепостного хозяйства, земледельческого и фабрично-заводского» [Там же, с. 52], был для московского историка «не просто период, а целая цепь эпох. <...>. Это не один из периодов нашей истории: это – вся наша новая история» [Ключевский, 1988, с. 5]. Кроме того, Ключевский признавал за 1689 г., началом безраздельного царствования Петра I, характер ключевого события [Там же, с. 341].

Обе даты (1613 и 1689) ввел в свой программный «План религиозной периодизации русской истории» Вернер Филипп, выбрав также трехчастную периодизацию Соловьева. Между древнерусской эпохой, для которой была характерна традиция византийской набожности,

периодизации, делящей «европейскую» историю на древнюю, средневековую и новую, мы не можем применить ее в случае с историей России, так как в ней нет генетической связи с Античностью», один из его учеников возразил: «Древняя Русь также располагала – несмотря на некоторые легенды прошлого и современности – через Византию антично-европейским наследием» [см.: Philipp, 1983, S. 10; Torke, HGR, 2/1, S. 201].

и Новым временем в России, для которого характерно автономное мышление, он располагает эпоху раскола, или «эпоху дуализма веры» [Philipp, 1983, S. 10, 13, 16], которую он обозначил «переходным периодом» [Ibid., S. 19]. При этом он выявил противоречивое заключение своего берлинского ученика и последователя Ганса-Иохима Торке, заявлявшего категорически, указывая на реформы допетровского времени, что XVII столетие ни в коем случае нельзя называть переходным, так как «оно уже является “началом Нового времени в Московской Руси”». Называть его “переходным” неправильно, так как оно неточно и часто применяется в уничижительном значении как “переходное столетие”. Те же, кто пользуются именно этим определением, определяют начало Нового времени более поздними датировками и переносят их непосредственно во время Петра Великого. Такая точка зрения, даже признавая систематический и форсированный характер Петровских реформ по модернизации, более не может быть признана достаточно обоснованной» [Torke, HGR, 2/1, S. 12; Wittram, 1954].

Периодизация самого Торке состоит из четырех временных отрезков, ориентирующихся на социально-политическую историю: автократия 1462–1676 гг., автократический абсолютизм 1676–1762 гг., просвещенный абсолютизм 1762–1861 гг., поздний абсолютизм 1861–1906 гг. [Torke, 1986, S. 49]. Соответственно граница эпох отодвинута Торке в допетровское время. Несомненно, первые отчетливые признаки европеизации видны уже в первой половине XVII в.: полки «иноземного строя», рекрутировавшиеся в том числе из иностранных наемников, строительство железоделательных мануфактур с помощью нидерландских и шведских предпринимателей и специалистов. И все же в середине XVII в. «старое и новое находилось [еще] в равновесии» [Ibid., S. 42]. «Переломным моментом» стал, согласно нарисованной перспективе, 1676-й г., когда на трон взошел царь Федор Алексеевич: «Начало Нового времени может быть отнесено к 1676 году, если уж необходимо назвать какую-то дату, с началом его царствования» [Ibid., S. 43].

Берлинский историк основывает свое мнение на том, что новый царь руководствовался идеями «натурального права» и принципами рационального мышления, помогавшими ему переломить доминирующую в Московской Руси традицию православной набожности и ввести абсолютистскую традицию патерналистского государя – царя-батюшки [Torke, 1986, S. 42]⁷.

Еще дальше отодвинули границу *take-off* в Новое время, хотя и осторожно, североамериканские историки Русской церкви и литературоведы. И Вильям Эдвард Браун, и Пол Бушкович отдали свое предпочтение 1645-му г. как переломному, а именно времени начала царствования Алексея Михайловича [см.: Brown, p. 61; Bushkovitch, p. 176–178].

⁷ Автор пересмотрел свою точку зрения, представленную в 1974 г., согласно которой XVII в. «полностью относится к эпохе Древней Руси»: «Согласно духу времени, Новое время начинается... лишь с Петра Великого и его политики, преследующей цель заменить православную набожность на западную автономию разума» [Torke, 1974, S. 7].

Значительно отличается от этих периодизаций материалистически ориентированная историографическая традиция, полагающая видеть «Россию на пороге Нового времени» уже в начале XVI в. [см.: Зимин; Donnert; Kämpfer, S. 504–524; Nitsche; Kämpfer, Stökl, S. 853–960]. Данная точка зрения почти полностью совпадает с периодизацией западной традиции экономической истории России. Так, Элизабет Хардер-Герсдорф относит на границу XV–XVI вв. доиндустриальную эпоху, или раннее Новое время, характеризующееся в XVII в. протоиндустриальной продукцией, а в XVIII в. – протокапиталистической формой производства. Собственно, Новое время у нее начинается в первое десятилетие XX в. [см.: Harder-Gersdorff, S. 91].

Различные схемы по периодизации истории России, прежде всего касающиеся начала Нового времени, могут сильно отличаться друг от друга в зависимости от тематики. И все же на основании обзора можно сделать вывод, что почти во всех названных моделях по периодизации именно XVII в. называется переломным, ведь на его вторую половину с незначительными вариациями и приходится тот самый «прорыв в Новое время».

Наиболее значимыми годами называются в различных интерпретациях по периодизации в «беременном» Новым временем XVII в. – 1613, 1689 и, согласно Торке, 1676 гг. Как было упомянуто вначале, некоторые специалисты по истории России относят данное эпохальное событие на 1667 г. Особенно активно в пользу 1667 г. выступил североамериканский историк культуры Джеймс Биллингтон: «Наиболее драматичное событие в истории XVII века» [Billington, p. 124]; «решительный момент в исчезновении старой Московии» [Ibid., p. 125]; «формальным концом которой было принятие на церковном соборе 1667 года схизмы... обозначившей точку невозврата в русскую историю» [Ibid., p. 121]; «1667 год... был во многих смыслах началом нового порядка в России» [Ibid., p. 144]. Данная точка зрения о судьбоносном характере этого года в религиозном и духовно-культурном плане находит все больше приверженцев сегодня. «Московский собор 1666–1667 гг., – констатировал Александр Панченко, – одобрил европейский путь развития русской культуры... в результате которого Древняя Русь превратилась в Новую Россию» [Панченко, с. 2]. Это предположение, подкрепляющееся выкладками прежде всего историков литературы, указывающих на круг деятельности и влияние светски-прозападно ориентированного монаха, публициста и педагога Симеона Полоцкого.

Уже Соловьев называл Московский собор событием эпохального значения, подчеркивая его мощное влияние [Соловьев, 1991, с. 114]. Однако еще более важное значение историк отводит Андрусовскому перемирию, означавшему «тектонический сдвиг» в системе государств Восточной и Северной Европы в пользу Москвы. Согласно Соловьеву, благодаря этому договору закончилась «великая борьба между Россией и Польшей» [Там же, с. 181]. Благодаря этому у царя

были развязаны руки как для решения внутривосточных задач, так и для борьбы с Османской империей, а также для возобновления попыток выхода к Балтийскому морю. Андрусовский договор от 20 января 1667 г., делает вывод Соловьев, является той чертой, которая отделяет старую Россию от новой [Там же]⁸.

В заключение приведем мнение еще одного североамериканского историка, Самюэля Х. Барона, для которого 1667 г. также является переломным (*a banner year*). Кроме факта выгодного договора с Польшей, он приводит дополнительные аргументы. Так, имелся целый ряд многообещающих нововведений меркантильного и технологического характера, включавших потенциально выгодные новые регуляторы внутренней, внешней и транзитной торговли, а также был задуман амбициозный проект по строительству морского флота. Движущей силой этих инноваций было доверенное лицо государя, главный управитель Посольского приказа Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин [Baron, p. 2].

Согласно представленным выкладкам, множество авторов опирается в своей аргументации на одно или два важных события, чтобы подчеркнуть особенное значение именно 1667 г, поэтому в последующем изложении попытаемся выяснить, в каком соотношении и какой взаимосвязи состояли все эти события и процессы и нельзя ли выявить какие-либо дополнительные важные факторы, изменения и тенденции развития, нашедшие свое завершение в этом году или берущие в нем свое начало.

Предваряя выводы, скажу, что события этого года затрагивали, как правило, лишь высшие слои государства и общества – царский двор, боярство, центральные приказы, церковное руководство, а также региональные элиты. Выражаясь словами институциональной социологии, эффект *trickling through* был достаточно слабым, *nerves of government* в вертикальном направлении, благодаря специфике политической системы Московского государства, вялыми⁹.

Автократический принцип значительно укреплял центральную власть, одновременно ослабляя связи с периферией огромной подвластной территории. Еще более сильно эффект изоляции проявлялся между центром власти и без того маргинальным негосударственным сектором. Пропасть между верхом и низом в обоих случаях была огромной. Наличие бинарной системы слабо сообщающихся между собой областей государства, почти не имеющих промежуточных ступеней, затрудняло

⁸ В. О. Ключевский также отводил большую роль Андрусовскому перемирию, которое произвело «крутой перелом во внешней политике Москвы» [Ключевский, 1988, с. 115].

⁹ Исключения подтверждают правило. Когда Алексей Михайлович приказал в 1667 г. тобольскому воеводе Петру Годунову составить первую географическую карту Сибири, то получил уже через несколько месяцев карту, нисколько не уступающую западноевропейским стандартам [Bagrow]. Первое систематическое описание политического устройства Московского государства Григория Карповича Котошихина, законченное в 1667 г., хотя и не было критичным, но все же с некоторым уровнем рефлексии [см.: Uroff; Kotošixin; Epstein; Weickhardt, S. 127–154].

распространение трансформационных импульсов вглубь [см.: Torke, 1974]. Неудивительно, что значительные изменения среди элиты русского общества могли остаться незамеченными в «стране сел» Соловьева, в то время как «город» играл второстепенное значение и не мог быть тем трансмиссионным механизмом между новым и старым.

При этом неординарность такого события, как Андрусовское перемирие, была отмечена и иностранными современниками. Договор положил конец Второй Северной войне, которую Алексей Михайлович начал в 1654 г. против Речи Посполитой во время большого кризиса на Украине в середине века. В Андрусово московской дипломатии удалось достичь не только главной цели, поставленной в войне (возвращения западных земель, потерянных в Смутное время), но и получить все земли восточнее Днепра вместе с Киевом¹⁰. Тем самым был сделан значительный и символический шаг в осуществлении поставленной Иваном III в конце XV в. задачи «собираания русских земель» [Zernack, 1994, S. 24]. Кроме того, интеграция «западнолатинской» Восточной Украины не обошлась и без обратного влияния на центр власти. Наряду с глубокими последствиями внутри страны и для русской культуры перемирие сильно изменило архитектуру системы государств Восточной Европы. В первую очередь оно показало очевидную слабость Речи Посполитой, не способной выполнять далее роль гегемона в Восточной Европе. Более того, с этого момента начинается постепенная аннексия польско-литовской территории в пользу восточного соседа, закончившаяся в 1795 г. В среднесрочной перспективе договор разграничивал в приемлемой форме интересы обеих сторон, что позволило на какое-то время объединить усилия обоих государств против Османской империи и ее вассала – Крымского каганата – в Северном Причерноморье. Сближение с Польшей позволило также пересмотреть ряд территориальных вопросов по отношению к Швеции. Первая попытка выхода к Балтийскому морю в 1656 г. была предпринята при неблагоприятных условиях войны на два фронта против Швеции и Польши. Теперь Польша была союзником. Но понадобилось еще три десятилетия, чтобы окончательно переломить ситуацию на юге страны, нейтрализовав наконец стремление Турции на Север (*Drang nach Norden*), и начать движение России по захвату владений Швеции на Балтике. Доведя Великую Северную войну до победного конца, Петру I удалось поставить точку в предложении, начатом в 1667 г. Андрусовским перемирием. Россия из «второстепенного приграничного государства» (*Randstaat*) превращается в гегемона (*Hegemonialmacht*) – именно такой терминологической парой в титуле был поставлен главный акцент в соответствующем томе справочника по истории России¹¹.

Достижение компромисса с Польшей было необходимой предпосылкой для защиты от турок и татар и для победы над Швецией. Тем самым был заложен фундамент для возвышения России сначала в

¹⁰ О генезисе, содержании и последствиях договора см.: [O'Brien, 1963, S. 119; Wójcik, 1959; 1968].

¹¹ Handbuch der Geschichte Rußlands (HGR).

роли регионального лидера, а затем и великой державы на континенте. Именно Андрусово стало решающим фактором в период с середины XVI до начала XIX в. в «эпоху... Северных войн», как обозначил это время Клаус Цернак. Уже современники понимали эпохальное значение мирного договора де-факто в Андрусово. С этого времени в представлении европейцев (*christliches Abendland*) восточная граница Европы ассоциируется не с такими странами, как Швеция, Польско-Литовское княжество и Османская империя, а прежде всего с Россией. Изменение статуса последней отразилось и в ее названии – в Европе ее больше не называют «Московией»¹².

Заслуга столь необычайно выгодного мирного договора с Польшей принадлежит внешнеполитическому советнику Алексея Михайловича Ордину-Нащокину. Особое доверие к нему царя выразилось в назначении последнего боярином и главным управителем Посольского приказа с громким титулом «царской большой печати и государственных великих посольских дел сберегателя», т. е. высшим чиновником в должности, соответствующей должности государственного канцлера [Torke, HGR 2/1, S. 101]. Среди различных *homines novi*, назначенных Алексеем Михайловичем в 1667 г. на высокие должности, Ордин-Нащокин был самым динамичным. Этот «первый современный человек России» [Karl Stählin, S. 99]¹³ имел теперь возможность, реализовать свои представления о новой политике по отношению к Западу, во внутренней и внешней торговле, в системе налогообложения, организации городского управления¹⁴. Подобно основателям теории меркантилизма, «русский Ришелье» [Fahlborg, S. 25] увидел четкую взаимосвязь между военно-политической мощью государства и его эффективной торговой и финансовой политикой. Главной линией во внешнеполитической деятельности Ордина-Нащокина было тесное взаимодействие с Польшей для подготовки преодоления оборонительного пояса крепостей Швеции на Финском заливе и в Лифляндии¹⁵. «Нащокин, – сообщал в 1667 г. шведский резидент в Москве Адольф Еберскёльд, – является тайным врагом Швеции. Он планирует много нового, но ничего хорошего» [Fahlborg, S. 25].

В тесной связи с планами Ордина-Нащокина на побережье Балтийского моря находилась программа по строительству военного флота наряду с торговым. Выход к Балтийскому морю и строительство фло-

¹² К. Цернак отмечал, что Андрусово обозначило собой начало «размосковитизации» дипломатического статуса России в Европе, что означало первый шаг к «русификации» сознания русских [HGR, 2/1, S. 145]. Современники наблюдали резкое изменение в поведении московских дипломатов в 1667 г.: они больше не были одеты в «московские платья», но носили «teutsche» (немецкое) и повергали своих бренбургских, венецианских и других партнеров по переговорам в удивление своей «хорошей немецкой и голландской речью» [см.: Welke, 1987, S. 284].

¹³ А. Л. Ордин-Нащокин был первым государственным человеком, делившим вместе с царем ответственность за принятие политических решений. В то же время стиль его работы был необычным для его современников, когда он делегировал задания своим подчиненным [см.: Платонов, с. 120–122; Crummey, S. 57; Галактионов, Чистякова].

¹⁴ См. о его политических взглядах: [O'Brien, 1969, S. 369–379; 1976, S. 209–222].

¹⁵ Ордин-Нащокин не уделял должного внимания украинским делам, почему царь передал это направление внешней политики в другие руки [см.: Torke, 1992, S. 50–51].

та были главной целью реформ «первого русского канцлера», основанных на идеях меркантилизма [Фейгина, с. 35–46]. С одной стороны, речь шла о правовой, политической и экономической поддержке отечественного купечества по отношению к государству и иностранным предпринимателям, с другой – об использовании выгодного транспортно-географического положения России в качестве транзитной страны для международной торговли между Ближним Востоком, Средней Азией и Западной Европой [см.: Чистякова, 3–57; Курсков]. Сразу же по вступлении в должность Ордин-Нащокин придает этим направлениям реформ законодательную и договорную формы. 22 апреля 1667 г. издается Новоторговый устав, разрешавший иностранным купцам торговать лишь в приграничных и портовых городах, отдавая, таким образом, полное преимущество на внутреннем рынке русскому купечеству [см.: Черепнин, с. 303–356; Базилевич, с. 589–622; Андреев, с. 303–307; Чистякова, с. 102–126; Козинцева, с. 94–100; Heller].

Однако в самом главном пункте Ордин-Нащокин сделал исключение для транзитной торговли между Востоком и Западом: так как российское купечество не обладало достаточным капиталом и не располагало сильной организацией, чтобы играть роль посредника в этой торговле, так и в связи с нейтрализацией европейских купцов северо-западного направления, которым был запрещен въезд или проезд через страну, должны были быть найдены иные посредники [см.: Troebst, S. 180–209.]. Это удалось ему в договоре с армянской торговой компанией в персидской столице Исфахане 31 мая 1667 г. Армянские купцы получили доступ к российскому внутреннему рынку и к главным центрам торговли с Западной Европой – Архангельску, Новгороду и Смоленску, а также право провозить торговые грузы транзитом на Запад.

В ответ армянская компания, владевшая монополией во внешней торговле персидским шелком-сырцом, обязывалась изменить торговый путь, пролежавший до этого времени через мыс Доброй Надежды и страны Леванта в Европу, через Каспийское море, Волгу и Москву [Собрание..., с. 204–208]. И хотя этот договор удачно вписывался в новую внешнеторговую политику России, шах был не меньшим противником Оттоманской империи, чем русский царь или польский король, и, несмотря на сам договор, никакого движения товаров в пользу его исполнения не последовало. Тому причиной было разразившееся на юге страны в начале 1667 г. восстание донских казаков, дестабилизировавшее регион. Повстанческое войско атамана Степана (Стеньки) Разина перечеркнуло и другой план Ордина-Нащокина – строительство российского морского флота. Для обеспечения безопасности запланированного торгового пути через Каспийское море Ордин-Нащокин распорядился построить с помощью нидерландских кораблестроителей и инженеров флотилию морских судов, которая попала в руки бунтовщиков и была сожжена [см.: Baron].

Лишь Петру I удалось получить доступ к Балтийскому морю, обезопасить и взять под контроль российскую внешнюю и транзитную

торговлю, придать русскому городу новый облик. Предприятие, задуманное Ординым-Нащокиным, было, безусловно, не из легких, и не следовало ожидать быстрых результатов в экономической и общественной жизни. С учетом всех этих трудностей тем более удивляют высокий уровень понимания проблем меркантилистской торговли, с которыми столкнулся Ордин-Нащокин, и его взрывная энергия, с которой он взялся за реформы в 1667 г.

Одновременно с поручением Ордину-Нащокину главных направлений центральной власти в области внешней политики и торговли Алексей Михайлович допустил в свое ближайшее окружение еще одного реформатора и просвещенного деятеля, уже упомянутого ранее, талантливого литератора, философа и педагога Симеона Полоцкого. В качестве придворного поэта, а с 1667 г. священника дворцовой церкви и воспитателя царских детей Симеон Полоцкий существенно изменил интеллектуально-духовную атмосферу при царском дворе. Получивший свое образование в Киеве и Белоруссии, монах обращался в своих многочисленных стихах прежде всего к античным литературным образцам, облекая их в европейскую барочную форму. Примером тому служит панегирическая поэма «Орел российский», написанная к 1 сентября 1667 г., после объявления Алексеем Михайловичем своего старшего сына Алексея престолонаследником. Здесь Симеон сравнивал царя и царевича с другими «идеалами», тоже справедливыми и строгими монархами, прежде всего с Александром Македонским и Юлием Цезарем. Согласно советскому историку литературы Александру Белецкому, положившему в 1941 г. начало дискуссии о переходе от «древнерусской литературы» к «новой», поэма «Орел российский», благодаря ее связям с античной литературой и западноевропейской традицией, ознаменовала собой начало «новой русской литературы» [Демин, с. 6]. В политическом плане поэма также представляла нечто принципиально новое, так как содержала в себе в сжатой форме правительственную программу Алексея Михайловича и его канцлера Ордина-Нащокина: внутри царства Российского, таково пожелание Симеона, должен царить мир; государственные границы должны были в будущем расширяться; доступ к морю в конечном итоге непременно должен был быть получен [см.: Елеонская, с. 196–198].

Симеон Полоцкий произвел в том же 1667 г. совместно с ведущим русским иконописцем своего времени Симоном Ушаковым переворот в изобразительном искусстве. Была нарушена традиция древнерусского иконописания, делавшего ударение на религиозном символическом содержании. Теперь в центре внимания зачастую оказывались внецерковные фигуры и лица, изображавшиеся с анатомической точностью, что находило безоговорочную поддержку со стороны царя, заказавшего Ушакову в том же году совместно с одним нидерландским художником расписать Грановитую палату Московского кремля мотивами из греческой мифологии [Longworth, p. 187]. Обращение в духе Ренессан-

са к греческой и римской мифологии наложило свой отпечаток на другой большой строительный проект, начатый по приказанию царя в том же 1667 г. В селе Коломенском, служащем воротами Москвы, в основание здания дворца был заложен камень со словами Симеона Полоцкого «восьмое чудо света». При этом необычной была не столько внешняя форма со свойственной ей комбинацией традиционной резьбы по дереву и западных канонов каменного зодчества [Ильин, с. 193–195], сколько многочисленные внутренние помещения с богатой отделкой, украшенные вместо икон портретами тех же Юлия Цезаря, Александра Македонского и его противника Дария III [Billington, p. 149]. Необычным было и освещение нового дворца со множеством окон, световых отверстий в потолках и зеркал, а также наличием бань и даже детской комнаты наподобие большого зала, указывавшими на резкий отход от традиций древнерусского зодчества [Longworth, p. 187–189].

В противоположность реформаторской деятельности Ордина-Нащокина, носившей исключительно светский характер, Симеон Полоцкий вторгся в область интересов, которая была под контролем исключительно церковной власти. Причиной тому было ослабление монопольной власти Русской православной церкви в духовной жизни и культуре после раскола, произошедшего в 1667 г., на реформаторов и традиционалистов (староверов). Официальная церковь потеряла свою политическую автономию. Отныне жизнь православной церкви определяла светская власть. В этом смысле 1667-й означал для православной церкви России двойное поражение [Torke, HGR, 2/1, S. 209]. И то и другое – потеря власти и раскол – берут свое начало с патриаршества Никона (1652), который как приближенное лицо царя ставил его в известность о всех своих начинаниях по поводу реформ церковного устава и изменений текстов Священного Писания и литургий в сторону сближения их с греческим оригиналом, противопоставляя себя значительному числу оппозиционно настроенных верующих [Cherniavsky, p. 3]. Кроме того, можно предположить, что властный первосвященник не был чужд мысли укрепить свое положение при царе в роли соправителя, а значит, стать вторым лицом в государстве. Так, он лично называл себя Солнцем, дарящим Земле, т. е. царю, свет, ставя, таким образом, церковную власть выше светской, пользуясь современной ему картиной космоса, известной в Западной Европе. В 1658 г. произошел конфликт с Алексеем Михайловичем; в результате чего Никон ушел в знак протеста обратно в монастырь, не отказавшись при этом от патриаршества. Конфликт патриарха с царем, а также церковные реформы Никона были предметом разбора на Большом Московском соборе, проходившем с осени 1666 г. до лета следующего. Собор лишил Никона патриаршего сана и подверг ссылке, признав, однако, реформы последнего. Так как староверы по-прежнему продолжали свое сопротивление, собор отлучил протопопа Аввакума и лидеров раскольнического движения из его окружения от церкви. Роль обвинителя Аввакума на Соборе выпа-

ла Симеону Полоцкому, написавшему против раскольников в том же году полемический трактат в духе абсолютизма «Жезл правления».

Отлучение от церкви харизматичного Аввакума привело к открытому, отчасти вооруженному сопротивлению внутрицерковного антиреформистски настроенного оппозиционного лагеря по отношению к официальной церкви и государству. Не только крепко держась за старый порядок литургии, но и протестуя против греческого, латинского и западного влияний, примерно 500 монахов-раскольников Соловецкого монастыря в Белом море воспротивились в 1667 г. указаниям нового патриарха Иосафа и не повиновались приказам царя. В следующем году это перешло в открытое восстание, и лишь после почти десятилетней осады царские войска смогли сломить сопротивление восставших и взять бастион раскола.

Так же отчетливо, как и во внешней политике, на примере отношений между государством и церковью, между официальной церковью и диссидентами и между православием и светской культурой 1667-й год стал водоразделом, разделяющим время на «до» и «после», Московскую Русь и новую Россию. Можно с уверенностью сказать, что роль староверов в расколе и потере власти церковью несомненна. Неповиновение монахов Соловецкого монастыря было ответной реакцией на новые формы западного мышления и мировосприятия. Напротив, все не так однозначно в отношении причин разразившегося в 1667 г. и еще более опасного для интеграции страны восстания. Одновременно с кризисом на севере с начала года на юге страны потенциал социального недовольства вылился в угрожающие формы насилия. Здесь, в Диком поле, между сферами влияния царя и султана с его татарским вассалом в Крыму, на Дону селились казаки, жившие по своему уставу и несшие царскую службу по защите рубежей России. Население этого региона значительно выросло с середины столетия. Одной из причин этого было Соборное уложение 1649 г., имевшее свою юридическую силу вплоть до XIX в., одна из статей которого гласила, что почти 95 % подданных царя, а именно крестьян, теряло право смены господина, т. е. было окончательно закрепощено. Как следствие, сильно возросло число беглых – холопов и уездных крестьян, в том числе и на Дон, что привело к перенаселению региона, недостатку продовольствия и голоду. Напряженное положение еще более ухудшилось в 1666 г. после подписания перемирия в Андрусово, когда масса наемных солдат царской армии подалась на Дон. В начале 1667 г. предводитель казаков Степан Разин призвал казацкую голытьбу в поход «за зипунами» в низовья Волги, вплоть до персидского побережья Каспийского моря [см.: Torke, 1985, S. 314–315; Khodarkovsky, p. 1–19].

Этот поход не особенно отличался бы от других подобных походов, если бы не захват Астрахани и низовий Волги. Окрыленный успехом Разин решил продолжить грабительский поход с далеко идущими планами – поднять всеобщее крестьянское восстание, захватить Москву и власть в государстве. После первоначальных удач вой-

ско казаков в 20 тысяч сабель было разгромлено царскими войсками, Разин взят в плен и казнен. И хотя казацкий атаман имел очень приблизительную политическую программу, ему удалось создать реальную угрозу власти Алексея Михайловича не только в военном, но и в политическом плане. С одной стороны, казаки Степана Разина поддерживались и пополнялись раскольниками, с другой – последний поддерживал связи с монахами Соловецкого монастыря и даже пустил слух о присутствии в походе смещенного патриарха Никона. Также он утверждал, что его союзником является к тому времени уже почивший наследник престола Алексей Алексеевич, которому он готов помочь как «настоящему царю» взойти на престол вместо якобы ослепленного западным влиянием Алексея Михайловича. Эти утверждения мало отражали истинное положение дел, но играли широкую пропагандистскую роль.

Образ мышления Разина можно определить как традиционный, и связь его с реформатором церкви Никоном никоим образом здесь ничего не меняет. Поэтому движение восставших не было предвестником чего-то нового, напротив, оно было реакцией на нововведения и трансформационные процессы в России XVII в. Новый имперский тон со стороны Москвы после Андрусово, а также закрепощение крестьян послужили для казаков основными раздражающими факторами. Усиление института крепостничества резко противоречило тенденциям развития в других регионах континента. Но ни восстание Разина, ни другие протестные движения русских крестьян не привели к облегчению их участи. Нарастающее движение беглых крестьян на юг России не прекратило, а только еще более усугубило, выражаясь словами Виттрама, «государственное использование живой субстанции» на протяжении десятилетий и веков [Wittram, 1964, S. 52]. Только с середины XIX в., когда возникла реальная угроза статусу России как великой державы, была сделана попытка снять социальное напряжение посредством гражданских реформ и освобождения крестьян.

Берущие свое начало в 1667 г. бунтарские движения на севере и юге России в XVII в. не были чем-то необычным ни по своему размаху, ни по степени опасности; не случайно современники называли его «бунташным веком» [см.: Варенцов, Коваленко]. Необычной была одновременная вспышка двух очагов волнений, связанных между собой, что сулило новые угрозы внутреннему порядку.

На вопрос, является ли 1667-й год переломным, эпохальным или даже «прорывом в Новое время», положительно ответили историки от Соловьева до Барона, при этом отдавая предпочтение одному или нескольким аргументам политического, общественного, культурного, экономического и прочего характера.

Как мы попытались показать, количество уровней в государстве и обществе, подвергшихся трансформационным процессам, было большим, чем это предполагали названные авторы; кроме того, все эти процессы были в той или иной мере взаимосвязанными. В 1667 г.

различные линии развития не только пересеклись, но и тесно сплелись в один клубок проблем, так что этот год можно по праву считать переломным и особенным в процессе перехода в Новое время. Традиционные барьеры рухнули одновременно в нескольких областях: изоляция Украины и Киева, ее столицы и духовного центра, закончилась с расширением границ; одновременно с этим позиция Русской православной церкви стала уязвимой, а ее монополия на духовную жизнь, культуру и образование – ограниченной. Непримируемая позиция церкви и блокирование настроенных на реформы политиков, занявших ключевые государственные посты, не принесли ожидаемых результатов. Благодаря влиянию таких неординарных личностей, как Ордин-Нащокин и Симеон Полоцкий, изменился духовный климат при царском дворе, настрой части элиты и представителей формирующегося государственного бюрократического аппарата. Очевидным доказательством этого является пример царских детей и наследников Алексея Михайловича – Софьи, Федора и Петра, просвещенных по западным образцам. Уже В. О. Ключевский подчеркивал «значение московских государственных людей: они не только создали атмосферу, в которой вырос и которой дышал преобразователь, но и начертали программу его деятельности» [Ключевский, т. 3, с. 341]. С проникновением в узкий круг представителей власти западноевропейского образа мышления и с его утверждением процесс европеизации стал необратимым, а дух западничества неискоренимым.

Именно эта необычайная «скорость изменения» на нескольких уровнях одновременно вызвала как у современников, так и у более поздних наблюдателей «впечатление ускорения истории», которое Винфрид Шульце идентифицировал как основной признак эпохи Нового времени [Schulze, S. 20].

И все же остается открытым вопрос, насколько глубоким было проникновение европейского влияния и европеизация России. В социально-правовом контексте Восточная Европа, в отличие от «старой Европы», в которой развитие шло в сторону расширения прав и свобод личности, развивалась в диаметрально противоположном направлении. Поэтому воспользуемся распространенной метафорой для описания создавшейся ситуации в России 1667 г., когда «стакан европеизации» кажется нам наполовину полным, а стакан «старой России» – уже наполовину опорожненным. Именно эта одновременность неодновременного и побудила упомянутого московского пастора Грегори к написанию строк о том, что за все еще «нецивилизованным» фасадом России скрывалось в основном цивилизованное начало или, выражаясь его словами, «в варварской стране ничего варварского почти нет».

Андреев А. Новоторговый устав : к истории его составления // Исторические записки. 1941. № 13. С. 303–307. [Andreev A. Novotorgovyj ustav : K istorii ego sostavleniya // Istoricheskie zapiski. 1941. N 13. S. 303–307.]

Базилевич К. В. Новоторговый устав 1667 г. : к вопросу о его источниках // Изв. АН СССР, Отд-ние общественных наук. Сер. 7. 1932. С. 589–622. [Bazilevich K. V. Novotorgovyy ustav 1667 g. : K voprosu o ego istochnikakh // Izvestiya AN SSSR, Otd-nie obschestvennykh nauk. Ser. 7. 1932. S. 589–622.]

Варенцов В. А., Коваленко Г. М. Хроника «бунташного» века : очерки истории Новгорода XVII века. Новгород, 1991. [Varentsov V. A., Kovalenko G. M. Khronika «buntashnogo» veka : ocherki istorii Novgoroda XVII veka. Novgorod, 1991.]

Галактионов И. В., Чистякова Е. В. А. Л. Ордин-Нащокин, русский дипломат XVII века. М., 1960. [Galaktionov I. V., Chistyakova E. V. A. L. Ordin-Naschokin, russkij diplomat XVII veka. M., 1960.]

Демин А. С. Русская литература второй половины XVII – начала XVIII века. Новые художественные представления о мире, природе, человеке. М., 1977. [Demin A. S. Russkaya literatura vtoroj poloviny XVII – nachala XVIII veka. Novye khudozhestvennye predstavleniya o mire, prirode, cheloveke. M., 1977.]

Елеонская А. С. Стихотворство и драматургия. Творчество Симеона Полоцкого (1629–1680) // История русской литературы XVII – XVIII веков. М., 1969. С. 180–203. [Eleonskaya A. S. Stikhotvorstvo i dramaturgiya. Tvorchestvo Simeona Polotskogo (1629–1680) // Istoriya russkoj literatury XVII – XVIII vekov. M., 1969. S. 180–203.]

Зимин А. А. Россия на пороге Нового времени : (очерки политической истории России первой трети XVI века). М., 1972. [Zimin A. A. Rossiya na poroge Novogo vremeni : (ocherki politicheskoy istorii Rossii pervoj treti XVI veka). M., 1972.]

Ильин М. А. Архитектура // Очерки русской культуры XVII века. Ч. 2. М., 1979. С. 170–207. [Il'in M. A. Arkhitektura // Ocherki russkoj kul'tury XVII veka. Ch. 2. M., 1979. S. 170–207.]

Ключевский В. О. Курс русской истории // Собр. соч. : в 9 т. Т. 1., ч. 1. М., 1987. [Klyuchevskij V. O. Kurs russkoj istorii // Sobr. soch. : v 9 t. T. 1, ch. 1. M., 1987.]

Ключевский В. О. Курс русской истории // Собр. соч. : в 9 т. Т. 3, ч. 3. М., 1988. [Klyuchevskij V. O. Kurs russkoj istorii // Sobr. soch. : v 9 t. T. 3, ch. 3. M., 1988.]

Козинцева Р. И. Практика применения Новоторгового устава // Вопросы социально-экономической истории и источниковедения периода феодализма в России : сб. ст. к 70-летию А. А. Новосельского. М., 1961. С. 94–100. [Kozintseva R. I. Praktika primeneniya Novotorgovogo ustava // Voprosy sotsial'no-ekonomicheskoy istorii i istochnikovedeniya perioda feodalizma v Rossii : sb. st. k 70-letiyu A. A. Novosel'skogo. M., 1961. S. 94–100.]

Курсков Ю. В. Социально-экономические взгляды и государственная деятельность А. Л. Ордина-Нащокина (XVII век) : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Л., 1958. [Kurskov Yu. V. Sotsial'no-ekonomicheskie vzglyady i gosudarstvennaya deyatel'nost' A. L. Ordina-Naschokina (XVII vek) : avtoref. dis. ... kand. ist. nauk. L., 1958.]

Панченко А. М. Русская культура в канун Петровских реформ. Л., 1984. [Panchenko A. M. Russkaya kul'tura v kanun Petrovskikh reform. L., 1984.]

Платонов С. Ф. Москва и Запад. Берлин, 1926. [Platonov S. F. Moskva i Zapad. Berlin, 1926.]
Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в государственной коллегии иностранных дел. Ч. 4. Док. 56. М., 1828. С. 204–208. [Sobranie gosudarstvennykh gramot i dogovorov, khranyaushchikhsya v gosudarstvennoj kollegii inostrannykh del. Ch. 4. Dok. 56. M., 1828. S. 204–208.]

Соловьев С. М. Предисловие // Соловьев С. М. Соч. : [в 18 кн.]. Кн. 1 : История России с древнейших времен. Т. 1–2. М., 1991. [Solov'ev S. M. Prediclovie // Solov'ev S. M. Soch. : [v 18 kn.]. Kn. 1 : Istoriya Rossii s drevnejshix vremen. T. 1–2. M., 1991.]

Соловьев С. М. Продолжение царствования Алексея Михайловича // Соловьев С. М. Соч. Кн. 6, т. 11–12. М., 1991. [Solov'ev S. M. Prodolzhenie tsarstvovaniya Alekseya Mikhailovicha // Solov'ev S. M. Soch. Kn. 6, t. 11–12. M., 1991.]

Соловьев С. М. Россия перед эпохой преобразования // Соловьев С. М. Соч. Кн. 7 : История России с древнейших времен. Т. 13–14. М. 1991. [Solov'ev S. M. Rossiya pred epokhu preobrazovaniya // Solov'ev S. M. Soch. Kn. 7 : Istoriya Rossii s drevnejshix vremen. T. 13–14. M., 1991.]

Фейгина С. А. Первый русский канцлер А. Л. Ордин-Нащокин // Исторический журнал. 1941. № 5. С. 35–46. [Fejgina S. A. Pervyj russkij kantsler A. L. Ordin-Naschokin // Istoricheskij zhurnal. 1941. N 5. S. 35–46.]

Черепнин Л. В. Памятники русского права. Вып. 7 : Памятники права периода создания абсолютной монархии, вторая половина XVII в. М., 1963. [Cherepnin L. V. Pamyatniki russkogo prava. Vyp. 7 : Pamyatniki prava perioda sozdaniya absol'yutnoj monarkhii, vtoraya polovina XVII v. M., 1963.]

Чистякова Е. В. Новоторговый устав 1667 г. // Археографический ежегодник за 1957 год. М., 1958. С. 102–126. [Chistyakova E. V. Novotorgovyy ustav 1667 g. // Arkheograficheskij ezhegodnik za 1957 god. M., 1958. S. 102–126.]

Чистякова Е. В. Социально-экономические взгляды А. Л. Ордина-Нащокина (XVII век) // Сборник работ по истории. Воронеж, 1950. С. 3–57. (Тр. Воронеж. гос. ун-та; вып. 20). [Chistyakova E. V. Sotsial'no-zkonomicheskie vzglyady A. L. Ordina-Nashchokina (XVII vek) // Sbornik rabot po istorii. Voronezh, 1950. S. 3–57. (Tr. Boponezh. gos. un-ta; vip. 20).]

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона Т. 22. СПб., 1897. С. 123–124. [Entsiklopedicheskij slovar' Brokgauza i Efrona. T. 22. SPb., 1897. S. 123–124.]

Bagrow L. A History of Russian Cartography up to 1800. Ontario, 1975.

Baron S. H. A. L. Ordin-Nashchokin and the Orel Affair. Explorations in Muscovite History, (Variorum Reprints), Hampshire, 1991. P. 1–22.

Bayer E. Wörterbuch zur Geschichte. Begriffe und Fachausdrücke, Stuttgart, 1980.

Billington J. H. The Icon and the Axe. An Interpretative History of Russian Culture. N. Y., 1966.

Brown W. E. A History of Seventeenth-Century Russian Literature. Ann Arbor (MI), 1980.

Bushkovitch P. Religion and Society in Russia // The Sixteenth and Seventeenth Centuries. N. Y.; Oxford, 1992. P. 176–178.

Bödeker H. E., Hinrichs E. Alteuropa – Frühe Neuzeit – Moderne Welt? Perspektiven der Forschung // Alteuropa – Ancien Régime – Frühe Neuzeit. Probleme und Methoden der Forschung (problemata, 124). Stuttgart, 1991. S. 11–50.

Burkhardt J. Frühe Neuzeit 16 – 18. Jahrhundert. Grundkurs Geschichte 3. (Athenäum Taschenbücher, 7249). Königstein, 1985.

Cherniavsky M. The Old Believers and the New Religion // Slavic Review. 1966. 25. P. 1–39.

Crummey R. O. Aristocrats and Servitors. The Boyar Elite in Russia 1613–1689. Princeton, 1983.

Donnert E. Rußland an der Schwelle der Neuzeit. Der Moskauer Staat im 16. Jahrhundert. Berlin (Ost), 1972.

Duchhardt H. Das Zeitalter des Absolutismus. München, 1989. (Oldenbourg Grundriß der Geschichte; 11).

Epstein F. T. Die Hof- und Zentralverwaltung im Moskauer Staat und die Bedeutung von G. K. Kotošichins zeitgenössischem Werk „Über Rußland unter der Herrschaft des Zaren Aleksej Michajlovic“ für die russische Verwaltungsgeschichte Hg. G. Specovius. Hamburg, 1978.

Fahlborg B. Sveriges yttre politik. 1668–1672. Bd. 1. Srockholm, 1961.

Harder-Gersdorff E. Rußlands Wirtschaft und der Westen in der Frühen Neuzeit ein Lehrstück? // Was ist Gesellschaftsgeschichte? : Positionen, Themen, Analysen. München, 1991. S. 91–101.

Heller K. Russische Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Bd. 1: Die Kiever und die Moskauer Periode (9. – 17. Jahrhundert). Darmstadt, 1987.

Hellmann M. Zum Problem der Geschichte Rußlands im Mittelalter // Handbuch der Geschichte Rußlands. Bd. 1 : Bis 1613. Von der Kiever Reichsbildung bis zum Moskauer Zartum. Hbd. 1. (HGR.1/1). Stuttgart, 1976 – 1981. P. 1–7.

Hoffmann P. Zeitrechnung und Kalender in der Geschichte Rußlands und der UdSSR // Jahrbuch für Geschichte der sozialistischen Länder Europas, 1986. 30. S. 235–240.

Hueck M. „Der wilde Moskowit“. Zum Bild Rußlands und der Russen in der deutschen Literatur des 17. Jahrhunderts / überblick. M. Keller (Hg.); mitarb. v U. Dettbarn und K.-H. Korn // Russen und Rußland aus deutscher Sicht, 9. – 17. Jahrhundert. München, 1985. S. 289–340.

Kämpfer F. Rußland an der Schwelle zur Neuzeit. Kunst, Ideologie und historisches Bewußtsein unter Ivan Groznyj // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas (JGO). 1975. 23. S. 504–524.

Khodarkovsky M. The Stepan Razin Uprising: Was It a „Peasant War“ // JGO. 1994. 42. S. 1–19.

Nitsche P. „Nicht an die Griechen glaube ich, sondern an Christus“. Russen und Griechen im Selbstverständnis des Moskauer Staates an der Schwelle zur Neuzeit. Düsseldorf, 1991. (Studia humaniora. Series minor; 4).

Kämpfer F., Stökl G. Rußland an der Schwelle der Neuzeit. Das Moskauer Zentrum unter Zar Ivan IV. Groznyj // HGR. 1/2. S. 853–960.

Klug E. Das „asiatische“ Rußland. Über die Entstehung eines europäischen Vorurteils //

Historische Zeitschrift. 1987. 245. S. 265–289.

Klug E. „Europa“ und „europäisch“ im russischen Denken vom 16. bis zum frühen 19. Jahrhundert // Saeculum, 1987. 38. S. 193–224.

Kotošixin G. O Rossii v carstvovanie Alekseja Mixajloviča. Text and Commentary / ed. A. E. Pennington. Oxford, 1980.

Kunisch J. Über den Epochencharakter der frühen Neuzeit // E. Jäckel, E. Weymar (Hrsg.) // Die Funktion der Geschichte in unserer Zeit. Karl Dietrich Erdmann zum 29. April. Stuttgart, 1975. S. 150–161.

Longworth Ph. Alexis – Tsar of All the Russians. N. Y., 1984.

Luhmann N. Das Problem der Epochenbildung und die Evolutionstheorie. // Epochen-schwellen und Epochenstrukturen im Diskurs der Literatur- und Sprachtheorie. Frankfurt a/M., 1985. S. 25–26.

Mieck I. Periodisierung und Terminologie der Frühen Neuzeit. Zur Diskussion der beiden letzten Jahrzehnte // Geschichte in Wissenschaft und Unterricht. 1968. 19. S. 357–373.

O'Brien C. B. Early Political Consciousness in Muscovy: The Views of Juraj Križanić and Afanasij Ordin-Nashchokin. Juraj Križanić (1618–1683): Russophile and Ecumenic Visionary. A Symposium. Ed. Th. Eekman, A. Kadić. Den Haag ; Paris, 1976. P. 209–222.

O'Brien C. B. Muscovy and the Ukraine. From the Pereiaslavl Agreement to the Truce of Andrusovo, 1654–1667. Los Angeles, 1963. (University of California Publications in History; 74).

O'Brien C. B. Russia and Eastern Europe: The Views of A.L. Ordin-Nashchokin // JGO. 1969. 17. P. 369–379.

Philipp W. Altrußland bis zum Ende des 16. Jahrhunderts // Forschungen zur osteuropäischen Geschichte. 1983. 33. S. 19–61.

Philipp W. Entwurf einer religionsbezogenen Epochengliederung der russischen Geschichte // Forschungen zur osteuropäischen Geschichte. 1983. 33. S. 9–18.

Rauch G. V. Pastor J. G. Gregorii und Rußland. Ein vergessenes Gedicht vom Jahre 1667. Archivalische Fundstücke zu den russisch-deutschen Beziehungen. Erik Amburger zum 65. Geburtstag. Berlin, 1973. S. 1–5.

Scheidegger G. Perverbes Abendland – barbarisches Russland. Begegnungen des 16. und 17. Jahrhunderts im Schatten kultureller Missverständnisse. Zürich, 1993.

Schulze W. Einführung in die Neuere Geschichte 2. verb. Aufl. (UTB, 1422). Stuttgart, 1991.

Skalweit St. Der Beginn der Neuzeit. Epochengrenze und Epochenbegriff. Darmstadt, 1982.

Torke H.-J. Aleksej Michajlovič 1645 – 1676 // Die russischen Zaren. München, 1995. S. 108–127.

Torke H.-J. Altes Moskau und neues Rußland unter Aleksej Michajlovič nach 1649 // Handbuch der Geschichte Rußlands. Bd. 2, Hbd. 1/ (HGR. 2/1). S. 97–122.

Torke H.-J. Autokratie und Absolutismus in Rußland – Begriffsklärung und Periodisierung // Geschichte Rußlands in der Begriffswelt ihrer Quellen. Festschrift zum 70. Geburtstag von Günther Stökl. Stuttgart, 1986. S. 32–49. (Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa ; 26).

Torke H.-J. Der Durchbruch der Neuzeit unter Fedor und Sofja (1676–1689) // Handbuch der Geschichte Rußlands. Bd. 2 : 1613–1856. Vom Randstaat zur Hegemonialmacht, Hbd. 1. (HGR 2/1). Stuttgart, 1981–1986. S. 152–182.

Torke H.-J. Die staatsbedingte Gesellschaft im Moskauer Reich. Zar und Zemlja in der altrussischen Herrschaftsverfassung 1613–1689. Leiden, 1974. (Studien zur Geschichte Osteuropas ; 17).

Torke H.-J. Staat und Gesellschaft in Rußland im 17. Jahrhundert als Problem der europäischen Geschichte // HGR. 2/1. S. 200–212.

Torke H.-J. Zum Epochencharakter des 17. Jahrhunderts in der Geschichte Rußlands: 1. Die innere Lage // HGR. 2/1. S. 10–13.

Torke H.-J., K. Zernack. Forschungstendenzen // HGR. 2/1. S. 24–36.

Torke H.-J. Razin-Aufstand // Lexikon der Geschichte Rußlands. München, 1985. S. 314–315.

Torke H.-J. The Unloved Alliance : Political Relations between Muscovy and Ukraine in the Seventeenth Century. Ukraine and Russia in Their Historical Encounter / ed. P. J. Potichnyj [et al.]. Edmonton, 1992. S. 39–66.

Troebst St. Isfahan-Moskau-Amsterdam : zur Entstehungsgeschichte des moskauischen Transitprivilegs für die Armenische Handelskompanie in Persien (1666–1676) // JGO. 1993. 41. S. 180–209.

Uroff B. Grigorii Karpovich Kotoshikhin, On Russia in the Reign of Alexis Mikhailovich: An Annotated Translation : Ph. D. Thesis / Columbia University. N. Y., 1970.

Walder E. Zur Geschichte und Problematik des Epochenbegriffs „Neuzeit“ und zum Problem der Periodisierung der europäischen Geschichte. Festgabe Hans von Greyerz zum sechzigsten Geburtstag 5. April. Bern, 1967. S. 21–47.

Weickhardt G. D. Kotoshikhin: An Evaluation and Interpretation // Russian History. 1990. 17. S. 127–154.

Welke M. Deutsche Zeitungsberichte über den Moskauer Staat im 17. Jahrhundert // Russen und Rußland aus deutscher Sicht. S. 264–286.

Wittram R. Peter I. – Czar und Kaiser. Zur Geschichte Peters des Großen in seiner Zeit. Bd. 1. Göttingen, 1964.

Wittram R. Peter der Große. Der Eintritt Rußlands in die Neuzeit. Verständliche Wissenschaft, 52. Berlin ; Göttingen ; Heidelberg, 1954.

Wójcik Z. Traktat andruszowski 1667 roku i jego geneza. Warszawa, 1959.

Wójcik Z. Między traktatem andruszowskim a wojną turecką. Stosunki polsko-rosyjskie 1667–1672. Warszawa, 1968.

Zernack K. Zum Problem der Geschichte Rußlands in der Frühen Neuzeit // HGR. 2/1. S. 1–7.

Zernack K. Polen und Rußland // Zwei Wege in der europäischen Geschichte. (Propyläen Geschichte Europas. Ergänzungsband). Berlin, 1994.

Zernack K. Die Expansion des Moskauer Reichs nach Westen, Süden und Osten von 1648 bis 1689 // HGR. 2/1. S. 122–152.

Статья посвящена проблеме периодизации, а именно переходу от старомосковского царства к Российской империи Нового времени. Автор задается вопросом, что отличает эпохальные события и даты от иных, таковыми не являющихся, и приводит ряд фактов – Андрусовское перемирие, реформы А. Л. Ордина-Нащокина в экономической и политической жизни, новации Симеона Полоцкого в литературе и изобразительном искусстве, раскол Русской православной церкви, восстание Степана Разина, – чтобы показать, что на этот (1667) год приходится сплетение факторов политического, общественного, культурного, экономического и иного характера, свидетельствующих о начале качественно нового отрезка в русской истории.

Ключевые слова: 1667 год; Московское централизованное государство; Андрусовское перемирие; раскол; реформы А. Л. Ордина-Нащокина; новации Симеона Полоцкого; восстание Степана Разина.

Stephan Troebst (Штефан Трёбст), prof.

Germany, Leipzig

Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur

Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig

troebst@uni-leipzig.de

POLITICAL STRUGGLE IN RUSSIA IN THE SUMMER OF 1645 AND OATH OF ALLEGIANCE REGISTRIES

The paper is devoted to the political struggle in the upper social circles of Russia in the summer of 1645 following the death of Czar Mikhail and the coronation of his son – Alexei Mikhailovich. The author shows the contradictions that arose during the period in aristocratic circles, which are reflected in the oath of allegiance registries (*krestoprivodniye* (kissing of the cross or being led to the cross) *zapisi*) used when the population of towns swore their allegiance to the new czar in July-August 1645. The author concludes that the summer 1645 political struggle in Russia did not take on a wide scope because the opponents of boyar B. I. Morozov, who had come to power, hoped to achieve a quick victory or at least a compromise. All this is reflected in the registries, made when the oath of allegiance to the new czar was given. However, several years later, on realizing that no success had been achieved, the opposition began to use more wide-ranging methods of struggle that led to the uprising of the populace in 1648.

Keywords: oath of allegiance registries; oath; czar Alexei Mikhailovich; B.I. Morozov.

In spite of the fact that Czar Mikhail Fedorovich had been ill for some time, his death came as a surprise to Russian society, especially in the provinces where information about the czar's health took a while to reach them. In the last years of Mikhail's reign Russia entered a difficult economic time. Various groups within the population exerted pressure on the government, demanding privileges, reformation of the tax system and unification of land legislation. Social tensions escalated, especially in connection with the struggle between the landlords and the so-called “strong people”, the great landowners [Смирнов, с. 50–60]. It was under these conditions that Alexei Mikhailovich became czar, the first czar of a new dynasty, who inherited the throne by right of birth. Moreover, for many years, rumors were spread in the country that Prince Alexei was not Mikhail's son and that the legitimate heir was in hiding [Бахрушин, с. 87–118].

In the previous papers I argued how political strife developed between 1647–1650 in the provinces and in the upper court circles [Ляпин, 2010, с. 15–28]. This paper demonstrates how the conflicts among the ruling elite began to form in 1645. Although not obvious at the time, the subsequent upheavals that happened in Russia occurred as a direct result of the 1645 events.

Even before Mikhail Fedorovich died, the aristocracy struggled for power, primarily because the heir to the throne was very young. For most of the ruling elite it was clear that power would pass into the hands of Alexei's teacher and close friend, boyar Boris Ivanovich Morozov. Quite a number of influential people were dissatisfied with Morozov's power (Ya. K. Cherkassky, I. N. Romanov, N. I. Romanov, the Sheremetevs, and others). For this reason they worded their own version of the oath of allegiance registry, in which the name of Czarina Eudoxia Lukyanovna was put first [Андреев, с. 60]. They hoped that a system of regency would be installed, which included guardianship, making it possible to ease B. I. Morozov from power. But a second version of the oath of allegiance registry was drafted and pronounced the official one; in it the name of the czarina was placed after Alexei's name, a fact which made the czar an autocratic ruler.

However, Eudoxia Lukyanovna's name was placed also in the second version of the oath of allegiance registry. This can be explained by the fact that the czarina was very popular with the people, demonstrated in her biography. First, she was chosen in 1626 by Czar Mikhail Fedorovich from many other young girls for her beauty and "gentle disposition". Secondly, the czarina became the founder of a number of religious institutions. She assisted the poor and the church, and with her help, St. George's Monastery in Meschovsk (Kaluga region) was restored [Шепякова]. Finally, by 1645 it was important to show that the country was ruled by a legitimate royal dynasty, not by a group of influential boyars, the great landowners. This is why the name of the czarina was placed next to the name of the new czar. Yet in reality, it is highly improbable that Eudoxia Lukyanovna played any great role in the political life of the court or the country, in part because she died a sudden death on August 18, 1645.

As a result of the political strife among the upper circles after Mikhail's death, undisclosed persons were appointed to go to Russian towns. Their task was to make the local population swear allegiance ("to lead them to the cross"). Importantly, local town *voevodas* were not allowed to do it by themselves. The voevoda was considered a military commander, and for that reason was seen as a military unit of an *uezd* town (chief town of a district). There are exceptions, however; in Mtsensk, for example, the rules of swearing the oath of allegiance were broken, and the local voevoda, V. Sheremetev, led the people to the cross to swear allegiance on his own. *Stolnik* (rank below that of boyar) I. Lykov, who had come to Mtsensk especially with this aim, expressed his disapproval, but the awkward situation was settled quickly. Why was it that V. Sheremetev was in such a hurry to show his independence without waiting for an envoy from the capital to come? Most probably, the relative of an influential boyar, Fedor Ivanovich Sheremetev, encouraged V. Sheremetev's actions to show his independence and his desire to fight the power seized by aristocrats, in opposition to B. I. Morozov.

The means by which the people took the oath of allegiance to Czar Alexei Mikhailovich in the summer of 1645 is reflected in the oath of allegiance registries. In spite of the fact that this type of document contains valuable

and interesting information [Кошелева, с. 155–157], it has been seldom cited in recent research. The oath of allegiance registries were drafted in all towns of Russia between July–August 1645. The main aim of these registries was to make the whole population of the towns and the *uezds* (districts) swear allegiance (to be performed by kissing the cross) to the new czar.

The population of Moscow was the first to swear allegiance to Alexei Mikhailovich. The boyar, A.N. Trubetskoy, was sent to the regiments in Tula who at that time were waiting for an attack from the Crimean Tatars, one of many typical for the time [Андреев, с. 63]. Interestingly, the regiments were headed by the boyar, Yakov Kudenetovich Cherkassky, an opponent of B. I. Morozov. Cherkassky was sent to Tula, away from the capital, where the struggle to exert influence on the young czar was in full swing. Envoy Alexei Nikitich Trubetskoy was not a random choice either: he was the only heir of the Trubetskoys and a nephew of the famed hero of the *Smuta* (the Time of Troubles), Dmitry Timofeyevich Trubetskoy, who laid claim to the Russian throne in 1613.

Such were the circumstances in July 1645 when the oath of allegiance to Alexei Mikhailovich was taken. The procedure of swearing in (kissing the cross) was practically the same in all towns; as such the process in the town of Yelets will serve as a good example [РГАДА, ф. 210, оп. 7а, д. 98, л. 95–151]. The ritual of kissing the cross occurred in the cathedral of the town where all the male population was gathered. The oath itself depended upon the rank and title of the person pronouncing it.

A special order was issued that the representatives of Moscow's aristocracy were to be sent to different towns. This served to demonstrate that succession to the throne could only be by right of inheritance. However, according to official documentation, the act of being sworn in was "the czar's great *zemskoye delo* (a matter for local government in rural districts in which the nobility prevailed)" [Ibid., л. 95]. The message sent to the towns, which were the first to register the oath of allegiance, stressed that the oath was not only for the ruling class. The message also emphasized that the new czar had been elected not because some people merely wanted it to be that way. Instead, the accession of the new czar was a matter for the whole population, the business of the *zemstvo* (government in rural districts), because in 1613, his father, the founder of the ruling dynasty, was elected by the *sobor* (meeting), i.e. "the whole land". This tradition continued in 1645, as the populace was again called upon with the new Zemstvo and charged to install the son of the first Romanov czar to the throne.

The official idea of the role of the "zemskoye delo" in the oath of allegiance to the czar was so powerful that G.K. Kotoshikhin, in his writings about Russia for the ruling elite of Sweden, stated that Alexei Mikhailovich was crowned by the representatives of all ranks and groups, i.e. "the whole land" [Котошихин, с. 14]. On this basis, several historians have supposed that the czar was elected at the *Zemskiy sobor* (a meeting of the local government in a rural district) [Андреев, с. 61]. However, evidence does not support the existence of elections within town meetings. Nevertheless,

G. K. Kotoshikhin's work emphasizes the importance of the "zemskoye delo" as a basis for taking the oath of allegiance (by kissing the cross) to the new czar.

The oath of allegiance registry provides instructions as to how the swearing of allegiance was to take place. It states in what order the population of the town was to be led "to the cross": first the voevoda, the *starosta* (village elder), the *streltsi* (the military) and the Cossacks, and the *sotniks* (commander of a unit hundred), the boyar children, the land-owning *esauls* (Cossack rank) and Cossacks, and the *streltsi*, and the Cossacks, and all kinds of people in service and finally the local people, according to the lists [РГАДА, ф. 210, оп. 7а, д. 98, л. 95–96 об.]. For the oath of allegiance the town voevoda prepared the lists of all the male population of the town, and the procedure was to take place in accordance with these lists.

It often happened that the voevoda's children, those that were at least 15 years of age, were in town with him. In such cases the voevoda came to kiss the cross together with his sons. Then, if Muscovite noblemen, tradesmen, citizens of other towns happened to be in town on that day, they were also taken to swear allegiance, being included in the first (i.e. most important) list. The list of those who had taken the oath of allegiance was to be as complete as possible, which was the main aim. Indeed, those who had not taken the oath could be accused of treason.

The clerics who "held the cross" occupied a very important place in the ritual of kissing the cross. Great attention was paid to the ceremony, how the ritual was carried out. Usually, all the Fathers Superior of the local monasteries and the cathedral priests were "with a cross".

The uезд nobility, the basis of the army, performed an important role. Their names were placed in a separate list. This list was divided into groups depending on the *stan* (administrative and police sector of the uезд) where the nobleman resided and the tax levied upon him. The landowners who paid the biggest tax came first. This principle was connected with the czar's property. That is, the landowners owned land which belonged to the czar, so the landowners would be the first "to fulfill obligations" concerning the czar's affairs.

At the end of the cross-kissing registry there was a very detailed list of persons who were supposed to take the oath but did not appear at the ceremony. If known, the reason for their absence was always given. In most cases, it was because they were away on business (*sluzhiloye* part of the population – state or military officials), or trading at fairs for the *posadskiye* (deputies of the prince) [РГАДА, ф. 210, оп. 7а, д. 98, л. 150–151].

Thus the oath of allegiance registries reflect the character and composition of the country after Mikhail Fedorovich's death. These registries reinforce official policy in the capital, which was aimed to instate the new czar as the rightful successor to the throne. Nevertheless, the procedure of his election was understood as "zemskoye delo", i.e. a common affair. Indeed, in the 17th c. the zemstvo was usually associated with elections: "zemskoye delo" included the election of *starosta* (village elder) in the free settlements (*sloboda*), tax collectors, heads of inns and customs, elders in towns and uyezds. Alexei Mikhailovich became czar by right of succession and was also

declared czar through the perceived right by election. The contradiction here is only a seeming one, because in July 1645 the throne was assumed by the legitimate son of an elected czar, and the oath to him was understood as “zemskoye delo”.

The “kissing of the cross” was closely watched by the state because the political and social conditions were far from stable. For this reason, the swearing in was scheduled to take place in Moscow within one or two months. This urgency can be explained by the struggle between B. I. Morozov's group and his opponents. B. I. Morozov, new in power, sought to crown the young prince as quickly as possible and make the population take an oath of allegiance. This way, the opposition, even if it had wanted to, would not have had time to take the struggle out of the Kremlin and into the streets of Moscow, and from Moscow, into the provincial towns.

The oath of allegiance registries demonstrate that the oath of allegiance to the new czar took place without incident in the towns. The real struggle, however, took place in the capital, in the highest aristocratic circles. B. I. Morozov feared that the opposition might use popular unrest to further its own political interests, but that did not come about. The political struggle was carried on only within the walls of the Kremlin.

Although B.I. Morozov's group triumphed, it was clear already in August 1645 that consensus had not been reached in the upper echelons of power, and the struggle became more apparent. Possibly in July 1645, Cherkassky, the Romanovs and the Sheremetevs still thought that they could come to a peaceful agreement with B. I. Morozov, and if not, then they could easily cause him to fall from favour through court intrigues. That is why the kissing of the cross was performed without incident, though somewhat in a hurried fashion. By August 1645, however, B. I. Morozov had seized control, and the opposition required more serious measures, such as turning popular unrest into open rebellion.

What B. I. Morozov was afraid of in July-August 1645 happened in July 1648 [Ляпин, 2011, с. 207–217].

Акты Московского государства. СПб., 1892. Т. 2, № 246. С. 154. [Akty Moskovskogo gosudarstva. SPb., 1892. T. 2, N 246. S. 154.]

Андреев И. Л. Алексей Михайлович. М., 2006. [Andreev I. L. Aleksej Mikhajlovich. M., 2006.]

Бахрушин С. В. Политические толки в царствование Михаила Федоровича // Бахрушин С. В. Труды по источниковедению, историографии и истории России эпохи феодализма (научное наследие). М., 1987. С. 87–118. [Bakhrushin S. V. Politicheskie tolki v tsarstvovanie Mikhaila Fedorovicha // Bakhrushin S. V. Trudy po istochnikovedeniyu, istoriografii i istorii Rossii epokhi feodalizma (nauchnoe nasledie). M., 1987. S. 87–118.]

Смирнов П. П. Челобитные дворян и детей боярских всех городов в первой половине XVII в. // ЧОИДР. 1915. № 3. С. 50–60. [Smirnov P. P. Chelobitnye dvoryan i detej boyarskikh vseh gorodov v pervoj polovine XVII v. // CHOIDR. 1915. № 3. S. 50–60.]

Ляпин Д. А. Социальный состав участников волнений в городах России в середине XVII в. // Русистика Руслана Скрынникова : сборник статей памяти профессора Р. Г. Скрынникова, в честь его 80-летия / под ред. Д. Свалка и И. О. Тюменцева. Budapest ; Volgograd, 2011. С. 207–215. [Lyapin D. A. Sotsial'nyj sostav uchastnikov volnenij v gorodakh Rossii v seredine XVII v. // Rusistika Ruslana Skrynnikova : sbornik statej

pamyati professora R.G. Skrynnikova, v chest' ego 80-letiya / pod red. D. Svalka i I.O. Tyumentseva. Budapesht ; Volgograd, 2011. S. 207–215.]

Ляпин Д. А. Народные волнения в России в середине XVII в. // Вопросы истории. 2010. № 4. С. 15–28. [Lyapin D. A. Narodnye volneniya v Rossii v seredine XVII v. // Voprosy istorii. 2010. N 4. S. 15–28.]

Котошихин Г. К. О России в царствие Алексея Михайловича. СПб., 1859. [Kotoshikhin G. K. O Rossii v tsarstvie Alekseye Mikhailovicha. SPb., 1859.]

Кошелева О. Е. Лето 1645 года: смена лиц на российском престоле // Казус 1999. Индивидуальное и уникальное в истории. М., 1999. С. 155–157. [Kosheleva O. E. Leto 1645 goda: smena lits na rossijskom prestole. Kazus 1999. Individual'noe i unikal'noe v istorii. M., 1999. S. 155–157.]

РГАДА. Ф. 210 (Разрядный приказ). [RGADA. F. 210 (Razryadnyj prikaz)].

Шербакова О. История Казанского храма в Узком : очерки. М., 2000. [Scherbakova O. Istoriya Kazanskogo khrama v Uzkom : ocherki. M., 2000.]

Статья посвящена политической борьбе в высших кругах России летом 1645 г., связанной со смертью царя Михаила и коронацией его сына Алексея Михайловича. Автор показывает противоречия, сложившиеся в это время в аристократических кругах, которые нашли отражение в крестоприводных записях, использовавшихся для приведения к присяге новому государю населения городов в июле – августе 1645 г. В конце статьи делаются выводы о том, что политическая борьба в России летом 1645 г. не приняла широкий размах, поскольку противники пришедшего к власти боярина Б. И. Морозова надеялись на скорую победу или компромисс. Это нашло отражение в крестоприводных записях. Однако через несколько лет, так и не добившись успеха, оппозиция стала использовать более широкие методы борьбы, связанные с народными волнениями 1648 г.

Ключевые слова: крестоприводные записи; присяга; царь Алексей Михайлович; Б. И. Морозов.

Denis Liapin (Денис Александрович Ляпин), dr.

Russia, Yeletsk

Yeletsk State University

denis-l@mail.ru

FORMATION OF THE 17th CENTURY INTELLECTUAL ELITE AND THE WORKS OF PROKHOR KOLOMNIATIN*

This paper is devoted to the phenomenon of the intellectual elite emerging in Russian literature in the 17th century. The image of Prokhor Kolomnyatin, a charismatic figure of the time in question, a man of literature and enlightenment, enables the author to see how this class took shape in Russian society. With reference to little-known manuscripts belonging to the literary legacy of the poet, the article demonstrates Prokhor's understanding of the role of a teacher and poet, and analyzes the perception and evaluation of his creative work within a sociocultural context. Additionally, the author identifies the main characteristics of baroque esthetics, concluding that the intellectual elite failed to fully develop further due to Peter the Great's reforms.

Keywords: Prokhor Kolomnyatin; 17th century Russian literature; Russia's intellectual elite; syllabic verses.

The notion of an intellectual elite did not exist in medieval Russia. Terms like "high rank" and "honor" were used to denote elite status in society, and these terms were based on factors connected with high birth, rank and social position in the state and in the church. That is why one of the elite groups was "noble" and "of high birth", and the other "ecclesiastical" and "pious". The latter included holy men or anchorites, including Sergei Radonezhsky, Stefan Permsky, Nil Sorsky, Maxim Grek, Dimitry Rostovsky and many others. These men were often called the Teachers. Their education was considered to be of little importance in comparison with their righteousness and piety. For instance, St. Dimitry Rostovsky (1651–1709) wrote about "outer" and "inner" learning:

Of double nature is man: of the outer self and the inner self, of flesh and blood and of spirit. The outer self of flesh and blood is seen, the inner self, the spiritual one, is not seen <...> the inner self is composed of many things: mind, attention to oneself, when fear of God and belief in Him makes one perfect. The outer self factors are seen, the inner self ones are unknown to us... Of double nature is education then: outer and inner. The outer one is in books, the inner one is in thoughts about God. The outer one is in philosophy, the inner one is in love to God. The outer one is in speech, the inner one is in prayer. The outer

* The work is supported by grant RHF 11-06-00277a.

one is in wit, the inner one is in good will of the spirit. The outer one is in art and handicrafts, the inner one is in thoughts. The outer one exposes the mind, the inner one humbles it. The outer one is full of curiosity, though it already has abundance of knowledge, the inner one is concentrated on self and wants to know only of God [БАН, д. 218, л. 35 об.–36 об.].

The inner self of man's nature is contrasted to the outer self where the former takes the upper hand.

The intellectual elite could not form until the intellect itself came to be highly valued in society. And up to a certain period, spirituality was privileged over intellectuality. The image of the intellectual sitting in his study at home with books and rarities all around him, reading Voltaire in the original, seems to have started to take shape only by the mid-18th century. But the process of forming the intellectual elite in Russia was already long in the making, and arguably began in Russia in the 17th century with the arrival of the Baroque [see: Развитие барокко ...; Человек в культуре...]. The Baroque manifested itself in new literary genres, in syllabic verses, orations, plays, panegyrics, epistles, epitaphs, sermons and letters in poetic form. Some authors mastered the art of writing such texts¹ and others desired to do so. Apart from techniques and specific knowledge, proximity to wisdom and even to philosophy was required. One had to know of rhetoric and poetics to compose verses. To justify arguments, one had to know history: also, examples were taken from history to perfect prosody [Панченко, с. 185].

The monks were the first to become adherents of the Baroque, and among them appeared a small group of syllabic poets, men of book learning [Ibid., с. 150–160; Киселёва с. 71–98]. Interest in the composition of verses and in Western writings (mainly from Kiev and Poland) spread among the upper ranks of Muscovite *Prikaz* (sector of government) officials. "In the cultural context of Moscow of the last quarter of the 17th century," A. M. Panchenko wrote, "awareness of exclusive impeccability' (of the syllabic scribes) expressed itself in the concept of humanitarian elitism, which naturally came to be connected with scorn towards the uneducated 'simpletons'" [Панченко, с. 185].

Within this context, Prokhor Kolomnyatin worked within the Orthodox enlightenment, contributing to "a new language of culture"¹. He was not a well-known figure in comparison with the leading poets of 17th century literature. Prokhor Kolomnyatin's name is largely forgotten today. It has not even been included in the most authoritative compendium of ancient Russian authors "Dictionary of Ancient Russian Readings and Men of Learning" ("Словарь книжности и книжников Древней Руси"). By recovering his works, we refine our understanding of how "intellectualism" and "elitism" formed in the 17th century.

¹ For example, Simeon Polotsky, Karion Istomin, Silvester Medvedev, Epiphany Slavinetsky, Evfimiy Chudovsky, Ignaty Rimsky-Korsakov, Afanasy Kholmogorsky, Dmitry Ros-tovsky, Nikolai Spafary, Savvatei, Mordary Khonikov, Diomid Serkov, and many others.

Prokhor considered himself to be part of the intellectual elite of his time, one who wrote the works of the Enlightenment. In the 1680s he compiled two voluminous, handwritten collections of works [Мордовцев; Петров; Буш], from which most of his biographical data may be drawn. His second name (or nickname), *Kolomnyatin*, means that he was from Kolomna. Prokhor started drafting his collection called “The ABC Book for Schools” (“Школьные Азбуковники”) in the reign of Fyodor Alekseyevich in the monastery of Marchugi [Петров, с. 98] which belonged to the Solovetsk cloister and was located on the banks of the Moskva River (now, village of Faustovo). He was a monk in the order of the so-called “black priest” (“черный поп”). In the 1670s–1680s great stone churches were constructed in Marchugi. Prokhor must have witnessed this, possibly even participated in it. From Marchugi, he moved—whether by his own volition is unknown — to the Volga River, to the Ipatiev Monastery in Kostroma. There in 1682, he finished his collection of works. Because in his collection, there are several instances of the theme of a man in exile, he may have been hinting that he had limited freedom there. In 1684–1685 he styles himself “a hieromonk” and compiles a second collection of works for cellarer Feodosy on how to compose epistles in poetic form [about him, see: Кошелева 2011]. There is insufficient information of Prokhor’s later years². Both collections were written by Prokhor upon the request of his acquaintances. The first collection was called, “The ABC Book for Schools” to distinguish it from the others. It appeared as a result of “A Letter Written by Applicants” (“Послание просительного”), which was written in poetic form by “a children’s teacher,” Serkov Diomid Yakovlev [about him, see: Семячко с. 613–622]. He asked Prokhor to pass on his “good knowledge” to those who wanted to go to school and to write for them about “how to behave in school” (i.e. regarding school rules), both of which were communicated only orally earlier (for text of the “Letter...”, see: [Демин, с. 433–439]). “A Letter Written by Applicants” suggests that at some time or other, correspondents had close contact with each other and discussed their problems. Now that they were separated from each other, the “applicants” wanted to receive a written text from Prokhor, who to all appearances, was the oldest and most educated of them. Prokhor wrote to Diomid that he had fulfilled his request [Ibid.]. Apart from a dialogue written by him in poetic form, “School Rules” (“Школьное благочиние”), Prokhor included numerous materials that he thought could be useful for a teacher. The collection is complicated and diversified; it includes short works in poetic and prosaic form, which at first glance seem to be put together chaotically. It is a manual for teachers and contains admonitions for pupils, *starostas* (village elders), and parents, all intermingled. A researcher studying the collection noted in perplexity that these texts are monuments “which we cannot give a rightful place to

² On “elites” as producers of cultured languages that are adapted for this purpose in popular culture, see: [De Serto, c. 41–42].

with certainty” [Буш, с. 32]. However, Prokhor had his own, clear logic, when compiling the text – the logic being “alphabetical”. Each new text starts with a colored letter that stands out. These letters ascend in alphabetical order, which is why all the seven sections of the collection begin with the words “*Azbukovnik*”. This method had already been in use for a long time before ABC texts [Ковалёва] and became extremely popular in 17th century Baroque verses [Киселёва, с. 112–126].

Prokhor’s works show that he was a typical Russian man of learning, a collector of texts, which are useful for the mind [on collections of texts, see: Грицевская]. But behind this image, the writer-intellectual appears in the initial stages of his development. The amount of work that he did to compile his collection demonstrates that he was well read: he referred to numerous, different works and was acquainted with various books printed in Moscow, Kiev and abroad. Interestingly, in “The ABC Book for Schools”, Prokhor reveals his personality, his “ego”, as an author. In contrast, the typical excuse for writing at the time was that higher-ranking authorities had required it. Baroque authors found it very difficult to work around this tradition.

In his dialogue, “School Rules”, Prokhor introduces the non-traditional Writer of Verses (i.e., the author), in addition to the customary Teacher and Pupil who converse with each other. By doing so, Prokhor reveals that the text is not a copy, a translation, or a compilation – it is written by the author himself. The reader is encouraged consistently to determine the author’s identity, and to help the reader do it, the Writer of Verses constantly prompts the reader with directions: “Here the Writer gives you his name”; “In the aforementioned writing: there you can find the name, rank and patronymic; for this he wrote it: the text gives you the name and rank” [РГАДА, ф. 357, № 60, л. 22]; “In the first line you will find the name of the writer, in the second – the first word gives the patronymic” [Ibid., л. 11]. “Curiosity is tensed to the extreme,” as V. V. Bush, who studied the text, commented, “but I have to own up that it is impossible to guess this charade” [Буш с. 26]. Prokhor made his literary game so complicated that it became possible to decipher his “charades” only centuries later. Even now, all may not have been deciphered. At the end of the 19th century, A. P. Petrov deciphered one of the entries [Петров, с. 98], and in 1976, A. S. Demin managed to decipher the full name of the Writer of Verses [Дёмин, с. 48 (по списку РНБ, ф. 14, л. 73)]. Demin also managed to decode the following acrostic on the edges of the writings: “When he wrote his works black priest, Prokhor Kolomnyatin, sent them to a teacher of children, Diomid Yakovlev, and his associates”. Clearly, Prokhor introduced the Writer’s speeches into the “School Rules” not to stress his authorial position, but to refine the acrostic.

Prokhor’s “charades” and their deciphering are complex and beyond the scope of this essay; nevertheless, a brief description will offer insight into Prokhor’s distinctive literary contributions. Here is Prokhor’s answer to Dio-

mid, and the inserted bold type on the left of the acrostic will make it easier to understand what Prokhor meant. At first glance the text is rather absurd:

Первостранником послание твое буди приятно,
 Во нем же писано – со усердием внято.
 Готовый за посещение твое Бога молю,
 Благоразумием твоим велми ся хвалю.
 В танце и на клиросе будущего ведати благоволиши,
 Благоразумно чест святыню си и внятно zde узриши.
 Ту искомое, от него же, и ему же, и о нем же писася, обрящещи,
 И в краегранесии якожде выше, тожде и zde, усящещи.

ПРОстираю руку сипавый третий, о дружe благий,
ШЕствую к тебе грозный второй, нравом драгий;
НИчтоже препинает и пятому гласному,
 Еже по господе Бозе житию согласному;
ТВОЕ благоденствие вторым натужным здраво буди,
 Вторым же громным подобнее и возразительным окончальн многолетен пребуди.
СЕ тобою желаемое о школе изобразуется,
И хотящим учитеся буквам о благоискустве пишется.
СПОЛным ума намерением приходящего в школу прияти,
НЕВсем, но единому, коему велит приветное слово воздати³.

The answer begins with a positive assessment of Diomid's "Letter". Then it indicates that he will get what he asks for. The phrase "*i v kraegranesii yakozhde*" (и в краегранесии якожде...) provides the key to the riddle that the message holds. Its translation into modern English reads: "The edges of the lines, above, and here also" (i.e. in "*Poslaniye prositel'noye*"). In other words, the Letters have a "second, false bottom" where those texts that are not seen at first glance are "hidden". This is why the phrase stating that Diomid's secret text had been read, and a similar answer has been prepared for him. It states: "Про/ше/ние/ твое/ в/се/ и/спол/нев/" (Pro/she/niye/tvoe/ v/se/ i/spol/nev/) (Your request has been fulfilled) (see verses above). But that is not all. In the same part, Prokhor ciphered his name in a way that could only be understood by a person who had read his "Grammar Book" ("Грамматика"). This original "Grammar Book" is placed among a variety of other texts in "The ABC Book for Schools". If Diomid had been

³ The chief (or the first, the main one) pilgrim will find your message pleasant,/ Everything in it is written plainly and clearly, / I pray to God that you will come, / I am very proud of you that you are so wise. / You wish to know of the future while dancing and singing in the church choir / You wisely honor the sacred things, and clearly see what is here., / What you have found from him and what has been written about him,/ You will find in the letters on the edges of the lines, above, and here also. / I point with my hand to the third voiceless consonant (П), oh dear friend, / I come to you, the second of the voiced (consonants) (Р), dear to me. / Nothing stops the fifth vowel (О), / Living as God wills. / Your prosperity will be the second voiceless consonant (Х), / The second voiced consonant (П), Reverend, and the last letter Ъ, live long. / As what you wish to be (taught) at school is shown here, / It is addressed to those who wish to study and learn of the importance of knowledge. / To those who really wish to get a school education, / A word of praise should be addressed not to all, but to the one who wishes to learn.

Prokhor's pupil, to all appearances he would have been well acquainted with "Grammar Book". If not, it is highly improbable that Diomid could have deciphered what Prokhor wrote. The subject here is the phonetic classification of the consonants of the Slavic language, which were named differently in the various Grammar Books. In Prokhor's "Grammar Book", the classification reads as follows: "voiced" – б, в, з, д (*b, v, g, d*), "sibilants" – ж, ч, ш (*zh, ch, sh*), "voiceless" – с, з, н, ц (*s, z, p, c*) and so on. Hence we can look for the necessary letter: "voiceless third" is *n* (*p*); "second voiced" is *p* (*r*); "fifth vowel" is *o*; and so on. As a result we can read the name "Прохоръ" (Prokhor) [Дёмин 2003, с. 48].

If we take these "directions" to the "Grammar Book" out of the text of the Letter, the lines will then join together and become readable:

Простираю руку, о друже благий,
Шествую к тебе, нравом драгий,
Ничтоже препинает,
Еже по господе Боже житию согласному.
Твое благоденствие здраво буди,
Подобнее и многолетен пребуди...⁴

In this letter, one more phrase becomes clear. Its first line runs as follows: "*Pervostrannikom poslaniye tvoe budi priyato*" (*Первостранником послание твоё буди приятно*) (The chief [or first, the main one] pilgrim will find your message pleasant). Who is this "*первостранник* (*pervostrannik*)" (chief pilgrim)"? The explanation can be found in "*Tolkovaniye imen po alfavitu*" (*Толкование имен по алфавиту*) (Interpretation of Names in Alphabetical Order), which is found in the collection. The name "Prokhor" means "the one who goes first, the first singer in the choir" [РГАДА, ф. 357, д. 60, л. 138 об.–139] (i.e. "the one who goes in front of the choir, who is the first to start singing"). Prokhor calls himself the First One, "the one who goes first", "the main one" not only in the "Poslaniye", but in many other places in the manuscript.

Prokhor's sophisticated use of rhetorical devices, exhibited above as an intellectual game, demonstrates that he was a member of the cultural elite who could skillfully manipulate texts. Obviously Prokhor not only valued piety, which he spoke about quite often in his "*Azbukovnik*", but also creativity, which included the composition of acrostics. For instance, Prokhor writes about the importance of acrostics:

Акростикиды, гречески именую, помале в(е)селят,
А творчестии разумы несытне души сладят
[quoted by: Петров с. 81].

⁴ I stretch out my hand to you, oh dear friend, / I go to you, a person of good will, / Nothing will stop us, / If we live according to God's will. / Let your prosperity be welcome, / Reverend, live long... (and so on).

Which means:

“Acrostics, as they are called in Greek, entertain quite a bit, and creativity of the mind brings pleasure to souls who are eager to learn”.

In accordance with tradition, Prokhor and many other 17th century men of learning gained authority not only through their piety, but also through their intellect, which fulfilled a certain function in society. Prokhor tried to increase the number of copies of his works in handwritten form (we know of eight copies of “*Shkol’niye azbukovniki*”). He wanted to publicize that he was the author and that he could produce a work of intellect. His work showed that he was not merely a specialist in schooling, but a poet who could compose poetic works to be used in schools.

Importantly, Prokhor wrote “*Azbukovniki*” as requested by a “school teacher”; for the first time in Russian literature, this teacher becomes the direct addressee of the texts compiled in the collection. The addressee is Diomid, who was not a professional teacher, but a scribe. This supplementary activity was typical for scribes at the time since professional school teachers did not yet exist as a social group in Russia.

Greater Russia did not have schools like the Belorussian or Ukrainian fraternity schools. Learning to read and write was a private affair, carried out by the so-called “teaching groups” [Безпоров, с. 683–707]. People who had a very small income from their main profession but were literate used their knowledge to support themselves. It was thought that any literate person could teach. Therefore, the process of education was conducted without schools and effectuated by society to fulfill its needs. This means that a teacher’s independent recognition and identification with the intellectual elite, was largely irrelevant for most people. Indeed a sexton reciting the alphabet with children never saw himself as a teacher or a spiritual mentor; he was only “a master in literacy” [Коселева, 2004, с. 115–135].

For the first time in Russian literacy, Prokhor’s texts established a teacher’s independent recognition by raising both the role and the significance of the teacher to a higher level. This independent recognition consolidated the social group, which in time became the cultural elite.

In “School Rules” the text under the Russian letter «У» (U) is fully devoted to the Teacher (*Uchitel’*). Here, Prokhor summarized and rhymed those thoughts about teaching that were especially close to him. In other texts of the “*Azbukovniki*” the author also gives practical advice and religious admonitions. Many speeches addressed to pupils are written on behalf of the Teacher. All this is reflected in the practice of teaching and raising children [Коселева, 2013]. But special stress in its panegyric pathos is stressed in a text addressed to the teacher on behalf of Wisdom⁵. It begins by comparing the teacher to a preacher. The metaphor of teacher-preacher who guards his flock of sheep and

⁵ For a translation of this text in modern Russian, see: [Коселева, 2013].

retrieves the lost ones has a direct analogy with the image of Christ the Preacher. However, the text is about ordinary shepherds who tend their flock of heedless creatures. How great, then, is the responsibility that is laid upon the shoulders of the teacher who is held accountable for “creatures that are not senseless”!

Having shown before God the great responsibility of the teacher as a guard of the souls of his pupils, the author gives the teacher practical advice. First, the teacher is to be “morally stable”, i.e. his behavior is to be untarnished. Second, the teacher is to teach his pupils orally and instill in their souls fear towards his person (“let them be afraid of your name”). The teacher is to have “the best and the brightest pupils,” or “police-officers”, who would show the pupils the right path to follow when the teacher is not there. Pupils should be under constant observation by the preacher and his helpers, day and night, because the Devil likes “to spoil” young and corruptible minds.

From the metaphor of teacher-preacher, the author moves to the image of teacher-brood hen (“*kokosha*”) that gathers its chicks under its wing. If the brood hen warms its chicks with its wings, the teacher warms the hearts of his pupils with his words, thus instilling love for God. Just as chicks are given light food, and then progress to hard food, so the teacher must give the beginners “a little of something in verse-form”. By hard food, Prokhor means the Word of God (The Holy Scriptures), and “so the Lord God let us by way of a teacher’s teaching do it”.

Next follows the metaphor of a teacher-blacksmith. People bring the blacksmith all kinds of old scrap metal to be re-forged into something new. Similarly, the teacher is brought “a good-for-nothing adolescent”: “Welcome him as if he were good, and as a master blacksmith re-forge him anew.”

At the end of the text the teacher is presented as a holder of “the key of reason” (“You have taken the key of reason, teacher: what are you to create with it?”). The teacher unlocks the souls of uncivil and negligent pupils and leads them out of the darkness of ignorance into the light of true knowledge. The word “key” is also used by the teacher. “The key of knowledge” turns out to be the key to the Kingdom of Heaven.

Wisdom sets the teacher on the right path: listen attentively and observe; teach not only with words, but also with corporeal punishment. What you do should serve as an example to your pupils. In other words, words (admonitions), punishment (fear) and exemplary actions – these are the teacher’s tools.

The teacher is to read “useful writings” aloud to the children, selecting texts that correspond to situations in the life of the pupils: “when you speak of wisdom, turn their thoughts to real knowledge, when you admonish them, set them on the path of good will, teach them to respect their parents and their teacher. Let them be clean in thoughts and in body, give examples that would prove what you say, and tell them about those who were spotless

from their childhood". At times the teacher can praise the pupils for their "diligent work", but at all times he must remember to give time off for rest on Sunday and on other holidays.

Thus, Prokhor, an ordinary monk, is shown to be a scholar, a poet, a tutor, a creative personality. He understood this himself, and his intellectual acquaintances valued his varied skills and abilities, asking him to write new texts. Prokhor's interest with educational affairs and pedagogy in schools should be viewed within the polemical context of educational development and discussions that persisted in Moscow through the 1680s [Фонкич, с. 235–237]. The end result was the establishment of the Slavic-Greek-Latin Academy. It might be that Prokhor undertook the teaching practice himself so that he could have first-hand knowledge. After all, the teacher for him was not only a tutor with a deep "inner self", but was one who boasted an "outer self" developed by the scholastic sciences. Both aspects of the teacher-personality were necessary. For Prokhor, as for other syllabic authors, the two selves ceased to contradict.

Conceivably the new idea of Orthodox education formed within this very milieu of intellectual monks, not just those who were closer to the ruling elite. In this view, education developed along a path that empowered the teacher to play a more significant role. Such developments in Russia's Orthodox education, however, were destined not to endure in the latter half of the 17th century due to the reforms of Peter the Great. The czar's reforms reduced the liberal activity of the monks and the monasteries, especially as models of Western Europe were introduced and implemented into the Russian Empire.

БАН. Собр. Колобова. [BAN. Sobr. Kolobova.]

Безрогов В. Г. Учитель и ученик в истории педагогики // Учитель и ученик. Становление интересубъектных отношений в истории педагогики Востока и Запада (цивилизации Древности и Средневековья). М., 2013. С. 683–707. [Bezrogov V. G. Uchitel' i uchenik v istorii pedagogiki // Uchitel' i uchenik. Stanovlenie intersubektnykh otnoshenij v istorii pedagogiki Vostoka i Zapada (tsivilizatsii Drevnosti i Srednevekov'ya). М., 2013. S. 683–707.]

Буш В. В. Памятники старинного русского воспитания. К истории древнерусской письменности и культуры. Пг., 1918. [Bush V. V. Pamyatniki starinnogo russkogo vospitaniya. K istorii drevnerusskoj pis'mennosti i kul'tury. Pg., 1918.]

Грицевская И. М. Чтение и четьи сборники в древнерусских монастырях XV–XVII вв. СПб., 2012. [Gritsevskaya I. M. CHtenie i chet'i sborniki v drevnerusskikh monastyryakh XV–XVII vv. SPb., 2012.]

Де Серто М. Изобретение повседневности. Кн. 1. Искусство делать. СПб. М., 2013. [De Serto M. Izobretenie povsednevnosti. Kn. 1. Iskusstvo delat'. SPb. М., 2013.]

Демин А. С. Диалог «Школьное благочиние» Прохора Коломнятина // Демин А. С. О древнерусском литературном творчестве. Опыт типологии с XI по сер. XVIII в. От Илариона до Ломоносова. М., 2003. [Demin A. S. Dialog «SHkol'noe blagochinie» Prokhora Kolomnyatina // Demin A. S. O drevnerusskom literaturnom tvorchestve. Opyt tipologii s XI po ser. XVIII v. Ot Ilariona do Lomonosova. М., 2003.]

Киселева М. Интеллектуальный выбор России второй половины XVII – начала XVIII века: От древнерусской книжности к европейской учености. М., 2011. [Kiseleva M. Intellektual'nyj vybor Rossii vtoroj poloviny XVII – nachala XVIII veka: Ot drevnerusskoj knizhnosti k evropejskoj uchenosti. M., 2011.]

Ковалева Т. В. Русская акростихидная азбука и ее роль в развитии поэзии для детей // Филологические науки. 2004. № 2. [Kovaleva T. V. Russkaya akrostikhidnaya azbuka i ee rol' v razvitii poezii dlya detej // Filologicheskie nauki, 2004. N 2.]

Коселева О. Е. Как сочинять послания в виршах? «Уроки» Прохора Коломнятина [1680-е гг.] // Человек читающий: между реальностью и текстом источника : сб. ст. / под ред. О. И. Тогоевой. М., 2011. [Kosheleva O. E. Kak sochinyat' poslaniya v virshakh? «Uroki» Prokhora Kolomnyatina [1680-e gg.] // Snelovek chitayuschij: mezhdu real'nost'yu i tekstem istochnika : sb. st. / pod red. O. I. Togoevoj. M., 2011]

Коселева О. Е. Учитель и ученик в Школьных азбуконниках // Учитель и ученик. Становление интересубъективных отношений. М., 2013. С. 675–682. [Kosheleva O. E. Uchitel' i uchenik v SHkol'nykh azbukovnikakh // Uchitel' i uchenik. Stanovlenie intersubektivnykh otnoshenij. 2013. S. 675–682.]

Коселева О. Е. Учитель и учительство в православной педагогике // Вестник УРАО. 2004. № 2. С. 115–135. [Kosheleva O. E. Uchitel' i uchitel'stvo v pravoslavnoj pedagogike // Vestnik URAO. 2004. N 2. S. 115–135.]

Мордовцев Д. Л. О русских школьных книгах XVII века. М., 1862. [Mordovtsev D. L. O russkikh shkol'nykh knigakh XVII veka. M., 1862.]

Панченко А. М. Русская стихотворная культура XVII века. М., 1973. [Panchenko A. M. Russkaya stikhotvornaya kul'tura XVII veka. M., 1973.]

Петров А. Н. Об Афанасьевском сборнике XVII в. и заключающихся в нем азбуконниках // Памятники древней письменности. 1886. Вып. 120. Прил. 4. [Petrov A. N. Ob Afanas'evskom sbornike XVII v. i zaklyuchayuschikh v nem azbukovnikakh // Pamyatniki drevnej pis'mennosti. 1886. Vyp. 120. Pril. 4.]

Развитие барокко и зарождение классицизма в России XVII – начала XVIII в. М., 1989. [Razvitie barokko i zarozhdenie klassitsizma v Rossii XVII – nachala XVIII v. M., 1989.]

РГАДА. Ф. 357. [RGADA. F. 357.]

Семячко С. А. Об автографе Диомиды Серкова и сборнике Крины сельные // ТОДРЛ. 2003. Т. 54. С. 613–622. [Semyachko S. A. Ob avtografe Diomida Serkova i sbornike Kriny sel'nye // TODRL. 2003. T. 54. S. 613–622.]

Фонкич Б. Л. Греко-славянские школы в Москве в XVII веке. М., 2009. [Fonkich B. L. Greko-slavyanskije shkoly v Moskve v XVII veke. M., 2009.]

Человек в культуре русского барокко. М., 2007. [Chelovek v kul'ture russkogo baroko. M., 2007.]

Рассматривается феномен интеллектуальной элиты, которая возникает в русской культуре начиная с XVII в. Колоритной фигурой времени является просветитель и литератор инок Прохор Коломнятин. Обращение к его биографии и трудам позволяет воочию увидеть процесс формирования этого слоя в русском обществе. Привлекаются малоизвестные литературные тексты из рукописного наследия поэта,

очерчивается понимание им роли учителя и поэта, раскрывается вопрос о восприятии и оценке творчества в социокультурном контексте. Определяются особенности поэтики, присущие эстетике барокко. Делается вывод, что дальнейшее развитие национальной элиты в выявленном направлении не состоялось в полной мере в результате Петровских реформ.

Ключевые слова: Прохор Коломнятин; русская литература XVII в.; интеллектуальная элита России; силлабические вирши.

Olga Kosheleva (Ольга Евгеньевна Кошелева), prof.
Russia, Moscow
Institute for Theory and History of Education
of the Russian Academy of Education
okosheleva@mail.ru

ИЗ ИСТОРИИ ВВЕДЕНИЯ БРАДОБРИТИЯ И «НЕМЕЦКОГО» КОСТЮМА В ПЕТРОВСКОЙ РОССИИ*

For Peter the Great, beards and the traditional “Russian” clothing marked the hated old times (N. Ustryalov, S. Solovyov, L. Hughes, etc.). However, this statement has never been proved by references to any sources which could reveal the tsar’s own opinion or that of his associates on the problem in question. The author undertakes the first attempt to establish the position of Peter the Great and his associates on the need for “Europeanization” of the appearance of Russian subjects. The article analyzes the story of the introduction of beard shaving and the adoption of “European” clothing in different versions of The History of the Swedish War. The collected data enable the author to suppose that the ideological justification of the introduction of beard shaving and “European” clothing in Peter the Great’s Russia was based upon the opposition between the traditional Russian appearance associated with the appearance of “pagan peoples” and the appearance of European subjects viewed as a Christian one. This ideologeme is supposed to have been formed within the cultural and political elite at the end of the 17th century, probably, under the influence of the treaty Politika by Juraj Krizanić.

Keywords: Peter the Great’s reforms; beard shaving; struggle against beard-wearing and Russian clothing; cultural practices; cultural strategies; everyday life practices; power and society.

В научной литературе и в массовом сознании европеизация внешнего облика российских подданных представляется своеобразным символом петровского культурного переворота да и всех петровских преобразований в целом [Седов, с. 502]. Такое представление, судя по всему, сформировалось под влиянием исторических трудов С. М. Соловьева. Как тонко подметил современный исследователь С. М. Шамин, борода и русское платье были использованы С. М. Соловьевым в качестве яркого символа крутых перемен [Шамин, с. 38].

Действительно, С. М. Соловьеву удалось ярко проиллюстрировать пропасть между Русью XVII в. и Россией XVIII столетия замечаниями об изменении внешнего облика российских подданных. Но в последующей литературе созданный С. М. Соловьевым яркий образ постепенно превратился в сухую упрощенную схему: до Петра все

* Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2013 г.

ходили в бородах и в традиционном длинном русском костюме, но пришел Петр, и как по мановению волшебной палочки все подданные вдруг превратились в безбородых европейцев, которые носят парики и короткое платье. В научной литературе даже всерьез обсуждается тезис о том, что причина столь легкого отказа от традиционного облика кроется в рабской психологии российской элиты и российского общества в целом [Там же, с. 23].

Парадокс между тем заключается в том, что при обилии мнений и замечаний относительно петровских мер европеизации облика россиян сама проблема преобразования костюма и брадобрития редко становилась предметом специального изучения¹ и может быть отнесена к наименее исследованным сюжетам истории России первой половины XVIII в. [Hughes, p. 21; Седов, с. 502]. Не выявлен и не исследован весь корпус законодательства о запрещении ношения бород и традиционного русского платья². Не исследован вопрос о степени воплощения этих указов в жизнь. Не изучена роль различных социальных групп в идеологическом осмыслении петровских указов о брадобритии и в процессе их адаптации на повседневном уровне. Как Петр и его окружение обосновывали необходимость европеизации внешнего вида своих подданных? Какова была реакция на указы о брадобритии и европейском платье в высших слоях общества? Как осваивали культурные новации иные социальные группы российских подданных? Пока эти вопросы остаются почти неисследованными.

Мы сконцентрируемся лишь на одном из поставленных выше вопросов, а именно на идеологическом обосновании необходимости преобразования внешнего облика подданных. В научной литературе неоднократно высказывалось мнение о том, что борода и русское платье для царя представлялись своеобразным символом московской старины, а потому столь энергичное участие Петра I в европеизации облика своих подданных вполне понятно и оправданно: эта точка зрения прослеживается в трудах Н. Г. Устрялова, С. М. Соловьева, Л. Хьюз [Устрялов, с. 191–192; Соловьев, с. 549–550; Hughes, p. 23–24]

¹ Исключение составляют очерк Г. В. Есипова «Русская борода и немецкое платье» [Есипов, с. 159–186] и статья Л. Хьюз [Hughes, p. 21–34].

² Мнение о том, что первый указ о брадобритии был опубликован в 1705 г., широко распространено в научной литературе [см.: Hughes, p. 24; Акельев, Трефилов, с. 156]. Для такого мнения существуют серьезные основания: первый известный на настоящий день указ о брадобритии, опубликованный в Полном собрании законов Российской империи, датирован 16 января 1705 г. [ПСЗ, т. 4, № 2015, с. 282–283]. Именно с этого времени наблюдается отрицательная реакция населения различных городов на введение брадобрития [см.: Покровский, с. 49–50; Шашков, с. 301–322; Акельев, Трефилов, с. 156–158]. Однако еще Г. В. Есипов на основании изучения дел Преображенского приказа предположил, что «о брадобритии существовало всеобщее распоряжение и прежде указа 1705 года», а следовательно, «первоначальный указ о бородовой пошлине не найден» [Есипов, с. 163, 174]. Такой же точки зрения придерживаются Е. В. Анисимов и А. Т. Шашков, полагая, что первый указ о брадобритии появился на свет еще в 1700 г., а 16 января 1705 г. был издан лишь повторный указ [Анисимов, с. 353–354; Шашков, с. 301]. Это предположение подтверждают некоторые источники, в частности «Гистория Свейской войны».

и других исследователей. Однако их рассуждения не подкреплялись ссылками на конкретные источники, в которых обнаруживался бы взгляд самого царя или его сподвижников на эту проблему.

Среди писем Петра I, опубликованных в «Письмах и бумагах Петра Великого», мы не нашли ни одного, в котором как-то затрагивалась бы тема брадобрития. Ни в одном из известных на настоящий день петровских указов о запрещении брадобрития³ не обнаруживается мотивация этого запрещения. Например, первый указ о брадобритии, датированный 16 января 1705 г., гласил:

На Москве и во всех городах царедворцам, и дворовым, и городовым, и приказным всяких чинов служивым людям, и гостям, и гостиной сотни, и черных слобод посадским людям всем сказать, чтоб впредь с сего его великого государя указа бороды и усы брили. А буде кто бород и усов брить не похотят, а похотят ходить с бородами и с усами, и с тех имать с царедворцов, и с дворовых, и с городских, и всяких чинов служилых и приказных людей по 60 рублей с человека, с гостей и с гостинной сотни первые статьи по 100 рублей с человека, средней и меньшей статьи, которые платят десятиья деньги меньше 100 рублей, с торговых, и посадских людей по 60 рублей, третья статья, с посадских же, и с боярских людей, и с ямщиков, и с извозчиков, и с церковных причетников, кроме попов и дьяконов, и всяких чинов с московских жителей по 30 рублей с человека на год. И давать им из Приказа земских дел знаки, а для тех знаков и для записки приходить им в Приказ земских дел без мотчания, а в городах в приказные избы, а те знаки носить им на себе. И в Приказе земских дел, и в городах, в приказных избах учинить тому записные и приходные книги. А с крестьян имать везде по воротам пошлину по 2 деньги с бороды по вся дни, как ни пойдут в город и за город, а без пошлин крестьян в воротах, в город и за город, отнюдь не пропускать. И о том для ведома по воротам с сего великого государя указу прибить письма, а в города воеводам послать его великого государя грамоты, а к бурмистрам памяти, а в розряд о посылке послушных грамот, а в ратушу к бурмистрам о посылке послушных указов послать памяти с подкреплением: буде они, воеводы и бурмистры, станут в том чинить кому поноровку, и им, воеводам, за то быть в опале, а бурмистрам в наказаниях и в разорении без всякой пощады. А буде кто из царедворцов, и из градских, и из приказных, и из посадских людей похочет ходить с бороною, и ему б для взятья знака ехать к Москве и явиться в Приказе земских дел. А в Сибирские и в Поморские города знаки послать с Москвы [ПСЗ, т. 4, № 2015, с. 282–283].

Несмотря на всю содержательность этого указа, в нем, как мы видим, не обнаруживается никаких указаний на мотивы введения брадобрития.

³ Известно всего восемь петровских указов о брадобритии: один за 1705 г. [ПСЗ, 4, № 2015, с. 282–283], один за 1714 г. [Там же, т. 5, № 2874 с. 137] и шесть за 1722–1724 гг. [Там же, т. 6, № 3944, с. 641–642; № 4034, 720; № 4121, 791; т. 7, № 4245, 77; № 4256, 86–87; № 4596, 368].

Для того чтобы выявить образ мыслей Петра I и его приближенных относительно бранобрития, обратимся к «Гистории Свейской войны» – крупнейшему историческому произведению петровского времени, которое по замыслу царя должно было стать важнейшим инструментом идеологической борьбы против «неприятельских соседственных историков» [Гистория Свейской войны, вып. 1, с. 17]. Как было установлено Т. С. Майковой, Петр I начал работу над памятником в 1715 г. и продолжал вплоть до последних дней жизни, так и не успев ее закончить. «Гистория» дошла до нас в нескольких редакциях, причем, кроме основных рукописей памятника (это хранящиеся в фонде «Кабинет Петра I» 8 рукописных книг), сохранилось еще много черновых текстов и подготовительных материалов. Сличение всех списков «Гистории» позволило Т. С. Майковой выявить пять основных редакций памятника [Там же, с. 15–76].

В первой редакции «Гистории», составленной в 1717–1721 гг., а также во второй редакции, составленной в 1722 г., сообщение о введении бранобрития отсутствует, как отсутствуют сообщения об учреждении ордена Андрея Первозванного, о реформе календаря, о заведении школ и многие другие известия о внутренних реформах Петра I [Там же, с. 81–82; РГАДА, ф. 9, оп. 2, отд. 2, кн. 2, л. 1–4; кн. 3, л. 1–3]. В последней же (пятой) редакции «Гистории», составленной, по-видимому, в 1726 г., между рассказами об учреждении ордена Святого апостола Андрея Первозванного и введении нового календаря фигурирует следующее сообщение:

Тогда ж заблагоразсудил старинное платье российское (которое было наподобие польского платья) отменить, а повелел всем своим подданным носить по обычаю европейских христианских государств, такожде и бороды повелел брить [Гистория Свейской войны, вып. 1, с. 201; РГАДА, ф. 9, оп. 2, отд. 2, кн. 8, л. 8 об.].

Исследование всех редакций «Гистории», а также подготовительных и черновых материалов показывает, что по ходу редактирования памятника в 1722–1725 гг. это сообщение о введении в России бранобрития, прежде чем облечься в окончательную форму, претерпело серьезную трансформацию. Важно отметить, что все изменения в тексте «Гистории» проходили «апробацию его царского величества». Начиная с октября 1721 г. Петр I каждое субботнее утро посвящал работе на «Гисторией» [Гистория Свейской войны, вып. 1, с. 24–25]. Поэтому исследование всех этапов редакторской работы над сообщением о введении бранобрития в России может пролить свет на представления самого Петра I и его окружения о необходимости преобразования внешнего облика подданных, а также на идеологическое сопровождение этого мероприятия.

В «Кабинете Петра I» хранится комплекс документов (98 дел, 3520 л.), состоящий из различных черновых текстов, относящихся к «Гистории» [Там же, с. 70–71]. Среди них имеется один документ, который представляет собой правленный текст первоначального варианта сообщения о брадобритии, составленного между 1722 и 1723 гг. Согласно идентификации Т. С. Майковой, сам документ был написан рукой тайного советника канцелярии в Коллегии иностранных дел В. В. Степанова, а правка была осуществлена И. А. Черкасовым [Там же, вып. 2, с. 15], который, как известно, являлся правой рукой кабинет-секретаря А. В. Макарова по всем делам кабинета, в том числе и по составлению «Гистории».

Обратимся к тексту сообщения, написанному рукой В. В. Степанова:

В том же 1699-м году его ц[арское] в[еличество] изволил заблагоразсудить старинное платье российское (которое было наподобие татарских и протчих бусурманских народов) отменить, а повелел всем своим подданным, мужеска и женскому, в резидующих государственных в знатных городех носить по обычаю европейских христианских государств, такожде расщение власов на бороде отставлено, и повелено брады брить, что с того времени и учинено [РГАДА, ф. 9, оп. 6, д. 2, л. 6].

Итак, первоначальный вариант сообщения «Гистории» о введении брадобрития содержал противопоставление «старинного российского платья», которое отождествлялось с платьем «татарских и протчих бусурманских народов», и «обычаев европейских государств», которые являются «христианскими». В этом же контексте в сообщении рассматривается «расщение власов на бороде».

Кто является автором первоначального варианта сообщения? Этот вопрос остается открытым. Отметим, что на полях документа в левом верхнем углу фигурирует зачеркнутое слово «Перевод» [РГАДА, ф. 9, оп. 6, д. 2, л. 6], которое, впрочем, отсутствует во втором обнаруженном нами списке этого текста [Там же, оп. 2, отд. 2, кн. 4, л. 1]. Известно, что при составлении «Гистории» активно использовался Журнал Гюйсена [Гистория Свейской войны, 2, с. 31]. Однако в Журнале Гюйсена текст о введении «европейского» платья и брадобрития отсутствует [Журнал государя Петра I, с. 118–122].

Но кто бы ни был автором этого текста, он вкратце представил четкую и хорошо продуманную модель обоснования необходимости реформы внешнего облика российских подданных. Можно предположить, что в ней нашло отражение то идейное обоснование реформы, которое сложилось в кругах петровской политической элиты.

Нельзя не отметить, что такое обоснование введения брадобрития и европейского костюма хорошо соотносится с идеями, которые высказывал Юрий Крижанич в трактате «Политика» 1663 г. Рассуждая о российском воинском платье, Ю. Крижанич отмечал:

Русское обличье не отличается ни красотой, ни ловкостью, ни свободой, а скорее говорит смотрящим людям о рабской неволе, тяготах и малодушии. Наши воины ходят стянутые тесными платьями, будто бы их запахали в мех и зашили [в нем], головы у них голые, как у телят, бороды запущены, и [они] кажутся более похожими на лесных дикарей, нежели на ловких и храбрых воинов. <...> Итальянцы и испанцы лицом красивее нас и живут в очень знойных странах, однако они носят волосы и не стригут голову наголо, а стригутся лишь для пущей красоты и привлекательности. А нам, живущим в морозных странах и некрасивым от природы, гораздо нужнее носить волосы, чтобы скрыть грубость наших лиц, стать красивее и достойнее, укрыть уши от крутого мороза и возбудить храбрость у наших воинов. Однако мы предпочитаем подражать варварским народам — татарам и туркам — нежели благороднейшим из европейцев. <...> Татарский хохол на темени и польский хохол на лбу ничем не лучше наготы. Волосы по русскому обычаю беспорядочно запущены до того, что они мерзко покрывают лицо и придают дикарский вид. А запущенная борода делает воинов старше, чем они есть на самом деле, и они бывают не так страшны врагам [Крижанич, с. 442–443].

Вряд ли можно говорить о прямом влиянии этих идей на Петра I и его окружение: «Политика» Ю. Крижанича в XVIII в., по словам А. Л. Гольдберга, «находилась в полном забвении на полках библиотеки Печатного двора» [Там же, с. 704]. Однако не исключено, что в последнее двадцатилетие XVII в. идеи Ю. Крижанича, высказанные в «Политике», были хорошо известны в среде русской политической и культурной элиты. Как известно, этот памятник, как и другие труды Ю. Крижанича, находился в библиотеке Сильвестра Медведева вплоть до его ареста в 1689 г., когда его библиотека была передана на Печатный двор. Еще С. М. Соловьев предположил, что «Политика» Крижанича «была наверху у великого государя» и «не оставалась без влияния» [Соловьев, с. 549–550]. К этому мнению присоединился П. А. Безсонов, считавший, что сочинения Крижанича в конце XVII в. пользовались большим почетом в книжной среде [Безсонов, с. 158]. А. Л. Гольдберг подверг этот тезис сомнению, отметив, что «история рукописного наследства Крижанича нуждается в дальнейшем изучении, и пока у нас нет достаточных оснований полностью соглашаться с Безсоновым, утверждавшим, что сочинения Крижанича в конце XVII в. были хорошо известны в Москве» [Крижанич, с. 704].

Но если предположить, что «Политика» все же была известна в кругах культурной и политической элиты России конца XVII в., в таком случае приведенный выше текст Ю. Крижанича не мог не привлечь внимание русских книжников.

Идеи Ю. Крижанича относительно ношения бороды несомненно были созвучны настроениям определенной части российской политической и культурной элиты. Вспомним, что протопоп Аввакум, согласно его Житию, еще в 1648 г. обличал бородбридца сына боярина

Василия Петровича Шереметева Матфея – будущего знаменитого воеводу, занимавшего в 1648 г. чин чашечника [Житие протопопа Аввакума, с. 62]. Этот пример свидетельствует о том, что мода на бранобритие уже тогда была распространена в среде молодых людей из числа элиты. С. М. Шамин обоснованно предположил, что царь Федор Алексеевич весьма благосклонно относился к бранобритию [Шамин, с. 34]. Действительно, о распространении моды на бранобритие среди русских придворных в 80–90-е гг. XVII в. свидетельствуют парсуны, на которых мы почти не увидим бород, но зато найдем немало голых, начисто выбритых подбородков у самых близких к престолу людей [Русский исторический портрет]. Судя по всему, к 90-м гг. XVII в. мода на бранобритие затронула уже широкие круги горожан и оказалась настолько распространена, что патриархи Иоаким и Адриан были вынуждены специально обращаться к пастве с призывами оставить бранобритие [Есипов, прил., с. 64—72; Богданов, с. 330–333]. Поэтому не исключено, что идеи Ю. Крижанича могли повлиять на образ мыслей представителей культурной и политической элиты России конца XVII в. и косвенным образом определить модель идеологического обоснования необходимости введения бранобрития, которая сформировалась в окружении Петра I.

Так или иначе, первоначальный текст о введении бранобрития «Гистории» подвергся серьезной правке И. А. Черкасова.

Помимо стилистической правки, в текст было внесено три содержательных изменения. Во-первых, сравнение «российского старинного платья» с платьем «татарских и протчих бусурманских народов» оказалось неприемлемым и было заменено на сравнение с польским платьем. Но при этом было сохранено указание на основную мотивировку реформы – стремление привести внешний облик российских подданных к «обычаям европейских христианских государств». Во-вторых, были убраны, видимо, ненужные, с точки зрения И. А. Черкасова, подробности о том, что реформа касалась подданных обоего пола и распространялась лишь на жителей «резидующих государственных знатных» городов.

Сообщение, отредактированное И. А. Черкасовым, было вставлено в текст 3-й редакции «Гистории» вслед за сообщением о введении нового календаря и новогодних торжествах 1700 г. [РГАДА, ф. 9, оп. 2, отд. 2, кн. 4, л. 9]. Третья редакция «Гистории» была подвергнута серьезной правке самого Петра I. Но исследуемое нами сообщение о бранобритии не привлекло его внимания; оно было слегка поправлено А. В. Макаровым, который незначительно изменил начало текста, а на полях приписал, что это сообщение следует поставить «повыше 700 году» [Там же, кн. 7, л. 8 об.].

Эти изменения отражены в четвертой редакции «Гистории»: теперь сообщение расположилось между рассказами об учреждении ордена Святого апостола Андрея Первозванного и введении ново-

го календаря. Но и теперь сообщение подверглось незначительной правке, направленной на сокращение текста [РГАДА, ф. 9, оп. 2, отд. 2, кн. 5, л. 8 об.].

Итак, наше исследование позволяет поставить под сомнение прямой тезис Г. В. Есипова о том, что рассматриваемая нами «реформа не была подготовлена ни современными идеями, ни постепенным ходом истории, и Россия ворчала, сильно ворчала – тяжело ей было расставаться и с бородою, и с одеждою предков» [Есипов, с. 168].

Акельев Е. В., Трефилов Е. Н. Проект европеизации внешнего облика подданных в России первой половины XVIII в.: замысел и реализация». Феномен реформ на западе и востоке Европы в начале Нового времени (XVI–XVIII вв.): сб. ст. СПб., 2013. С. 153–173. [Akel'ev E. V., Trefilov E. N. Proekt evropeizatsii vneshnego oblika poddannyykh v Rossii pervoy poloviny XVIII v.: zamysel i realizatsiya». Fenomen reform na zapade i vostoке Evropy v nachale Novogo vremeni (XVI–XVIII vv.): sb. st. SPb., 2013.. S. 153–173.]

Анисимов Е. В. Время Петровских реформ, Л., 1989. [Anisimov E. V. Vremya Petrovskikh reform, L., 1989.]

Безсонов П. А. Юрий Крижанич, ревнитель воссоединения церквей и всего славянства в XVII веке // Православное обозрение. 1870. № 1. С. 129–159. [Bezsonov P. A. Yuriy Krizhanich, revnitel' vossoedineniya tserkvej i vsego slavyanstva v XVII veke. Pravoslavnoye obozrenie, 1870. 1. S. 129–159.]

Богданов А. П. Русские патриархи. Т. 2. М., 1999. [Bogdanov A. P. Russkie patriarkhi. T. 2. M., 1999.]

Гистория Свейской войны (Поденная записка Петра Великого) / сост. Т. С. Майкова; под общ. ред. А. А. Преображенского. Вып. 1–2. М., 2004. [Gistoriya Svejskoj vojny (Podennaya zapiska Petra Velikogo) / sost. T. S. Majkova; pod obsch. red. A. A. Preobrazhenskogo. Vyp. 1–2. M., 2004.]

Есипов Г. В. Раскольничьи дела XVIII века. Т. 2. СПб., 1863. [Esipov G. V. Raskol'nic'hi dela XVIII veka. T. 2. SPb., 1863.]

Житие протопопа Аввакума, им самим написанное / под общ. ред. Н. К. Гудзия. М., 1960. [Zhitie protopopa Avvakuma, im samim napisannoe / pod obsch. red. N. K. Gudziya. M., 1960.]

Журнал государя Петра I с 1695 по 1705, сочиненный бароном Гизеном. Половина первая. Собрание разных записок и сочинений, служащих к доставлению полного сведения о жизни и деяниях государя императора Петра Великого / изд. Ф. Туманским. Ч. 3. СПб., 1787. [Zhurnal gosudarya Petra I s 1695 po 1705, sochinennyy baronom Gizenom. Polovina pervaya. Sbranie raznykh zapisok i sochinenij, sluzhaschikh k dostavleniyu polnogo svedeniya o zhizni i deyaniyakh gosudarya imperatora Petra Velikogo / izd. F. Tumanskim. SN. 3. SPb., 1787.]

Крижанич Ю. Политика / подгот. к печ. В. В. Зеленин; пер. и коммент. А. Л. Гольдберг; под ред. М. Н. Тихомирова. М., 1965. [Krizhanich YU. Politika / podgot. k rech. V. V. Zelenin; per. i komment. A. L. Goldberg; pod red. M. N. Tikhomirova. M., 1965.]

Покровский Н. Н. Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев в XVIII в. Новосибирск, 1974. [Pokrovskij N. N. Antifeodal'nyj protest uralo-sibirskikh krest'yan-starooobryadtsev v XVIII v. Novosibirsk, 1974.]

ПСЗ. Т. 4 – 7. [PSZ. T. 4 – 7.]

РГАДА. Ф. 9. Оп. 2. [RGADA. F. 9. Op. 2.]

Русский исторический портрет. Эпоха парсуны, М., 2004. [Russkij istoricheskij portret. Epokha parsuny, M., 2004.]

Соловьев С. М. Сочинения: в 18 кн. Кн. 7. М., 1991. [Solov'ev S. M. Sochineniya: v 18 kn. Kn. 7. M., 1991.]

Седов П. В. Закат Московского царства: Царский двор конца XVII века. СПб., 2008. [Sedov P. V. Zakat Moskovskogo tsarstva: TSarskij dvor kontsa XVII veka. SPb., 2008.]

Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого. Т. 3. СПб., 1858. [Ustryalov N. G. Istoriya tsarstvovaniya Petra Velikogo. T. 3. SPb., 1858.]

Шамин С. М. Мода в России последней четверти XVII столетия. Древняя Русь. Вопросы медиевистики, 2005. № 1. С. 23–38. [Shamin S. M. Moda v Rossii poslednej chetverti XVII stoletiya. Drevnyaya Rus'. Voprosy medievistiki. 2005. № 1. S. 23–38.]

Шапков А. Т. Дело 1705 г. «о противности и о преслушании его царского величества указу томских жителей о немецком платье и о бритии бород» // Проблемы истории России. 1998. № 2. С. 301–322. [Shashkov A. T. Delo 1705 g. «o protivnosti i o preslushanii ego tsarskogo velichestva ukazu tomskikh zhitelej o nemetskom plat'e i o britii borod» // Problemy istorii Rossii. 1998. № 2. S. 301–322.]

Hughes L. «A Beard is an Unnecessary Burden»: Peter I's Laws on Shaving and their Roots in Early Russia // Russian Society and Culture and the Long Eighteenth Century. Essays in Honour of Anthony G. Cross. Ed. by Roger Bartlett and Lindsay Hughes. Munster, 2004. С. 21–34.

Борода и «русское» платье для Петра I являлись своеобразным знаменем ненавистой старины (Н. Г. Устрялов, С. М. Соловьев, Л. Хьюз и др.). Однако эти рассуждения не подкреплялись ссылками на конкретные источники, в которых обнаруживался бы взгляд самого царя или его сподвижников на эту проблему. В статье впервые предпринята попытка выявить позицию Петра I и его приближенных относительно необходимости европеизировать внешний облик российских подданных. В основу положен анализ рассказа о введении брадобрития и «европейского» платья в различных редакциях «Гистории Свейской войны». Полученные данные позволяют сделать предположение, что идеологическое обоснование введения брадобрития и «немецкого» костюма в петровской России строилось на противопоставлении традиционного российского облика, отождествляемого с обликом «бусурманских народов», и облика подданных «европейских государств», который позиционировался как «христианский». Предположительно эта идеологема сформировалась в кругах культурной и политической элиты еще в конце XVII в., возможно, под влиянием идей, высказанных Ю. Крижаничем в трактате «Политика».

К л ю ч е в ы е с л о в а : реформы Петра Великого; борьба с бородой и русским платьем; культурные практики; культурные стратегии; практики повседневной жизни; власть и общество.

Evgeny Akeliev (Евгений Владимирович Акельев), dr.
Russia, Moscow
Higher School of Economics
eakelev@hse.ru

DISPUTATIO





POLITICAL ORGANIZATION IN THE PSKOV REPUBLIC: THE PRINCE, THE VECHE AND SOVEREIGNTY

The article analyzes the socio-political organization of the Pskov Veche republic in the 13th–15th centuries, particularly the changes in personnel and in competences of the Pskov princes, the authority and the officials of the princely administration. The article shows the evolution of the sotnia (a hundred unit) organization from the princely one into the republican one. The research reveals Pskov's considerable differences from Novgorod in terms of regulation of commerce and defines the function of the rank-and-file traders' elder in the system of the republican power. The author argues that the Pskov veche functioned as a state institution that had been formed in the course of Pskov's fight for independence in the 13th century. The fact of adopting the documents of taxpaying at the veche assembly reveals the fully institutionalized character of governmental bodies of the Pskov republic. By drawing upon H. J. Berman's argument of independence within European cities of the 11th–12th centuries, this article contributes to the discussion of Pskov's independence by outlining the main criteria of Pskov's sovereignty. Pskov had a right to issue and supplement laws; the Pskov Judicial Charter arose out of the princes' local charters and was further edited at the veche assembly. Pskov set its own taxes and the veche was empowered to free separate groups of landowners from paying taxes. The rights to military mobilization, to the declaration of war and to making peace, which were under the complete jurisdiction of the republic, undoubtedly demonstrates the sovereignty of Pskov. Finally, the sovereignty of Pskov was manifested in the symbols of stamps and coins that were used in the Pskov republic. All these facts taken together demonstrate the feasibility of applying the medieval European cities' criteria of sovereignty to the Pskov socio-political realities.

Keywords: Prince; republic; sovereignty; borough; elder; deputy; magistrate; posadnik.

Modern historians take a particular view of the nature of the socio-political order that developed in Pskov between the thirteenth and fifteenth centuries. That is, like the cities of Italy, Novgorod and Pskov were marked by social and territorial polarization: landowners were concentrated in the towns, while the rural population was deprived of political rights [Сестан, с. 9–40]. This phenomenon is also borne out by the terminology used in contemporary chronicles: even as late as the 1480s, authors labelled Pskov peasants *smerdy*, even though this term had already disappeared from

documents in other parts of Russia around the turn of the fifteenth century. The political system based on the *veche* (public assemblies), which had achieved its most developed form by the fifteenth century, had qualities that sharply distinguished it from the monarchical system of princedoms in Northeast Russia.

In contrast to the prince's power, which was absolute in the political system of the Russian princedoms, the *veche*-based republics contained structures that complemented and counterbalanced each other. The *veche*, the *posadnik* (governor or mayor), the *kniaz'-namestnik* (the prince's deputy), the *sotskie* (the hundredmen, i.e. elected leaders of administrative districts), and the *vladichniy namestnik* (the Novgorod archbishop's deputy) held significant political and legislative powers. The *veche* had legislative functions. The *posadniks*, who by the middle of the fourteenth century had formed a collective representative authority based on *kontsy* (the "ends" or boroughs of the city in which they lived), possessed executive and supreme judicial authority, which they shared with the prince. Both the mercantile affairs court and issues of public services were directed by elected elders (*starosty*) from among the hundredmen, merchants (*gosti*), and rank-and-file traders (*kuptysy*).

This distribution of executive and legal powers ensured the collegial character of legislative and administrative activity. Apart from the institution of the *posadniks*, which was oligarchic in its composition, the middle layers of the urban population were included in the processes of governance and the administration of justice: for instance, representatives of the *zemtsy* (private landowners) occupied the posts of hundredmen and archbishop's deputy; merchants held the posts of merchant and trader elders; and *chornye liudi* (the lower classes) elected *ulichanskies* (street) elders. Lawrence Langer has shown that by the 1460s the hundredmen did not participate in diplomatic negotiations, which highlights the reduction of their role in the governance of Pskov [Langer, p. 58].

Historians have not resolved, however, a number of problems. First, it is not completely clear what the prerogatives of the various branches of power in Pskov were. How great were the prince's powers, and how did they evolve? How did the prerogatives of the *posadniks* correlate with these powers? What were the functions of the *veche*? It is of no small importance that acquisition of full authority by these state institutions was closely linked to the process by which Pskov gained sovereignty and separated from Novgorod. A second vital question is whether, despite the oligarchic nature of the power held by the *posadniks*, it is possible to define the system of governance in Novgorod and Pskov as republican.

An essential feature of Pskov's political system was that princely authority arose concurrently with the process of gaining independence; in contrast, the prince existed from the outset in Polotsk and Novgorod. Later, the power of the prince in Pskov increased or weakened as a kind of reflection of other institutions in the boyar republic. The chronicle tells us about the only prince, Sudislav, who was enthroned until the second quarter of the 12th century. He was arrested in 1036 by order of the Grand Kiev

prince. It is not inconceivable that there were other princes in Pskov. Nevertheless, the data about Pskov in the first Novgorod chronicle appeared only in 1132 when its compilation fell under the archbishop's control [Типпиус, с. 41]. The prince's system of governance in Pskov passed through two periods. The first period, lasting from 1137 up to 1399, contained 24 princes in Pskov's office, among whom exist two status groups.

The first group includes independent dynasts, applicants to the princely throne (*kniazheskii stol*) who did not recognize the power of Novgorod and its princes: Vsevolod Mstislavich (1137–1138) and Alexander Mikhailovich Tverskoi (1327–1337). Clearly the period they held office in Pskov occurred simultaneously when there were no peaceful relations with Novgorod. The second group was comprised of junior members of princes' dynasties who usually fulfilled the functions of their senior sovereigns' deputies. If the head of the dynasty possessed a princely throne in Novgorod, he supervised the Pskov deputy, thereby causing Pskov to fall under Novgorod control. Thus, the Novgorod prince, Mstislav Rostislavich, placed his son Boris on Pskov's princely throne after conflict with and removal of the Pskov *sotskii* (hundredman) [Полное собрание русских летописей, 2001, с. 608]. Prince Mstislav Udaloï, who captured Novgorod in 1209, placed his brother Vladimir on the Pskov throne, and Vladimir's dependence is shown by his various transfers from Pskov to Velikie Luki, then back to Pskov [Новгородская первая летопись, с. 51–52].

Research into the custom of the "donation" (*dar*) presented to princes has shown that Pskov and the grand princes of Vladimir (descendants of Alexander and Andrei Yaroslavich) were united by this tradition, which developed in the middle of the thirteenth century and continued on into the fourteenth and early fifteenth centuries. As mentioned in the chronicles, the donation was understood to be an irregular and quantitatively non-fixed payment to representatives of the Suzdal and Moscow princely dynasties. The donation could be presented either to a sovereign ruler (for example, Ivan III) or to his vassal – for example, Prince Shuisky, who was likewise among the descendants of the Yaroslavichi princes. The tradition of offering the donation continued until Pskov was incorporated into the Russian state, and the size of the donation in monetary terms could have been as much as 150 rubles, which can be characterized as a symbol of vassalage, but not as a significant source of income. This enduring political tradition (1242–1510) shows that Pskov undoubtedly was among those lands controlled by the Vladimir-Suzdal dynasts, whose military, political and religious influence in Pskov determined its geopolitical orientation [Аракчеев, 2004, с. 39–62].

The fourteenth century was a time when the Grand Duchy of Lithuania dominated Eastern Europe. Valentin Yanin has shown that in 1326 Lithuania concluded an agreement with Novgorod by which it inherited from the Smolensk princes the right to Novgorod's southern lands (the *chernokunstvo*). Earlier, Vladimir Monomakh had transferred these lands to Novgorod to provide for his descendants, who possessed a princely

throne (*kniazheskii stol*) in the veche-governed city [Янин, 19986, с. 57]. Seven years later, in 1333, Prince Narimantas (Gleb), son of the Lithuanian Grand Duke Gediminas, appeared in Novgorod and received Ladoga, Oreshek, Korela, and half of Koporye to tax for his own use [Новгородская первая летопись, с. 345–346]. In 1341, the Grand Duke Algirdas came to Pskov at the head of the army that had repulsed the attack of the Livonian Germans, and he placed his son, Andrei, on the city's princely throne. Along with Lithuanian "collector" princes, dynasts from Polotsk, Andrei and Ivan Andreevich, reigned in Pskov from 1341 to 1399. The time of the Lithuanian princes' ruling in Pskov coincided with the time of Pskov getting its independence from Novgorod. Nevertheless, Pskov, in the same way as Smolensk, did not remain under Lithuanian control. Pskov fell under Moscow's influence as directed by the Treaty of Salynas between Livonia and Lithuania. Vytautas delivered Pskov to the Order, the Teutonic knights, and removed his deputy from service in Pskov.

At the same time, princely power was redoubled by the emergence of its suzerain: outside Pskov's boundaries first, the grand duke of Lithuania, and later the grand prince of Moscow. At first, princely authority and governance in Pskov appears to be similar to Novgorod. However, in contrast to Novgorod – where the prince was represented by his deputy, who did not always possess a princely title – in Pskov the deputy of the grand dukes of Lithuania or the grand princes of Moscow was personally enthroned at the Holy Trinity Cathedral and participated in diplomatic negotiations. In 1467, the Pskov princes, who were themselves deputies of the Moscow grand prince, gained the right to have their own deputies in all twelve suburbs of Pskov [Псковские летописи, с. 164]. In the second period there were 26 princes on the Pskov throne, from different dynasties of Northeast Rus (Tver, Rostov, Suzdal princes) as well as of Lithuania (A. V. Chertorizhskii). None of them demonstrated political independence by occupying the position of the prince-deputy.

Apart from the above mentioned deputies in the suburbs, the Pskov Judicial Charter indicates the prince's officials who fulfilled missions for the court (bailiffs) and the prince's people (*kniazheskie liudi*). Of interest is the relationship between the princely power, Pskov hundred units (*sotni*), and hundredmen (*sotskie*). The *sotskie* in Pskov existed since 1179, when prince Mstislav Rostislavich entered Pskov (Pleskov) and removed the *sotskie* that had been appointed by his son Boris [Полное собрание русских летописей, 2001, с. 608]. A.V. Valerov interprets these events by asserting that Pskov was independent from Novgorod at the end of the 12th century. In Valerov's view, *sotskie* were the leaders of administrative districts that were removed by the Novgorod prince [Валеров, с. 130].

Valerov's stance, however, produces several contradictions. The thesis about Pskov's sovereignty in the 12th century is untenable, because evidence demonstrates Pskov's dependence upon Novgorod. Indeed, V. A. Kuchkin's research shows that *sotskie* and *sotni* in Novgorod and Pskov were subject to the prince's authority. This was the reason for prince Mstislav's entrance

into Pskov, where the population was unfriendly to him, and removing the sotskie that had been appointed by Mstislav or his predecessors.

The institution of sotskie in Pskov differed dramatically from that of Novgorod, which was headed by a *tysiatskii* (a thousandman). Why was there no thousandman in Pskov? If Pskov during 12th – 13th centuries was considered a part (*sotnia* - a hundred unit) of Novgorod, then it would have been symbolically represented by a *tysiacha* (a thousand unit). Can such a hypothesis be supported? In the Novgorod “Charter of Bridges” of the 1260s the authors enumerated the sections of the Great Bridge across the Volkhov-river. The sections were being built from the funds of the Novgorod sotni and countryside communities (*volosti*). Among 10 sotni, only the first 9 were called by the names of the sotskie, whereas the 10th hundred unit (*sotnya*) was called “kniazhia” (that of prince) [Российское законодательство, с. 236–237]. L. A. Bassalygo suggests his own version of the problem of the power parity between the *tysiatskii* and the prince’s *sotnya*, arguing that they were under the prince’s jurisdiction as well as the other 9 sotni [Бассальго, с. 48–51].

V. L. Yanin thinks that the sotskie of the prince’s *sotnya* did not submit to the Novgorod *tysiatskii* because their identifying object was the stamp with the inscription, “The Grand Prince’s Chiune” [Янин, 1998 а, с. 95–96]. The 10th *sotnya* of the Novgorod *tysiacha* stood for Pskov, which was a part of the Novgorod Republic until it gained independence. Interestingly, while Pskov was gaining sovereignty at the end of the 13th century to the first half of the 14th century, the idea of Pskov as the 10th *sotnya* of the Novgorod *tysiacha* disappeared from the sources. “Vsevolod’s Charter” about the church courts, which was compiled at the end of the 13th century, mentioned 10 sotskie without any reference to the prince’s *sotnya* [Российское законодательство, с. 250].

While Pskov was gaining sovereignty, its sotskie were moving out from under the Novgorod thousand man’s authority, but at the same time they did not place themselves under the Pskov princes’ authority. Their participation in solving foreign policy issues and land conflicts testifies that the Pskov sotskie in the 14th – 15th centuries represented the city of Pskov and its residents. Indeed the sotskii are mentioned in the Right Certificate in 1483. Due to Article 78 of the Pskov Judicial Charter, princely official (*kniazhoi boyar*), Mikhail Chet, and sotskii, Klimeta Semionovich, were sent to witness the measure line examination [Грамоты, с. 327].

Thus, to the prince’s deputies in the 14th century Pskov appeared to be an exterior power that was deprived of the support of the sotni. However, as distinct from Novgorod where sotni were incorporated into the boyars’ boroughs (*kontsy*) in Yanin’s opinion, Pskov’s sotni retained some independence from the kontsy and the posadniks that headed them. This explains the differences in Novgorod’s and Pskov’s socio-political organization, as the diminished role of posadniks’ oligarchy and the increased role of the unprivileged population, typified the political life of the latter.

The most influential part of the unprivileged population, *kuptsy* (rank- and file traders), created their own organization no later than mid-14th century. The organization was headed by the *kuptsy's* elder who came from the boyars. B. N. Floria discovered the similarity of this official with the Novgorod *tysiatskii*, whose post in the 14th century was also usurped by the boyars [Флоря, с. 52–55]. This is the only similarity between the Pskov *kuptsy's* elder (*starosta*) and the Novgorod *tysiatskii*. The Pskov *kuptsy's* *starosta* did not possess the prerogatives of the mercantile affairs court, which was in hands of *gospody* (the highest judicial body that consisted of the prince, *posadnik* (governor or mayor), and the *sotskii*).

The institution of *kuptsy's* elders (*starosty*) was indirectly linked to the Pskov original church organization, *sobory* (councils) of the parish clergy. B. N. Floria showed that *kuptsy's* *starosty* of Trinity Cathedral initiated the building of St. Sofia Church, the head of which appeared with the second council of clergy in 1357 [Ibid.]. St. Sofia Church became the patron temple of the Pskov rank-and-file traders union, which was headed by the *starosty* from *posadniks'* families – Yuri Vinkov, Yakov Krotov, and others. That is why the interpretation of the Pskov *sobory* phenomenon more recently faces objections by A. E. Musin. He regards *sobory* (clergy's councils) as the structures related to the *sotni* of the Pskov *posad*, considering that *sobory* were of “community and *sotni's* character” [Мусин, с. 187–192]. He does not agree with A. Nikitskii's and T. B. Kruglova's claims about the subordinate position of church to the secular governmental bodies, and he ignores the above mentioned facts of the *starosty's* patronage over St. Sofia Cathedral.

I maintain that although the *sobory* of clergy in Pskov bore an outward resemblance to the seven *sobory* of Novgorod, they differed from the Novgorod councils in their essence. By lacking a *vladichnaia katedra* (the archbishop's chair) in Pskov, and having a Pskov resident on the post of *vladichniy namestnik* (the archbishop's deputy), Trinity Cathedral *starosty's* control over the *sobory* of clergy undoubtedly fostered some autonomy of Pskov parishes within the Novgorod Eparchy. The evidence for this exists also in the famous attempts of Pskov to withdraw from subordination to the Novgorod archbishop, which resulted in establishing the Eparchy in 1589.

Unlike the princely authority, the Pskov *veche* is mentioned in written sources (primarily in the chronicles) only in the fourteenth and fifteenth centuries. Does this mean that *veche* assemblies did not exist in Pskov during earlier times? Such a conclusion would be hasty and unfounded, for the difference between the kinds of events mentioned in the Pskov chronicles for the thirteenth century, on the one hand, and the fourteenth and fifteenth centuries, on the other, is much too significant. Following the work of H.-J. Grabmüller, the original manuscript of the Pskov chronicles drew on two sources: annals covering a broad panorama of foreign policy events and a regional chronicle steadfastly focused on events in the republic's internal political history [Grabmüller].

Assuming that the absence of information about the Pskov veche in the chronicles for the twelfth and thirteenth centuries is explained by the specific nature of their origins and accepting as a hypothesis that the Pskov veche existed during these centuries, signs of its activity can be detected within the context of other political events. For instance, there is the chronicle entry about the Pskovians and Ladogans, who took part in the Novgorod veche in 1136 that banished Prince Vsevolod Mstislavich from Novgorod. If veche assemblies were held in Pskov synchronously with this event, their standing was incomparably lower than that of the Novgorod veche. Having provisionally concluded that not every assembly is a veche, there were singular issues discussed in the Pskov veche during the 15th century and during earlier times.

There are sixty-six mentions in the chronicle of veche meetings in the latter part of the fifteenth century. The veche fulfilled purely representative functions, approving the transfer of the “donation” to the prince, confirming the results of embassies, and appointing military leaders. In most cases, the veche apparently had no alternatives to choose from. In all the cases mentioned, the reports made by ambassadors were formal in which the members of the veche were informed about the decree of the suzerain, the grand prince of Moscow. The decision to grant a “donation” to the descendants of Alexander Nevsky also did not break with Pskovian custom. Only with the appointment of military leaders can the hypothesis be made that there were alternative candidates to choose from, but there is no evidence that this was the case. There are, however, reports of harsh political struggles in which the veche found itself entangled. In the late summer of 1462, Prince Vladimir Andreevich was not permitted to assume the princely throne: “The ignorant Pskovians, evil people, pushed him off the rostrum [*stepen*]” [Псковские летописи, 1955, с. 150]. In this case, the rostrum in question is obviously the rostrum at the veche.

The veche and its decisions played no small role in the events in Pskov of 1483–1486. On June 13, 1484, the *posadnik* Gavriil was killed “by all of Pskov at the veche”: apparently, he had been accused of substituting a certain deed (*gramota*) without sanction from the city. In the winter of 1484–1485, an embassy of *posadniks* and *boyars* reported twice to the veche about the results of their trips to the grand prince. In the summer of 1485 (after Saint Peter’s Day), members of a third embassy (led by Ivan Agafonovich) communicated the grand prince’s reply to Pskovians at the veche: he ordered that a verdict against the *posadniks* be annulled and that certain peasants be freed.

To resolve a conflict, *posadniks* participated in a fourth embassy to Moscow, and they also reported back to the veche. Finally, participants of a fifth embassy to Moscow, in a case involving peasants, reported back to the veche on July 8, 1486. In the chronicle, entries on the events of 1483–1486, show that opposition exists between two groups: on the one hand, the *posadniks*, *boyars*, and *zhit’i liudi* (a kind of proto-middle class), and on the other, the *chernie molodshie liudi*, the “black younger people”, or the

city's lower class [Псковские летописи, 1941, с. 62, 79, 80; 1955, с. 65, 69]. As Yuri Alexeev has rightly noted, "The 'black people' [lower class] retained the right to participate in the veche assembly; what is more, they apparently constituted the main contingent at the assembly" [Алексеев, с. 269].

Taken together with the above mentioned facts, Y. Granberg concludes that the veche assembly was an ordinary gathering of the city residents – of the city community – and it did not possess the features of a political institution [Гранберг, с. 3–149]. Yet Y. Granberg did not investigate all the veche's appearances in the written sources. One of the deeds published by L. M. Marasimova escaped his attention. The deed dates back to the end of the 15th century and indicates the Trinity Cathedral community's release from paying taxes. The document unambiguously testifies to the active role of the veche in solving problems of landowning and taxpaying. This decision to free the community from paying taxes was approved by the Pskov veche [Марасинова, с. 72]. One more document confirming that the veche in Pskov was a political institution is a letter of grant of 1308–1312, which was also given by the will of Master Grand Pskov at the veche assembly. Importantly, when did the veche achieve this institutional character?

Extrapolating conclusions about the veche's functions in the latter half of the fifteenth century to an earlier period, it is possible to see its involvement with the first foreign treaty known from the chronicles: a mutual assistance treaty with Riga that Pskov concluded in 1228 [Новгородская первая летопись, с. 66]. Despite the fact that the sources mention no corresponding decision on the part of the veche, the Pskov diplomats, who concluded the treaty, would have had to *poslovat' posol'stvo*, that is, report on the results of their mission, to the veche. Perhaps it is unfounded to hold the assumption that the veche emerged at a very late period in Pskov?

Comparing veche-based governance in Pskov with that in Novgorod, a phenomenon exists which is difficult to explain at first glance. As Yanin has shown, the integral feature of Novgorodian statehood was federalism. Novgorod arose as a federation of settlements and developed in the fourteenth and fifteenth centuries as a political entity by means of compromises and conflicts between boyars from its various boroughs or "ends," which had grown out of these tribal settlements. With the exception of the latter Zagorodsky borough, which was artificially created in the 1290s to double the representation of boyars from the Liudin borough in the city collective governance bodies, the other districts in Novgorod arose early on and had acquired their final shape by the eleventh century at the latest. The borders of Novgorod's boroughs remained unchanged throughout the fourteenth and fifteenth centuries. The boyars in the Novgorod boroughs represented clans that were united by kinship ties and engaged in an intense struggle for power [Янин, 2008, с. 160–162].

In contrast, there does not appear to be independent political action on the part of Pskov's boroughs. Known Pskov *posadniki* cannot be confidently assigned to one or another borough, and there is no record in the sources of conflicts between the boroughs. The existence of the

boroughs is recorded for the first time in the chronicles in the mid-14th century, which gives the impression that they were artificially created on the site of a single urban entity. Their configuration also testifies to this fact. They extended in a radius from the walls of Dovmont's Town (the citadel) to the Pskov posad (i.e., the settled area outside the city's Kremlin). Their brief existence demonstrates the same. As early as the fifteenth century, these boroughs, which were essentially blocks separated from one another by city streets, gave way to compact city districts, which sometimes retained the word borough (*konets*) in their names: Sredny Gorod, Petrovsky Konets, Polonissky Konets, Bogoyavlensky Konets and Kuzmodemiansky Konets (which merged into Zapskovsky Konets), and Zavelitsky Konets, which is only sporadically mentioned in the sources.

Judging by later sources from the latter half of the sixteenth century, each borough had an elected administration, an institution that received a new lease on life after the *zemskaia* (land) reform of Ivan the Terrible. In spite of its essentially fiscal functions, the *zemskaia* administration, in the persons of the borough elders (*konchanskie starosti*), money collectors, and clerks (*d'iachki*), clearly inherited certain qualities from the borough administrations of the republican period [Аракчеев, 2006, с. 3–11]. But if the Pskov boroughs arose only in the process of territorial expansion, then they would have had their origins not in federalism but in monocentrism, which would have been conceivable in two cases: if a strong monarchical authority was present, or if the city was controlled from elsewhere. Since the Pskov princes did not show autocratic tendencies, then it appears that Pskov's veche-based statehood developed under Novgorod's direct influence right up until the mid-fourteenth century. This means that the forms in which popular public activity were manifested before the early thirteenth century could not be interpreted as state assemblies because only the veche in the capital city, Novgorod, had this status.

In his work A. E. Musin shows that his stance on the essence of the Pskov veche approaches Y. Grinberg's definition. Musin introduces the notion of "non-institutionalized democracy", implying that the city community is empowered to govern, whereas the source of this power, the veche, was not its institution [Мусин, с. 315–317]. Neither the notion of "non-institutionalized democracy" nor its grounds can be accepted due to an array of reasons. The concept of "institution" for historians means any long-operating establishment or phenomenon. In this respect historians of law say, for instance, that blood revenge represents an institution of a customary law. The Pskov veche, then, whose activity was reflected in documents marking its decisions and appearing on the pages of chronicles, undoubtedly possessed the features of the state institution.

Arguably then the entry for 1228 in the Novgorod First Chronicle records at the very least the Pskov veche's first step towards its transformation into an organ of the city-state's sovereign authority. This step did not in any way signify that Pskov had achieved its independence, which could not simply have been declared but would have been obtained only after its recognition by

the metropole. Relations between Pskov and Novgorod passed down a long and difficult road between 1228–1348, which included periods both of local separatism and of recognition of either the sovereignty of Novgorod or the great princes over Pskov. The first period of self-proclaimed independence was 1228–1242, when Pskov attempted to pursue an independent policy, which ended with its temporary annexation by the Livonian Order.

After the victorious battle of April 5, 1242 (the so-called Battle of the Ice), Pskov once again pronounced its fealty to the great prince and to Novgorod, as witnessed by a reference in the chronicle to an agreement declared by Alexander to the city's authorities [Псковские летописи, 1955, с. 21]. Pskov's political subordination to Novgorod was reflected in foreign policy when, in May 1269, representatives of the metropole concluded a peace with the Livonian Order, *na vsei voli novgorodskoi*, agreeing upon terms dictated by Novgorod [Новгородская первая летопись, с. 87]. A second armed conflict (*razmir'e*) with Novgorod and the great prince, between 1328–1329, ended with the peace treaty signed in Opoki [Новгородская первая летопись, с. 99]. On May 27, 1341, Pskov invited the Lithuanian Grand Duke Algirdas to reign; according to the chronicle, the Pskovians had "betrayed themselves" (*predashasia*) to Lithuania [Ibid., с. 354]. The Bolotov Treaty (which scholars variously date between 1329 and 1342) finally defined Pskov's claims to sovereignty, which were confirmed by the Novgorodians. They agreed that in Pskov *posadniki* from Novgorod would no longer be appointed or have judicial powers there, that the local ecclesiastical court would be administered by a representative of Pskov, and that Pskovians would not have to appear in court at a summons from Novgorod bureaucrats [Полное собрание русских летописей, 2000, с. 278].

The claim about Pskov's independence from Novgorod between the late fourteenth and early sixteenth centuries largely has not been questioned by historians. The only exception is V. A. Burov, who writes: "The term 'independence,' as used by historians, does not always reflect the essence of the phenomenon. It implies an anachronism; it modernizes medieval societal relations. The Pskov Land was independent only in terms of self-administration. But it was never independent from Novgorod. Novgorod and Pskov demonstrate a special type of vassalage in Eastern Europe in which city-states led by princes played the roles of vassal and suzerain. Precisely for this reason, in the text of the 1471 treaty between Novgorod and Casimir it is noted that in Pskov there existed 'the court and the seal and the lands of Novgorod the Great [...] in accordance with tradition.' If Pskov were completely independent, the document would not have mentioned this at all" [Буров, с. 141]. Yanin has responded to Burov's argument by noting that the court and lands of Novgorod the Great, cited in the treaty, belonged to the archbishop of Novgorod [Янин, 1993, с. 220]. However, Burov countered that the treaty of 1471 mentions the court, the seal, and the lands of *Novgorod*, not those of the archbishop [Буров, с. 142].

Does this mean that Pskov was never really an independent state, or that it possessed only the rights of self-administration within the Novgorod

federation? What kind of state can be considered sovereign? What are the criteria of independence? Harold J. Berman writes that European cities of the eleventh and twelfth centuries were “modern states” when they had “full legislative, executive, and judicial power and authority, including the power and authority to impose taxes, coin money, establish weights and measures, raise armies, conclude alliances, and make war” [Berman, p. 395].

Berman's definition can be used to elucidate whether or not Pskov possessed aspects of sovereignty. The first criterion of independence is the enactment of laws by sovereign state institutions. The law code of medieval Pskov – the Pskov Judicial Charter (*Pskovskaia Sudnaia Gramota*) – developed over a long period and did indeed begin with a princely decree (*pozhalovanie*) by the Great Prince Alexander. But in the mid-thirteenth century Pskov was still part of the Novgorod Republic, and naturally the sovereign ruler of Northern Russia, Alexander Nevsky, promulgated a document to the Pskovians dealing with the prerogatives of the princely law court. However, both the Pskov Judicial Charter's first redaction, of 1397, and its last redaction, of 1460, were ratified at the *veche*, as was unambiguously declared in the preamble, and this is doubtless a sign of the sovereignty of the republican authority, the Pskov *veche*. As Berman writes, this “systematization of ordinances and laws by the governing bodies of the city or town” reflects “the system of urban law[s] capacity for growth <...> its tendency <...> to develop continuously and organically” [Berman, p. 397].

A second criterion of independence is an empowered position to set taxes. And there exists a document demonstrating the right of the Pskov *veche* to set taxes or not set them: the deed at the end of the 15th century that freed Trinity Cathedral community from taxes [Марасинова, с. 72]. The third criterion, minting, is satisfied when Pskov started making coins in 1425 [Псковские летописи, 1955, с. 39]. The image of prince Dovmont-Timophei analogous to the image on the Pskov stamps of 1424/25 and 1468/69, was coined on the Pskov money [Белецкий, с. 330]. The prince's presence on the stamps and on the coins undoubtedly shows that the residents of Pskov recognized them as representing their state's independence. The fourth and the fifth criteria include summoning troops, forming alliances and declaring wars. These have been demonstrated and are well-known.

In addition to Berman's criterion of independence, there exists also the right to use state seals when handling documents. The fact that Pskov used republican seals to ratify international treaties also supports the claim of Pskov's sovereignty. Moreover, the lead seals of the Pskovian state have been preserved, and just like the corresponding articles in the Pskov Judicial Charter, they demonstrate that the republic's state institutions had equal jurisdiction. Article 50, which established the equal legal force of the princely and Troitsky (that is, the *veche*'s) seals, states: “And the prince's scribe takes [as his fee] for writing up a summons, or a default judgment charter, or a bailiff's document what the litigant is able to pay; if he wants more than [the litigant] can pay, then [the litigant] is free to have someone else write up [the document], and the prince is to affix his

seal; if the prince will not affix his seal, then obtain the seal at the [Pskov archives in the] Holy Trinity Cathedral, and there is no irregularity in this procedure" [Российское законодательство, с. 336]. These criteria taken together show that the Pskov republic was a sovereign state between 1340 – 1510. The only area in which Pskov partially relinquishes its sovereign rights is forming alliances; from 1468 alliances were supported by Moscow.

Perhaps the most complicated question (as mentioned in the 1471 treaty between Novgorod and Casimir) is that of "the court and the seal and the lands of Novgorod the Great". Burov persuasively counters that this fragment refers only to the prerogatives of the Novgorod archbishop in Pskov. As we know, beginning in the mid-14th century the archbishop of Novgorod was represented in Pskov by his deputy, whose prerogatives were limited to the ecclesiastical law court. He thus used a seal derived from the archbishop's seal in his work. However, information about lands in Pskov under the archbishop's jurisdiction is missing; nevertheless, the text of the treaty provides some details on the origin and nature of the lands in question.

The article about Pskov in the treaty is part of a fragment in which the first and last sentences deal with relations with the great prince of Moscow:

In [the town of] Torzhok your deputy [*tiun*, the deputy of the Lithuanian grand duke] is to judge in court [along] with the Novgorod posadnik, and in Volok [Volokolamsk] as well, in accordance with Novgorod court [customs], and the fees, [for] the wergild and wager by battle, [are to be imposed] in accordance with Novgorod court [customs]. And [the rights] to the court and the seal and the lands of Novgorod the Great in Pskov will be returned to Novgorod the Great, in accordance with tradition. If you, honest lord and king [the Lithuanian grand duke], compel the [Moscow] great prince to make peace with Novgorod, then you, honest king, are to have the right to exact the *cherny bor* [a special tax] from the Novgorod lands [*volosti*], in accordance with tradition and the old deeds, once, but in other years [in future] [the tax] will not be required [Грамоты, с. 132].

This fragment demonstrates a well-known feature of medieval contracts and agreements: the sequential assertion of identical problems via the articles of such agreements. Insofar as Torzhok and Volok had been under the joint jurisdiction of the grand prince of Vladimir and the republican authorities since the thirteenth century, Casimir's desire to maintain his own representatives encroaches on Moscow's prerogatives. The right to exact the *cherny bor* from the Novgorod lands also belonged to Moscow, and Casimir obviously wanted to redirect the tribute to his own advantage. Consequently, if the treaty states that the court, the seal, and the lands of Pskov should revert to Novgorod in "accordance with tradition" (*po starine*), requital on a third party, i.e., Moscow, is implied here as well.

Assuming that the Novgorodian lands in Pskov had some connection with the rights of the great princes, then we should ask what sort of court, seal, and lands Moscow might control in Pskov in 1471. The court at this

time was under the control of the princely deputies, and the state seal of Pskov was the “seal of the Pskov [patrimonial] lands of the Moscow great prince” (*pechat’ pskovskaia votchini velikogo kniazia moskovskogo*) of 1468/69 [Белецкий, с. 330–331]. At this time, the lands were the former state lands of Novgorod, from which the Pskovians collected taxes to finance military expenditures as late as 1464. The status of these lands is shown by the well-known “dispute over peasants” (*brani o smerdah*). Whereas in 1464 the Pskovians had tried to vindicate themselves before the archbishop for not sending the tribute, in 1483–1486 the grand prince of Moscow unceremoniously interfered in the process of exacting tribute from the Pskovian peasants. Apparently, during an undetermined period from 1464 until 1471, the right to control these lands, including use of the tribute exacted from the peasants, passed to the grand prince.

So what goals were Novgorod and Casimir pursuing vis-à-vis Pskov? Moscow princely deputies with judicial authority appeared in Pskov in 1399. This means that the return to the previous order of the fourteenth century implied certain prerogatives for the Novgorod law court in Pskov and that the status of the princes was that of “service” (*sluzhilyi*) princes, like the Koporyean princes in Novgorod. The concept of the patrimonial (*votchina*) lands of the grand prince was applied in relation to Pskov beginning with the treaty of 1417, although a corresponding seal exists only from 1468/69 on. A return to the previous regime of seals would have meant a return to the “pre-patrimonial” seal, which at very least symbolized Novgorod’s partial sovereignty over Pskov.

What category of seals could correspond to this status? In the attribution of seals to Pskov’s state institutions undertaken by S. V. Beletsky, there is a significant gap [Белецкий, с. 327–339]. It is completely unclear what seals might have been used in Pskov during its existence as part of the Novgorod Republic, which might have symbolized the idea of Novgorod’s sovereignty over Pskov. A return to the previous order in land ownership could have meant that the former Novgorod lands were removed from the control of the Moscow princely deputies and returned to the management of deputies from the Novgorod Republic. Thus, the court, seal, and lands of Novgorod the Great, as mentioned in the draft of the 1471 treaty between Novgorod and Casimir, do not indicate Pskov’s dependence on Novgorod, as Burov claims. On the contrary, Novgorod’s dominant position in Pskov “according to tradition” had been lost irretrievably by that time, and the Novgorod Republic attempted to re seize this dominance.

Proof of Pskov’s independence from Novgorod during the late 14th and early 15th centuries does not resolve one other issue that confronts research on the republic’s sovereignty: its relationship with and degree of dependence on the great prince of Moscow. Beletsky argues that from 1468 to 1510 Pskov was “a protectorate of the Great Prince Ivan III Vaslievich” [Белецкий, с. 327]. The term “protectorate,” which emerged in seventeenth-century England and was employed actively during the colonial age, contains connotations that detract from its usefulness in describing the

realities of the medieval age. Moreover, the term implies that the metropole is responsible for the foreign relations and defense of the dependent territory. In the late fifteenth and early sixteenth centuries, Pskov relied on the support of the great prince of Moscow when it needed defence against the Livonian Order, but the conclusion of treaties with the Order, which were implemented “according to the will of the tsar and sovereign of all Russia,” were the prerogative of the Pskov magistrates [Казакова, с. 91].

A comparison of Pskov with the cities of Western Europe during the fourteenth and fifteenth centuries shows that its status more closely resembles cities of the Hanseatic League, which include Rostock, which was under the jurisdiction of the Mecklenburg dukes, although “all economic, administrative, and political power was in the hands of the magistrate” [По-даляк, с. 66]. At the same time, Pskov’s status cannot be compared to that of the city-states of Northern Italy, which were in the process of liberating themselves from the power of feudal overlords.

Алексеев Ю. Г. «Черные люди» Новгорода и Пскова: к вопросу о социальной эволюции древнерусской городской общины // Исторические записки. 1979. Т. 103. С. 242–274. [Alekseev Yu. G. «Chernye lyudi» Novgoroda i Pskova: k voprosu o sotsial'noj evolyutsii drevnerusskoy gorodskoj obschiny // Istoricheskie zapiski. 1979. T. 103. S. 242–274.]

Аракчеев В. А. Средневековый Псков: власть, общество, повседневная жизнь в XV–XVII вв. Псков, 2004. [Arakcheev V. A. Srednevekovyj Pskov: vlast', obshchestvo, povsednevnyaya zhizn' v XV–XVII vv. Pskov, 2004.]

Аракчеев В. А. Земская реформа XVI в.: общероссийские тенденции и региональные особенности // Отечественная история. 2006. № 4. С. 3–11. [V. A. Zemskaya reforma XVI v.: obscherossijskie tendentsii i regional'nye osobennosti // Otechestvennaya istoriya. 2006. N 4. S. 3–11.]

Бассалыго Л. А. Новгородские тысяцкие // Новгородский исторический сборник. Вып. 11(21). С. 33–67. СПб., 2008. [Bassalygo L. A. Novgorodskie tysyatskie // Novgorodskij istoricheskij sbornik. Vyp. 11(21). S. 33–67. SPb., 2008.]

Белецкий С. В. Сфрагистика / Специальные исторические дисциплины. СПб., 2003. С. 248–367. [Beletskij S. V. Sfragistika / Spetsial'nye istoricheskie distsipliny. SPb., 2003. S. 248–367.]

Буров В. А. Очерки истории и археологии средневекового Новгорода. М., 1994. [Burov V. A. Ocherki istorii i arkheologii srednevekovogo Novgoroda. M., 1994.]

Валеров А. В. Новгород и Псков : очерки политической истории XI–XIV вв. СПб., 2004. [Valerov A. V. Novgorod i Pskov : ocherki politicheskoy istorii XI–XIV vv. SPb., 2004.]

Гиппиус А. А. К истории сложения текста Новгородской первой летописи // Новгородский исторический сборник. Вып. 6(16), с. 3–72. СПб., 1997. [Gippius A. A. K istorii slozheniya teksta Novgorodskoj pervoj letopisi // Novgorodskij istoricheskij sbornik. Vyp. 6(16), s. 3–72. SPb., 1997.]

Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л., 1949. [Gramoty Velikogo Novgoroda i Pskova. M. ; L., 1949.]

Гранберг Ю. Вече в древнерусских письменных источниках: функции и терминология // Древнейшие государства Восточной Европы. 2004. Политические институты Древней Руси. М., 2006. С. 3–149. [Granberg Yu. Vechе v drevnerusskikh pis'mennykh istochnikakh: funktsii i terminologiya // Drevnejshie gosudarstva Vostochnoj Evropy. 2004. Politicheskie instituty Drevnej Rusi. M., 2006. S. 3–149.]

Казакова Н. А. Договор Пскова с Ливонией 1509 г. // Вопросы истории. 1983. № 1. С. 90–100. [Kazakova N. A. Dogovor Pskova s Livonij 1509 g. // Voprosy istorii. 1983. N 1. S. 90–100.]

Марасинова Л. М. Новые псковские грамоты XIV–XV вв. М., 1966. [Marasina L. M. Novye pskovskie gramoty XIV–XV vv. M., 1966.]

- Мусин А. Т. Церковь и горожане средневекового Пскова. СПб., 2010. [Musin A. T. Tserkov' i gorozhane srednevekovogo Pskova. SPb., 2010.]
- Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950. [Novgorodskaya pervaya letopis' starshego i mladshego izvodov. M.; L., 1950.]
- Подальск Н. Г. Ростокская соборная распра 1487–1491 гг. / Средние века. Вып. 52. С. 55–75. М., 1989. [Podalyak N. G. Rostokskaya sobornaya raspriya 1487–1491 gg. / Srednie veka. Vyp. 52. S. 55–75. M., 1989.]
- Полное собрание русских летописей. Т. 4, ч. 1. М.; СПб., 2000. [Polnoe sobranie russkikh letopisej. T. 4, ch. 1. M.; SPb., 2000.]
- Полное собрание русских летописей. Т. 2. М.; СПб., 2001. [Polnoe sobranie russkikh letopisej. T. 2. M.; SPb., 2001.]
- Псковские летописи, Вып. 1. М., 1941. [Pskovskie letopisi, Vyp. 1. M., 1941.]
- Псковские летописи. Вып. 2. М., 1955. [Pskovskie letopisi. Vyp. 2. M., 1955.]
- Российское законодательство. Т. 1. М., 1984. [Rossijskoe zakonodatel'stvo. T. 1. M., 1984.]
- Сестан Э. Итальянские города в XIV–XV вв. // Россия и Италия. М., 1972. С. 9–40. [Sestan E. Ital'yanskie goroda v XIV–XV vv. // Rossiya i Italiya. M., 1972. S. 9–40.]
- Флоря Б. Н. Купеческая организация в средневековом Пскове // Восточная Европа в средневековье: к 80-летию В.В. Седова. С. 52–55. М., 2004. [Florya B. N. Kupecheskaya organizatsiya v srednevekovom Pskove // Vostochnaya Evropa v srednevekov'e: k 80-letiyu V.V. Sedova. S. 52–55. M., 2004.]
- Янин В. Л. Письмо в редакцию // Отечественная история. 1993. № 6. С. 220. [Yanin V. L. Pis'mo v redaktsiyu // Otechestvennaya istoriya. 1993. N 6. S. 220.]
- Янин В. Л. Актовые печати Древней Руси X–XV вв. Т. 3. М., 1998a. [Yanin V. L. Aktovye pechati Drevnej Rusi X–XV vv. T. 3. M., 1998a.]
- Янин В. Л. Новгород и Литва: пограничные ситуации XIII–XV вв. М., 1998b. [Yanin V. L. Novgorod i Litva: pogranichnye situatsii XIII–XV vv. M., 1998b.]
- Янин В. Л. Очерки истории средневекового Новгорода. М., 2008. [Yanin V. L. Ocherki istorii srednevekovogo Novgoroda. M., 2008.]
- Berman Harold. Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition. Cambridge, 1983.
- Grabmuller H.-J. Die Pskover Chroniken. Wiesbaden, 1975.
- Langer Lawrence. The Posadnichestvo of Pskov: Some Aspects of Urban Administration in Medieval Russia // Slavic Review. 1984. Vol. 43, № 1. P. 46–62.

Целью работы является исследование социально-политической организации Псковской вечевой республики в XIII–XV вв. В статье представлен анализ изменений в персональном составе и компетенции псковских князей, изучены полномочия и состав княжеской администрации. Показана эволюция сотенной организации, ее трансформация из княжеской в республиканскую. Обнаружены существенные отличия Пскова от Новгорода в сфере контроля над торговлей; определено место купеческого старосты в системе органов республиканской власти. Приведены аргументы в пользу точки зрения о функционировании псковского веча как государственного института, сформировавшегося в ходе борьбы Пскова за независимость в XIII в. Принятие на вече документов о налогообложении свидетельствует о вполне институциональном характере органов власти Псковской республики. В статье продолжена дискуссия о критериях независимости Пскова. В соответствии с концепцией независимости европейских городов XI–XII вв., сформулированной Г. Дж. Берманом, выделены основные критерии суверенитета Пскова. Псков обладал правом издавать

и дополнять собственные законы; Псковская судная грамота возникла на основе княжеских уставных грамот, но в дальнейшем редактировалась на вече. Псков устанавливал свои налоги, а вече обладало правом освобождать от налогов отдельные группы землевладельцев. Несомненно свидетельствует о суверенитете Пскова находившееся в безусловном ведении республики право военной мобилизации, объявления войны и заключения мира. Наконец, суверенитет Пскова декларировался в символике монет и печатей, использовавшихся Псковской республикой. Сумма фактов свидетельствует о принципиальной применимости критериев суверенитета средневековых городов Европы к социально-политическим реалиям Пскова.

Ключевые слова: князь; Псковская республика; суверенитет; конец; староста; представительство; магистрат; посадник.

Vladimir Arakcheev (Владимир Анатольевич Аракчеев), prof.,
Russia, Yekaterinburg
Ural Federal University
arakk@rambler.ru

**«ВОЛЬНОСТЬ, ДАР БЕСЦЕННЫЙ»:
О ФОРМИРОВАНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
КОНЦЕПЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ
В РОССИИ КОНЦА XVIII в.***

The article analyzes the elements of classical republicanism in the key texts of the late period of Catherine the Great's Russia: *A Journey from St. Petersburg to Moscow* by Alexander Radishchev and *Vadim of Novgorod* by Yakov Knyazhnin. The major elements of the republican style in both texts are the figures of Cato and Brutus, the recognition of the military power of republics, the apology of struggle against tyranny and of heroic suicide. This style of political reasoning contributes to the formation, in the texts by Radishchev and Knyazhnin, of a new republican concept of political liberty conceived as a specific manner of public behavior and the rejection of potential arbitrary rule.

Key words: Alexander Radishchev; Yakov Knyazhnin; Brutus; Cato; republicanism.

Историографическая традиция, восходящая к началу XIX в., давно и прочно связывает два «вольнлюбивых» текста, оказавшихся своеобразным вызовом поздней екатерининской монархии: «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева и «Вадим Новгородский» Я. Б. Княжнина. Важнейшую роль для установления прочной связи между этими текстами в сознании младших современников сыграли гонения, которым подверглись оба текста. Но действительно ли эти тексты столь радикальны?

Конечно же между текстами Радищева и Княжнина существуют глубокие различия (начиная с жанровых); вряд ли можно говорить и о том, что авторы разделяли единую идеологическую позицию или стремились поддержать сходные политические аргументы. Речь, таким образом, идет не о теории или доктрине о языке, стиле, манере говорить на темы, связанные с политикой. По моему мнению, и Радищев, и Княжнин использовали такую манеру говорить о политике, которая действительно позволяет связать «Путешествие...» и «Вадима Новгородского» не только как жертвы страха императрицы перед французской революцией, но и считать их новаторскими текстами для отечественной политической культуры, обозначившими «момент рождения» на российской почве

классического республиканизма¹. Ниже указаны важнейшие элементы этого республиканского стиля, которые характерны и для Радищева, и для Княжнина.

Брут и Катон

Безусловно, обращения к античным образам и темам были для отечественной культуры XVIII в. «общим местом» [см.: Кнабе; Любжин]. Более того, примеры из республиканских историй (Рим, Спарта, Афины) успешно играли роль как образцы для подражания в монархиях и оказывали сильное влияние (прежде всего через французскую драматургию XVII в.) на российских литераторов. Американский исследователь Д. Гриффитс имел все основания характеризовать Екатерину II как «императрицу-республиканку» [Гриффитс, с. 61–101], хотя в данном случае под «республиканством» скрывается преимущественно интерес к примерам из доблестных биографий древних.

В каноне античных биографий особняком стоит героическая традиция тираноборчества. В нее входит целый ряд ярких фигур (от Гармодия и Аристокитона до Диона), но наиболее влиятельными следует считать образы эпохи кризиса и падения Римской республики – Марка Катона Младшего и Марка Брута. Настроенные монархически авторы зачастую рисовали их в негативном ключе (достаточно вспомнить, что в «Божественной комедии» Люцифер в центре преисподней терзает Иуду Искарриота – предателя Христа, а также Брута и Кассия – убийц Цезаря), хотя сами по себе обращения к образам Катона и Брута, конечно, не позволяют делать однозначных выводов о настроениях авторов².

¹ Традиция выделения этого интеллектуального течения и его последующего изучения связана с трудами Х. Арендт, Х. Барона, Дж. Покока, Кв. Скиннера и ряда других влиятельных мыслителей и историков. В настоящее время существует обширная библиография о «классическом республиканизме», идут дебаты о содержании термина. В статье используется общая характеристика: традиция республиканизма простирается от Аристотеля, Полибия и Цицерона – через Макиавелли и итальянских гуманистов, английских и нидерландских республиканцев – к американским отцам-основателям, прежде всего Джефферсону. Республиканизм предполагает концепцию *vita activa*, публичную реализацию идеалов гражданских добродетелей и политическую свободу, понятую как «отсутствие возможности угнетения». Скиннер упрекает Арендт и Покока в том, что их трактовка «республиканизма» опирается на понятие позитивной свободы в духе Аристотеля, тогда как истинные республиканцы, по мнению Скиннера, придерживались понятия негативной свободы, восходящего к римскому праву. Однако в контексте данной статьи это различие несущественно; в целом же придерживаюсь именно того взгляда, который Скиннер критикует (см. содержательный анализ этой традиции: [Что такое республиканская традиция]).

² Так, Ф. Мойсенков, переведший на русский язык в 1774 г. историческое сочинение Веллея Патеркула, в предисловии называл Катона «божественным»: «Он [Патеркул] не стыдится теми же красками описывать божественного Катона и ту Ливию, кою история по правде попрекает в честолюбии, коварстве и презрении благопристойности своего пола» [Любжин, с. 164]. Позитивный образ Катона формировала,

В «Вадиме Новгородском» Княжнин (пресловутая «переимчивость» которого одновременно является залогом прекрасного знакомства с европейской традицией) творчески переосмыслил классический сюжет о противостоянии Катона и Цезаря и поместил его в российский исторический контекст. Рурику (Цезарю) – царю описываемого Княжнинным древнего Новгорода, противостоит Вадим (Катон), принципиально отрицающий саму возможность примирения с царем и воодушевляющий последних защитников «вольности». Связь образов Рурика и Вадима с античными прототипами представляется довольно-таки очевидной. Это понимали и современники: так, А. Ф. Воейков соотносил главных действующих лиц с Брутом и Цезарем [Кулакова, с. 734].

Действительно, Вадим следует модели действия Катона в Утике и, в еще большей степени, — Брута под Филиппами (самоубийство Брута также последовало за военным поражением). Правда, Вадим, в отличие от Катона, вовсе не увлекается философией (и аддисоновский Катон, и шекспировский Брут в полном соответствии с канонам предстают философами) и куда более жесток к своим родным и близким (в этом смысле он больше похож на другого – мифического – Брута, изгнавшего из Рима Тарквиния Гордого и считавшегося предком убийцы Цезаря).

К этим римским образам обращается и Радищев. В «Путешествии» крестичский дворянин использует рассуждения Катона (чтобы быть точным, со ссылкой на Аддисона) для наставлений детям. А в оде «Вольность» рядом с Брутом фигурирует Вильгельм Телль — ключевая фигура в республиканской истории Швейцарии.

Военная мощь республики

Не менее важной является новация в переоценке военной мощи республик. Восхищение республиканскими военными успехами древних, такими как Марафон или Фермопилы, было общим местом в российской культуре XVIII в. Различие проявляется при выходе за пределы античного контекста — при обращении к таким, например, сюжетам, как войны Швейцарии, Соединенных Провинций или Англии времен республики.

Используя классические аналогии, Княжнин решительно порывает с традиционным для российского XVIII в. восприятием республик

например, поэма Лукана «Фарсалия», хорошо известная в России XVIII в., и трагедия Дж. Аддисона «Катон» (1717), не говоря уже о множестве исторических сочинений. Бруту везло несколько меньше, хотя наряду с историческими текстами его позитивный образ появляется и в трагедиях Шекспира («Юлий Цезарь», 1599) и Вольтера («Смерть Цезаря», 1735). Первый позитивный образ Брута в тексте российского автора, известный нам, — сочувственное упоминание М. М. Щербатова об убийцах Цезаря в памфлете «О повреждении нравов в России» [Щербатов, с. 4].

как «малых тел», уступающих в военной мощи монархиям³. Новгород Вадима воинствен: это настоящая «республика мечей», и, конечно же, у Княжнина нет ни слова о новгородской торговле. Зато:

Вся сила Севера, пред оным бесполезна,
Его могущество, не знающе врагов,
Равняла в ужасе с могуществом богов.
[Княжнин, с. 251]

Вадим вспоминает о славе своего города, который покорял царей и сокрушал соседей:

Воззрим ли на поля — еще звучит там гром,
Которым готф сражен, дерзнув нам быть врагом.

Правление республиканского Новгорода – вполне «римское», оно изобилует отсылками к классическим текстам. Так, Вадим, вернувшийся из военного похода, восклицает при виде города:

И се те славные, священные чертоги,
Вельможи наши где велики, будто боги,
Но ровны завсегда и меньшим из граждан,
Ограды твердые свободы здешних стран,
Народа именем, который почитали,
Трепещущим царям законы подавали.
[Там же]

Радищев, говоря о Новгороде, упоминает торговлю как причину его возвышения. Однако и он также говорит о военной мощи Новгорода: «Сказывают, что все сии монастыри, даже и на пятнатцать верст расстоянием от города находящиеся, заключались в оном; что из стен его могло выходить до ста тысяч войска. <...> Старинная речь; кто может стать против бога и великаго Новагорода, служить может доказательством его могущества» [Радищев, 1941а, с. 262–263].

Равным образом и в оде «Вольность» знаменитая похвала «вождю свободы» Вашингтону подчеркивает военное преимущество республики над монархий. Более того, Радищев противопоставляет войско

³ Подобное представление разделяли, например, Феофан Прокопович и В. Н. Татищев. Влияние этой, монархической традиции ощутимо в историографии до сих пор. Так, Д. Гриффитс, характеризуя Екатерину II как «республиканку», отмечает, говоря о господствовавшем в XVIII в. представлении о республике: «Среди атрибутов республиканского правления – поглощенность заботами о благополучии граждан, поощрение торговли, мореплавания и производства за счет ослабления средневековых ограничений, благородная политика толерантности и защиты различных взглядов и убеждений. <...> Если говорить в целом, считалось, что республика ориентировалась на торговлю, ей была присуща социальная терпимость, но в то же время и консерватизм» [Гриффитс, с. 79].

свободного государства наемной профессиональной армии⁴. Республика способна добиться военного успеха, причем это касается не только экстраординарного случая Древнего Рима, но и прецедентов российской истории (Новгородская республика), а также современности (Соединенные Штаты).

Гражданская бдительность

Поскольку республика является могущественной и воинственной, угроза для нее исходит не столько извне, сколько изнутри. Трансформация социального порядка происходит под влиянием коррупции социального строя, в ходе которой фундаментальные добродетели оказываются отринуты и под маской гражданского покоя к власти приходит тиран. Страх перед замаскированной тиранией является одной из ключевых тем для республиканской традиции, культивирующей гражданскую бдительность.

Так, «вольность» в текстах Радищева всегда «тревожная», она существует в контексте борьбы света со мглой, истины с обманом. Но борьба предпочтительнее дремотного рабства: «И вы желаете лучше тишину и с нею томление и скорбь, нежели тревогу и с нею здравие и мужество. Молчите скаредные учителя, вы есте наемники мучительства; оно, проповедуя всегда мир и тишину, заключает засыпляемых лестию в оковы» [Радищев, 1941а, с. 299]. По мнению Радищева, «блаженство гражданское в различных видах представиться может. Блаженно государство, говорят, если в нем царствует тишина и устройство. Блаженно кажется, когда нивы в нем не пустеют и во градах гордые воздымаются здании. Блаженно, называют его, когда далеко простирает власть оружия своего и властвует оно вне себя, нетокмо силою своею, но и словом своим, над мнением других. Но все сии блаженства можно назвать внешними, мгновенными, преходящими, частными и мысленными» [Там же, с. 315].

Радищев отмечает: «Устройство на щет свободы столь же противно блаженству нашему, как и самые узы. – Сто невольников, пригвожденных ко скамьям карабля, веслами двигаемого в пути своем, живут в тишине и устройстве; но загляни в их сердце и душу. <...> И так да не ослепимся внешним спокойствием государства и его устройством, и для сих только причин да не почтем оное блаженным. Смотри всегда

⁴ Радищев был автором перевода сочинения Мабли «Observations sur les Grecs», где взгляд на военную мощь республик полностью соответствует классической традиции (речь идет о нашествии Ксеркса на Грецию), а взгляд на республики как на маленькие торговые государства решительно отвергается: «Мы не знаем, что такое есть покорение вольного народа. С тех пор, как монархия стала общее в Европе правление, где все подданные, а не граждане и где разумы равно от сребролюбия и сладострастия изнемогают; то война производится в землях, к повиновению обыкших и защищаемых наемниками. Самыя республики, нам предлежащая, представляют токмо толпу мещан, прилепленных ко гражданским упражнениям: отчаяние не родит уже там чудес, и мы не найдем народов, предпочитающих разрушение свое потере вольности» [Радищев, 1941б с. 245].

на сердца сограждан. Если в них найдешь спокойствие и мир, тогда сказать можешь воистину: се блаженны» [Радищев, 1941а, с. 316].

В княжнинском «Вадиме» речь одного из сторонников Вадима, Пренеста (явление IV), развивает аналогичную тему:

Дождемся ли и мы такой ужасной части,
Когда властитель наш, в своей спокоен власти,
Личину хитрости со горда сняв лица,
Явит чудовище под блесками венца?
Всечасно окружен свирепостью и страхом,
Подножья своего считать нас будет прахом
И, присвоая плод трудов несметных лет,
Отнимет всё у нас — и даже солнца свет.
[Княжнин, с. 271]

«Вольность» как гражданскую добродетель необходимо бдительно охранять. Пренест жалуется Вадиму на то, что сограждане устали от «гражданских распрей», что народу нравится «преlestная» власть царя:

И истинных сынов отечества сколь мало,
Которы, чувствуя грызуще рабства жало,
Стыдились б того, что в свете смертный есть,
В руках которого их вольность, жизнь и честь.
Коварством Рурика граждански слабы силы;
А воинством варяг наполнен град унылый.

И завершает обращение к новгородским «вельможам» призывом: «...Ваш великий дух на крае бездны дремлет! Проснитесь!..» Борьба предпочтительнее покоя — радикальность такого предположения для российского XVIII в. очевидна.

Тираноборчество

Итак, на авансцене появляется тиран, под видом мира и спокойствия насаждающий угнетение. Бдительность граждан, естественно, должна быть нацелена на борьбу с этим злом. Разумеется, проблема тираноборчества в европейской политической мысли обсуждалась в различных традициях, с использованием разнообразных глоссариев и аргументов [см.: Brincat]. Низвержение тиранов не было чем-то новым и для российской политической мысли XVIII в. Однако литературным тиранам российского XVIII в. «полагались» такие модели поведения, которые исключали у читателя или зрителя сомнения относительно того, кто перед ними. Новаторским же, в силу изложенных выше соображений о военной мощи республик и об опасности «покоя рабского», был подход, в рамках которого свержение государя

не зависело от его действительного поведения. И в «Путешествии», и в «Вадиме» возникает именно такой образ тирана, который приносит мир и спокойствие; вне зависимости от его личных качеств, такой властитель губелен для общества.

Знаменитый фрагмент из оды «Вольность» отсылает к одному из ключевых сюжетов тираноборчества в истории Европы:

Я чту, Кромвель, в тебе злодея,
Что власть в руке своей имея,
Ты твердь свободы сокрушил.
Но научил ты в род и роды,
Как могут мстить себя народы,
Ты Карла, на суде, казнил...
[Радищев, 1941а, с. 360]

Тираноборчество включает борьбу с тираном вооруженным путем. В оде «Вольность» Радищев сочувственно описывает свержение тирана восставшим народом. В свою очередь, и Княжнин вкладывает в уста Вадима речь, отсылающую к античному⁵ контексту:

Увы! когда уже здесь всё порабощено,
Здесь нет отечества — оно всё там вмещенно,
Герои наши где взносятся над судьбой,
Готовы умереть иль скиптр попать ногой.
[Княжнин, с. 258]

Например, образ Рурика у Княжнина резко отличается от традиционного образа тирана в художественной литературе российского XVIII в. Это справедливый и милосердный правитель, призванный волей новгородцев (в отличие от исторического Цезаря, взявшего власть силой) и готовый вернуть царский венец новгородскому народу [Княжнин, с. 299–300]. В этом существенное отличие княжнинского героя от большинства «сценических тиранов» екатерининской России, которые были «столь неприкрыто злобными, а их оппоненты – столь явно добродетельными, что правомочность восстания практически не требовала пояснений» [Wirtschaftfer, p. 166].

Впрочем, сама по себе дилемма свободы или смерти не была чем-то новым для российской литературы XVIII в. Так, например, многочисленные дворцовые перевороты, зачастую обосновывавшиеся защитой «законов» или «общего блага», не породили цельной доктрины сопротивления тиранам; в ходу оставалась рутинная мудрость: кого свергли,

⁵ Речь Вадима напоминает о логике Фемистокла, перед лицом врага призвавшего оставить родной город. На эту же логику, по словам Цицерона [Письма Марка Туллия Цицерона, письмо 303 Титу Помпонию Аттику в Рим], ссылался Гней Помпей, покидая Рим в борьбе с Цезарем. Хорошо известный российскому читателю Плутарх зафиксировал приведенный Цицероном образ в биографии Помпея.

тот и тиран, а определение свободы из «Духа законов» Монтескье, выдержанное в манере «либерализма страха» и продублированное Екатериной II в ее «Наказе», служило основанием для апологии абсолютной монархии [Бугров, с. 179–189]. Плохие государи дают о себе знать, и это касалось не только театральных тиранов; именно в таком духе Екатерина II постаралась переписать историю краткого царствования своего супруга Петра III. Подлинной новацией тираноборчество становилось, будучи связанным с концепцией героического самоубийства, логически вытекающей из сюжетов классических биографий Катона и Брута.

Героическое самоубийство

Современная исследовательница И. Паперно отмечает: «Смерть Катона представляет собой еще одну продуктивную и гибкую смысловую парадигму. В этом случае на первом плане ассоциация между самоубийством и идеей свободы. В прочтении Цицерона и Плутарха, смерть Катона, который покончил с собой в момент падения Римской республики, предпочтя смерть подчинению диктатуре Цезаря, является образцовым актом гражданского поведения» [Паперно, с. 15]. Однако за использованием концепта самоубийства стоит давняя интеллектуальная традиция, восходящая как раз к образам Катона и Брута и к концепции «героического самоубийства»⁶.

В «Путешествии» крестичкий дворянин напоминает своим детям о «слове умирающего Катона» (речь, по-видимому, идет о монологе, открывающем пятое действие трагедии Дж. Аддисона «Катон», хотя Радищев был скорее всего знаком и с первоисточником Аддисона – биографией Катона Младшего, принадлежащей Плутарху), после чего закликает их: «Если ненавистное щастие изтощит над тобою все стрелы свои, если добродетели твоей убежища на земли не останется, если доведенну до крайности не будет тебе покрова от угнетения; тогда вспомни, что ты человек, вспомни величество твое, восхити венец блаженства, его же отъяти у тебя тщатся. – Умри. <...> Но если во добродетели умрети можешь, умей умереть и в пороке, и будь, так сказать, добродетелен в самом зле... <...> Се сталь, се отравя. – Избавь меня скорьби; избавь землю поносныя тяжести. – Будь мой еще сын. – Умри на добродетель» [Радищев, 1941а, с. 295–296].

И у Княжнина в «Вадиме» тема самоубийства возникает с самого начала трагедии. Один из первых вопросов Вадима вельможам Вигору и Пренесту таков:

⁶ На важность концепта «героического самоубийства» в творчестве Радищева, и в частности на значимость образа Катона, указывал Ю. М. Лотман [Лотман с. 239–249]. Однако Лотман говорит в основном о влиянии на Радищева идей Руссо и Гельвеция и проблеме «материализма» российского мыслителя. Для статьи более важна связь античных образов «Путешествия» с классической республиканской традицией, которую Лотман не рассматривал.

Скажите, как вы, зря отечества паденье,
Могли минуто жизнь продлить на посрамленье?
И если не могли свободы сохранить —
Как можно свет терпеть и как желать вам жить?
[Княжнин, с. 254]

Для Вадима невозможна сама мысль о том, чтобы жить под властью монарха, даже если новгородский народ, утомленный внутренними распрями, искренне умоляет Рурика принять царский венец [см.: Там же, с. 300]. Невозможно согласиться с анализом С. Уиттакера, которая полагает, что «Княжнин изображает Вадима фанатиком и отцом-тираном... Рюрик, таким образом, является настоящим героем пьесы, а мятежник, который не смог поднять массы, оказывается деспотом; как мог бы он стать любящим отцом для своего народа, если он столь жестоко обошелся с собственной дочерью»? У Княжнина Вадим вовсе не стремится к царскому венцу (или к «отцовской власти» над народом) и не является конкурентом Рурика в борьбе за единоличную власть. Надо отметить, что низким и порочным властолюбцем Вадим предстает в трагедии П. А. Плавильщикова «Рюрик» (написана в 90-х гг. XVIII в., опубликована в 1816 г.), являющейся своего рода полемическим ответом на трагедию Княжнина: «Увидим, кто кого удачнее в коварстве, / Монарх иль раб его, алкающ быть на царстве?» [Плавильщиков, действие 4, явление 1]. Но княжнинский Вадим не таков. В начале второго действия трагедии Рамида, дочь Вадима, предполагает, что отец может завидовать славе Рурика, но весь последующий ход трагедии опровергает такое предположение.

Самоубийство, завершающее путь проигравшего тираноборца, полностью исключало возможность использования приема «кого свергли, тот и тиран», о котором упомянуто выше. Это и есть основание республиканской концепции политической свободы — манеры поведения, связанной с представлением о публичной добродетельной жизни.

Итак, и в «Путешествии» Радищева, и в «Вадиме» Княжнина политическая свобода – это не только отсутствие внешнего принуждения и насилия, но и манера публичного поведения, тесно связанная с политикой. Она связана с политической, публичной жизнью свободного города, и, чтобы уничтожить ее, вовсе не нужно настоящего насилия со стороны власти, достаточно лишь возникновения таких условий, в которых подобное насилие становится возможным (в «Путешествии» определение «вольности» из екатерининского «Наказа», на деле принадлежащее Монтескье [Радищев, 1941а, с. 354], упоминается с ироническим подтекстом). Монархия – господство одного – отвратительна не только при «злоупотреблениях самовластия», она всегда приносит «оковы позлащенные» [Радищев, 1938, с. 15].

Кроме того, героическое самоубийство означает, что свобода – это публичное поведение, а не правовая конструкция.

При этом речь не идет о преимуществе одной формы правления над другой. Например, Княжнин не уделяет большого внимания специфике понимания свободы Вадимом и другими защитниками новгородской «вольности»; читатель должен хорошо знать античный контекст, чтобы адекватно воспринимать сюжет. В свою очередь, Рурик не стремится оправдать свое правление, используя аргументы, связанные с преимуществами монархии перед республикой. Вместо этого он указывает Вадиму на тот факт, что сами новгородцы искренне просят Рурика быть царем – именно к этому их толкает чудовищный опыт непрерывных гражданских распрей. Княжнин не сталкивает аргументы в пользу монархии и республики: его, по-видимому, интересует проблема этоса свободы в контексте социальных перемен.

Итак, тексты Радищева и Княжнина демонстрируют нам ключевые элементы того стиля политической мысли, в рамках которого понимание политической свободы как отсутствия действительного насилия (соответственно и очевидной тирании) трансформировалось в понимание политической свободы как отсутствия потенциального произвола. Конечно, этим смысл рассмотренных текстов не исчерпывается: так, «Вадим Новгородский» может быть прочитан и как прославление монархии, и как история о жестоком отце, и как рассказ о печальных последствиях политической паранойи (для классического республиканизма налет паранойи, впрочем, характерен).

Однако присутствие в «Вадиме» и в «Путешествии» отмеченных выше элементов стиля говорит о том, что авторы обоих текстов свободно владели им и использовали его в прагматическом ключе. Дальнейший анализ творчества Радищева и Княжнина в контексте классической республиканской традиции является, таким образом, важной задачей для изучения российской политической культуры XVIII – начала XIX в.

Бугров К. Д. «Петровская» и «екатерининская» концепции политической свободы в России 2-й половины XVIII в. // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2, Гуманитар. науки. 2013. № 2 (114). С. 179–189. [Bugrov K. D. «Petrovskaya» i «ekaterininskaya» kontseptsii politicheskoy svobody v Rossii 2-j poloviny XVIII v. // Izv. Ural. feder. un-ta. Ser. 2, Gumanitar. nauki. 2013. N 2 (114). S. 179–189.]

Гриффитс Д. Екатерина II: императрица-республиканка // Гриффитс Д. Екатерина II и ее мир : ст. разных лет. М., 2013. [Griffits D. Ekaterina II: imperatritsa-respublikanka // Griffits D. Ekaterina II i ee mir : st. raznykh let. M., 2013.]

Кнабе Г. С. Русская Античность. М., 2000. [Knabe G. S. Russkaya Antichnost'. M., 2000.] Княжнин Я. Б. Вадим Новгородский // Княжнин Я. Б. Избр. произв. Л., 1961. [Knyazhnin Ya. B. Vadim Novgorodskij // Knyazhnin Ya. B. Izbr. proizv. L., 1961.]

Кулакова Л. И. [Комментарии] // Княжнин Я. Б. Избр. произв. Л., 1961. [Kulakova L. I. [Kommentarii] // Knyazhnin Ya. B. Izbr. proizv. L., 1961.]

Лотман Ю. М. Из комментариев к «Путешествию из Петербурга в Москву» // Лотман Ю. М. О русской литературе : ст. и исслед. СПб., 2005. [Lotman Yu. M. Iz kommentariiev k «Puteshestviyu iz Peterburga v Moskvu» // Lotman Yu. M. O russkoj literature : st. i issled. SPb., 2005.]

Любжин А. Римская литература в России в XVIII – начале XX века. М., 2007. [Lyubzhin A. Rimskaya literatura v Rossii v XVIII – nachale XX veka. M., 2007.]

Паперно И. Самоубийство как культурный институт. М., 1999. [Paperno I. Samoubijstvo kak kul'turnyj institut. M., 1999.]

Письма Марка Туллия Цицерона к Аттику, близким, брату Квинту, М. Бруту. Т. 2 : Годы 51–46. М. ; Л., 1950. [Pis'ma Marka Tulliia TSitserona k Attiku, blizkim, bratu Kvintu, M. Brutu. T. 2 : Gody 51–46. M. ; L., 1950.]

Плавильщиков П. А. Сочинения. Ч. 1. М., 1816. [Plavil'schikov P. A. Sochineniya. Ch. 1. M., 1816.]

Радищев А. Н. Вольность : ода // Радищев А. Н. Полн. собр. соч. : в 3 т. Т. 1. М. ; Л., 1938. [Radishev A. N. Vol'nost' : oda // Radishev A. N. Poln. sobr. soch. : v 3 t. T. 1. M. ; L., 1938.]

Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву // Радищев А. Н. Указ. соч. Т. 2. М. ; Л., 1941а. [Radishev A. N. Puteshestvie iz Peterburga v Moskvu // Radishev A. N. Ukaz. soch. T. 2. M. ; L., 1941а.]

Радищев А. Н. Размышления о греческой истории или о причинах благоденствия и несчастья греков. Сочинение г. аббата де Мабли // Радищев А. Н. Указ. соч. Т. 2. М. ; Л., 1941б. [Radishev A. N. Razmyshleniya o grecheskoj istorii ili o prichinakh blagodenstviya i neschastiya grekov. Sochinenie g. abbata de Mabli // Radishev A. N. Ukaz. soch. T. 2. M. ; L., 1941б.]

Что такое республиканская традиция : сб. ст. / науч. ред. О. В. Хархордин. СПб., 2009. [Chto takoe respublikanskaya traditsiya : sb. st. / nauch. red. O. V. Kharkhordin. SPb., 2009.]

Щербатов М. М. О повреждении нравов в России // «О повреждении нравов в России» князя М. Щербатова и «Путешествие» А. Радищева. М., 1983. [Scherbatov M. M. O povrezhdenii нравov v Rossii // «O povrezhdenii нравov v Rossii» knyazya M. Scherbatova i «Puteshestvie» A. Radisheva. M., 1983.]

Brincat S. 'Death to Tyrants': The Political Philosophy of Tyrannicide. Pt. 1 // J. of Intern. Political Theory. 2008. Vol. 4. P. 212–240.

Whittacker C. Russian Monarchy: Eighteenth-Century Rulers and Writers in Political Dialogue. DeKalb, 2003.

Wirschafer E. The Play of Ideas in Russian Enlightenment Theater. DeKalb, 2003.

Анализируются элементы классического республиканизма в ключевых текстах поздней екатерининской России – «Путешествии из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева и «Вадиме Новгородском» Я. Б. Княжнина. Основными элементами республиканского стиля, используемого в обоих текстах, выступают образы Катона и Брута, признание военной мощи республик, апология тираноборчества и героического самоубийства. Подобный стиль рассуждений о политике формирует в текстах Радищева и Княжнина новое (республиканское) – понимание политической свободы как специфической манеры публичного поведения и отсутствия потенциального произвола.

Ключевые слова: А. Н. Радищев; Я. Б. Княжнин; Брут; Катон; республиканство.

Konstantin Bugrov (Константин Дмитриевич Бугров), dr.
Russia, Yekaterinburg
Ural Federal University
Konstantin.Bugrov@usu.ru

РОССИЙСКИЙ ГЕНЕРАЛИТЕТ 1725–1730 гг.: ЧИСЛЕННОСТЬ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ*

Based on a wide range of archival and published sources, the article dwells upon the personnel and the ethnic and social structure of the Russian general staff in 1725–1730. The author demonstrates that within a five-year period, the number of officers doubled and the general staff was renewed by about 60 percent. A third of the generals were of foreign descent, while two-thirds were Russian (with approximately half of the latter being noblemen that belonged outside the duma (boyar council), and the traditional elite, as during Peter the Great's reign, still holding the highest ranks). The period in question also saw the formation of a considerable group of generals who were employed in civil service positions. During 1725–1730, few generals transferred from military service to civil service and vice versa, and approximately 70 percent of the generals did not do it at all during the five-year period.

Key words: general staff; ruling elite; army; service; ethnic groups; social structure.

Проблемы становления российской регулярной армии и эволюции ее командного состава неизменно привлекают интерес исследователей. Особое место в историографии занимают работы М. Д. Рабиновича, Ю. Н. Смирнова, Г. В. Калашникова, в которых анализируется происхождение, служба и имущественное положение представителей офицерского корпуса первой половины XVIII в. Армейскому генералитету, напротив, уделялось гораздо меньше внимания. Так, до сих пор отсутствуют полные данные о составе и численности генералитета 1725–1730 гг., недостаточно исследованы динамика этого слоя, его национальная и социальная структура¹. Представленная работа призвана восполнить этот пробел².

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 14-01-00011(а).

¹ Армейский генералитет (как часть правящей элиты начала 1730 г.) рассматривался в работах Б. Механ-Уотерс [Meehan-Waters, 1971; 1974; 1980; 1982].

² В нашей работе использовалась пополняемая биографическая база данных по правящей элите 1725–1762 гг. Основные источники: РГАДА, ф. 16, оп. 1, кн. 36, 38, 81, 101, 168; ф. 20, оп. 1, кн. 20, 21, 61, 219; ф. 199, портф. 240, д. 15–16; ф. 210, оп. 21, кн. 1087; оп. 22, кн. 209; ф. 248, кн. 21, 33, 46, 380, 387, 391, 413, 421, 424, 428, 605, 606, 608, 689, 768, 985, 1088, 1155, 1353, 1933–1942, 1947, 1950–1952, 6416; ф. 286, оп. 1, кн. 45, 49,

По нашим подсчетам, в изучаемое время на военной, статской, придворной и дипломатической службах состояло 166 человек, носивших армейские чины 1–5 классов³. Из табл. 1 следует, что за пять лет численность генералитета выросла в два раза: с 61 в конце царствования Петра Великого до 125–124 человека в 1728–1729 гг. Масштабы обновления генералитета хорошо иллюстрируют следующие данные: из 124 генералов, находившихся на службе в 1729 г., пятью годами ранее в состав генералитета входили лишь 43 % (53 человека), остальные 57 % (71 человек) были «новичками».

Таблица 1

Численность генералитета (1724–1730)

Год (период)*	1724	1725(П)	1725(Е)	1726	1727(Е)	1727(П)	1728	1729	1730(П)
Число лиц	61	61	78	108	108	110	125	124	109

* В этой и последующих таблицах заглавными буквами рядом с годом обозначен период правления: 1725(П) – Петр I, 1725(Е) и 1727(Е) – Екатерина I, 1727(П) и 1730(П) – Петр II.

Сравним численность генералитета 1725–1730 гг. с более ранним временем. Сразу подчеркнем, что в петровское правление эти показатели были значительно ниже [Черников, 2009, с. 711, 715]. Так, в самом начале Северной войны (1700–1704) количество генералов не превышало 20 человек. Быстрый рост генералитета пришелся на 1705–1711 гг. Причинами этого стали активное приглашение иностранцев на российскую службу, а в 1708–1711 гг. – повышение целого ряда русских военных из полковничьих рангов. К 1711 г. генералитет состоял уже из 72 человек (это максимальная численность за весь петровский период). Утверждение штатов 1711 г. и отставка многих иноземцев после неудачного Прутского похода внесли кардинальные перемены в общую динамику: к 1714–1721 гг. генералитет сократился до 49–54 человек. После принятия «Табели о полевой армии» 1720 г. (с более высокими штатными нормами) и формирования Низового

63, 75, 82, 106, 108, 117, 119, 122, 125, 133, 143, 167, 170, 181, 182, 208, 216, 222, 238, 239, 245, 260, 262, 310, 331, 418, 419, 421; ф. 350, оп. 3, кн. 1; РГВИА, ф. 489, оп. 1, кн. 7134, 7339, 7386–7388, 7395; ф. 490, оп. 2, кн. 6–8, 13, 20, 21, 33–35, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 47, 50–53, 55, 56, 58; Сб. РИО, т. 55, 56, 63, 69, 79, 84, 94, 101].

³ Отставники и генералы, находившиеся «не у дел», не учитывались. Под термином «генералитет» в настоящей статье понимается группа лиц, носивших армейские чины 1–5 классов [ПСЗ-I, т. 6, № 3890, с. 486–487; т. 43, ч. 1, отд. 1, с. 15–16]. В 1724 г. офицеры инженерной службы были уравнены в рангах с артиллерийскими, а чин инженер-полковника перенесен из шестого в пятый класс [Сб. РИО, т. 79, с. 423, 515; т. 101, с. 484]. С 12 мая 1727 г. вплоть до своего ареста в сентябре того же года кн. А.Д. Меншиков вместо генерал-фельдмаршальского чина носил нетабельный чин генералиссимуса (при расчетах отнесен к первому классу) [Опись, т. 2, № 2212, с. 70; Сб. РИО, т. 63, с. 480, 483]. Чин полковника лейб-регимента, сформированного в декабре 1725 г. (на его основе в 1730 г. был создан Конногвардейский полк), мы рассматривали как равный по рангу гвардейскому.

корпуса в Закавказье число генералов вновь увеличилось – до 60–61 (1722–1725).

Теперь сопоставим интенсивность пожалования генеральских рангов в 1700–1725 и 1725–1730 гг. За первую четверть XVIII в. мы имеем данные о 77 случаях повышения в чинах представителей генералитета [Черников, 2009, с. 716]. Добавив сведения о получении первого генеральского ранга (172), в сумме получим 249⁴, т. е. в среднем по 10 пожалований ежегодно. В 1725–1730 гг. этот показатель был гораздо выше – 34 (170 пожалований за 5 лет⁵). Таким образом, в царствование Екатерины I и Петра II произошел резкий всплеск активности чинопроизводства (более чем в три раза). Очевидно, что каких-либо оснований в военной сфере для подобного роста генеральского корпуса не было. Если в течение первой четверти XVIII столетия Россия постоянно вела боевые действия, а рост числа генералов обуславливался потребностями армии, то 1725–1730 гг. были сравнительно спокойными. Низовой корпус фактически превратился в оккупационную администрацию в Закавказье, а широкомасштабных столкновений на этой территории уже не наблюдалось.

Какие же причины вызвали столь значительный (двукратный!) рост генералитета? Чтобы ответить на поставленный вопрос, рассмотрим распределение высших армейских чинов по видам службы (табл. 2).

Представленная статистика достаточно наглядно демонстрирует факторы, которые способствовали росту генералитета. Устойчивая положительная динамика наблюдалась среди лиц, состоявших на военной сухопутной (1725–1728) и статской (1725–1729) службе, а впоследствии – на придворной (1727–1729). Влияние численности сухопутного генералитета (группа 1) и гражданских служащих (группы 7–8) на общую численность генеральского корпуса 1725–1730 гг. было наиболее сильным ($r = 0,92$ и $0,95$ соответственно). Количество генералов, одновременно сочетавших военную службу с другими видами деятельности за 1726–1730 гг., существенно сократилось (группы 2–3)⁶.

Проанализируем структуру самой значительной страты в составе генералитета – военнослужащих (табл. 3, группы 1–2 из табл. 2).

⁴ Точная дата пожалования известна не всегда, поэтому полученный итог незначительно завышен (в него неизбежно вошли данные о нескольких лицах, получивших свой первый генеральский чин в самом конце XVII века). Но поскольку число генералов в начале Северной войны было невелико, то расхождение будет несущественным.

⁵ Включая случаи пожалования в первый генеральский ранг. Эти данные незначительно занижены (нам не известна точная дата еще 15 пожалований). Пожалования новых рангов при увольнении в полную отставку (от военной службы и гражданских дел) не учитывались при подсчетах.

⁶ Из табл. 2 также следует, что практика награждения придворных генеральскими чинами, получившая столь широкое распространение при Елизавете Петровне, брала свое начало со времени царствования Петра II.

Таблица 2

Численность генералитета по видам службы, лиц

№ п/п	Виды службы и их сочетание	1725 (Е)	1726	1727 (Е)	1727 (П)	1728	1729	1730 (П)	r ***
1	Военная сухопутная	45	54	58	65	69	64	59	0,92
2	Сочетание военной сухопутной и других видов службы*	17	27	20	12	14	12	8	–
3	Сочетание военной сухопутной и статской службы**	16	26	18	11	11	10	6	–
4	Дипломатическая	3	2	3	2	1	1	1	–
5	Морская	1	1	1	1	1	1	1	–
6	Придворная	0	0	0	1	6	8	8	–
7	Статская и сочетание статской с другими «невоенными» видами службы****	12	24	26	29	34	38	32	0,95
8	Статская	11	23	26	28	31	36	30	0,95
	<i>Итого</i>	78	108	108	110	125	124	109	1,00

* Показатели по группе 2, включают в себя данные по группе 3, а по группе 7 – данные по группе 8.

** 10 вариантов сочетания военной сухопутной службы со статской, придворной, дипломатической и морской.

*** Здесь и в последующих таблицах r – коэффициент линейной корреляции (внесены только значимые коэффициенты, $p < 0,05$).

**** 2 варианта сочетания статской службы с дипломатической и придворной.

Таблица 3

Численность генералитета по типам военной службы, лиц (%)

№ п/п	Тип службы	1725 (Е)	1726	1727 (Е)	1727 (П)	1728	1729	1730 (П)	r **
1	Полевая армия и гвардия *	36 (58)	45 (56)	43 (55)	44 (57)	52 (63)	45 (59)	38 (57)	0,92
2	Артиллерия и инженерный корпус	9 (15)	10 (12)	9 (12)	10 (13)	10 (12)	12 (16)	10 (15)	–
3	Административные структуры военного профиля	16 (26)	16 (20)	16 (21)	16 (21)	14 (17)	13 (17)	11 (16)	–
4	Коменданты и гарнизонная служба ***	6 (10)	15 (19)	15 (19)	15 (19)	14 (17)	13 (17)	12 (18)	0,87
5	Другие ****	4 (6)	4 (5)	3 (4)	2 (3)	2 (2)	2 (3)	2 (3)	–
	<i>Итого</i>	62 (100)	81 (100)	78 (100)	77 (100)	83 (100)	76 (100)	67 (100)	1,00

* Генерал-кригс-комиссар и обер-штер-кригс-комиссары армии учитывались в группе 3, а находившийся «в должности» генерал-квартирмейстера генерал-майор от фортификации П. де Бриньи – в группах 2 и 3.

** В таблицу внесены только значимые коэффициенты корреляции ($< 0,05$).

*** Коменданты закавказских крепостей (в зоне действия Низового корпуса) учитывались как находящиеся при полевой армии.

**** В эту категорию отнесены генерал-адъютанты ЕИВ, кавалергарды и генерал-майор при смоленской шляхте.

Как видим, большая часть генералитета находилась при полевой армии и гвардии (55–63 %). При артиллерии и инженерном деле состояли 12–16 %. В административных структурах (Военной коллегии и ее конторе, Кригс-комиссариате, канцелярии Главной артиллерии и фортификации и т. д.) служили 16–26 %. Комендантов, обер-комендантов и руководителей гарнизонных частей насчитывалось 10–19 %.

Колебания численности генералитета, состоявшего при полевой армии и гвардии, в основном объяснялись ускоренным обновлением кадрового состава. По нашим подсчетам, ежегодно выбывало со службы и пополняло эти места от 4 до 9 человек, а в 1726 и 1728 гг. – 18 и 21 человек соответственно. Рост численности генералитета гарнизонных частей был связан с упразднением бригадирских вакансий в полевой армии в период с 1 января 1726 г. по 27 мая 1728 г. [РГАДА, ф. 248, оп. 11, кн. 608, л. 43, 48; Сб. РИО, т. 79, с. 366–368] и переводом в бригадирский ранг целого ряда комендантов и обер-комендантов по штату 17 августа 1725 г. [ПСЗ-I, т. 7, № 4764, с. 530; т. 43, ч. 1, отд. 1, с. 43–45]. Высшие артиллерийские, инженерные чины и представители административного аппарата, как следует из табл. 3, существенно влияли на динамику генеральского корпуса не оказывали.

Выше уже отмечалось, что в составе генералитета при Екатерине I и Петре II сформировалась значительная группа лиц, находившихся на статской службе. В 1725 г. их было 12, а к 1729 г. – 38 человек. Увеличение этой прослойки было напрямую связано с активным обновлением генеральского корпуса и переводом части военных на гражданскую службу.

Проанализируем данные об отставках военных, носивших в изучаемый период генеральские чины. Эти сведения не являются полными, но позволяют сделать ряд важных наблюдений. По нашим подсчетам, за 1725–1730 гг. в отставку было уволено 56 генералов (включая тех, которые получили чин 1–5 класса Табели при отставке). В 1725 г. ушли в отставку 2 человека, в 1726 г. – 18, в 1727 – 13, в 1728 г. – 21, в 1729 г. – 2. В 45 случаях состоялось увольнение от военной службы, в 5 – лишь от полевой, а еще в 6 случаях представитель генералитета получил полную отставку («от службы и от дел»). Из 56 отставников 42 человека удостоились своего первого генеральского чина только при отставке (из полковничьего ранга). Лица, уже носившие генеральские чины до отставки, были в меньшинстве (14 человек). Следует обратить внимание, что «награждение рангом» при увольнении от службы в это время было общепринятой практикой, а отставка без повышения – исключением⁷. Так, непосредственно при отставке новый чин получили 42 человека, еще 8 были повышены в период до 1730 г., и лишь 6 генералов сохранили свой старый чин (по данным 1725–1730 гг.). Перевод военных в статский ранг был редкостью (3 человека), большинство продолжало носить армейские чины (47).

⁷ К этому же выводу пришла М. В. Бабич при анализе отставок будущих «областных правителей» (руководства губерний, провинций и уездов) 1719–1739 гг. [Бабич, с. 92, 101].

Какая часть отставников продолжила свою службу? К гражданским делам в 1725–1730 гг. были определены 25 отставных генералов, 4 остались на военной службе (поскольку были уволены только от полевой), еще 9 человек вернулись на службу лишь при Анне Иоанновне. Таким образом, в общей сложности на службе осталось 68 % отставников (38 лиц), а в рамках изучаемого периода – 52 % (29 человек). Из этих 29 человек лишь четверо имели генеральские чины до отставки, остальные 25 являлись «новичками» в составе элиты (22 были пожалованы из полковничьего ранга в бригадиры и генерал-майоры, 3 – в статские и действительные статские советники). Следовательно, пополнение уже сложившегося к 1725 г. костяка отставных военных, находившихся у статских дел, происходило в первую очередь за счет новых лиц (из среды полковников). Отставка военных, уже носивших генеральские чины, с последующим их переводом на гражданскую службу была относительно редким явлением.

Сведения об увольнении представителей офицерского корпуса, проанализированные М. В. Бабич, позволяют рассматривать отставки генералов в 1725–1730 гг. как часть общего плана правительства по обновлению командного состава русской армии и «перераспределению людских ресурсов между руководящим персоналом военной и гражданской сфер». Масштаб отставок в изучаемый период, по всей видимости, значительно превосходил подобные же акции в последующее время [Бабич, с. 92–94, 98, 101–102].

Как часто представители генералитета переходили с одного вида службы на другой? Насколько для 1725–1730 гг. был характерен хорошо известный по литературе «универсальный тип» руководителя, параллельно выполнявшего самые разнородные поручения и неоднократно переводившегося из армии в центральные или губернские учреждения, а затем вновь на военную службу? Как следует из табл. 2, одновременное (в течение одного года) совмещение армейской и других видов службы было не столь распространенным явлением. Кроме того, за 1726–1730 гг. количество таких генералов сократилось с 27 до 8 человек. Если анализировать карьеру представителей генералитета в рамках всего пятилетнего периода (1725–1730), то вполне очевидно, что показатели будут существенно выше – 50 человек (30,1%)⁸. Но этот тип служебной деятельности все же не являлся доминирующим. Напротив, преобладала та часть генералитета, которая ориентировалась только на один вид службы: армейская карьера в эти годы была характерна для 64 человек (38,6 %), невоенная – для 51 (30,7 %) ⁹. Особый интерес вызывает динамика данных. Доля двух групп, представители которых за пять лет ни разу не меняли профиль службы (армейский или гражданский), выросла с 53 до 63 %. Удельный вес лиц, совмещавших различные виды деятельности, упал с 46 до 36 %. По

⁸ Здесь и далее при подсчетах учтены служебные назначения только за то время, когда служилый человек носил генеральский чин.

⁹ Еще один генерал (И. М. Головин) служил на флоте.

всей видимости, появление в составе генералитета большой группы лиц, состоявших при гражданских делах, позволяло правительству реже отвлекать армейских генералов от их основной службы.

Среди важнейших причин расширения генеральского корпуса 1725–1730 гг. также следует отметить и законотворческую деятельность правительства. Она была направлена на унификацию чинов и регламентацию состава различных управленческих структур (высшего командования армии, руководства центральных и местных органов власти, двора). Юридическое оформление рациональных принципов чинопроизводства, создание унифицированной структуры военных, гражданских и придворных чинов послужило началом нового периода взаимоотношений между верховной властью и дворянством. Новые «правила игры», закрепленные в Табели о рангах и различных штатных расписаниях, ставили правительство в определенные рамки и диктовали соответствующую логику принятия кадровых решений. Эти принципы чинопроизводства можно было по-разному трактовать, манипулировать ими, но их нельзя было полностью игнорировать. Стремление к всеобщей регламентации с неизбежностью вело к последующему «согласованию» реальной чиновной структуры с той, которая предполагалась штатами. Следствием этого становились все новые и новые пожалования чинов. Табель о рангах и штаты фактически стали не только средством контроля служилого дворянства со стороны верховной власти. Практически сразу же после своего утверждения они превратились в самостоятельные факторы, влиявшие на чинопроизводство. Привязка гражданских и придворных чинов к военной иерархии, осуществленная в Табели о рангах, и отсутствие четкой специализации служилых людей на одном виде службы создали дополнительные социальные лифты и возможности для карьерного роста. Политическая борьба, взлеты и падения фаворитов существенного влияния на структуру генералитета не оказывали. Случайные люди, такие как Я.-К. Сапега или К.-Ф. Голштейн здесь встречались нечасто. Ссылка и лишение чинов среди генералов были редким явлением. Этому наказанию в 1725–1730 гг. подверглось только пять человек: А. Я. Волков, И. И. Бутурлин, А. М. Девиер, А. Д. Меншиков и Г. Г. Скорняков-Писарев. Обновление состава высших армейских чинов после смерти Петра Великого происходило в первую очередь по естественным причинам. Представители старшего поколения переводились к гражданским делам, уходили в полную отставку или умирали, а их место занимали более молодые.

Теперь обратимся к анализу национального состава лиц, носивших генеральские чины в 1725–1730 гг. Всего здесь насчитывалось 110 русских (66%) и 56 иностранцев (34 %). Ежегодные показатели изменялись незначительно: 60–63 % и 37–40 % соответственно. Такое же соотношение русских и иностранных генералов наблюдалось в 1718–1725 гг. Из 170 пожалований, которые состоялись в 1725–1730 гг., в

113 случаях чин получал русский представитель генералитета (66 %) и в 57 – иноземец (34 %). Очевидно, что утверждения об «антинемецкой» направленности политики правительства Петра II являются историографическим мифом и не соответствуют действительности.

Весьма показательны данные о профиле службы иностранцев. На военной службе (полевая армия, гвардия, артиллерия, инженерный корпус, нерегулярные и гарнизонные части, военная администрация) доля иноземцев была выше, чем в целом по генералитету: в 1725 г. – 42 %, а в 1726–1730 гг. – 46–48 %, русских же насчитывалось 58 % и 52–54 % соответственно¹⁰. Генералитет, который в 1725–1730 гг. постоянно находился на военной службе, состоял на 48 % из иноземцев, совмещавшие армейскую службу и другие виды деятельности – 38 %, ориентировавшиеся на невоенный тип карьеры – только на 12 %. Очевидно, российское правительство было заинтересовано в иностранных генералах именно в силу их профессиональных военных навыков. Как следствие, иностранцы реже, чем русские, покидали армейскую службу или совмещали ее с гражданской. Доля иноземцев варьировалась в зависимости от вида военной службы. Генералитет, состоявший при армии и гвардии, в 1725 г. насчитывал 33 % иноземцев, а уже в 1726–1730 гг. их доля увеличилась до 42–45 %. Позиции иноземных генералов укрепились и в административных структурах военного профиля: в 1725 г. – 31 %, в 1729–1730 гг. – 46–45 %. В артиллерии и инженерном деле, как и ранее, иноземцы доминировали: 89–100 % (1725–1730). В руководстве гарнизонных частей удельный вес этой группы колебался в пределах от 33 до 47 %, но в 1730 г. вернулся к уровню начала периода (33 %). Как видим, общее соотношение русских и иноземцев в 1725–1730 гг. оставалось таким же, как и в конце правления Петра Великого (2/3 и 1/3 соответственно). Но кадровая политика царя-реформатора подверглась определенной корректировке, и влияние иноземцев в полевой армии и высшей военной администрации усилилось¹¹.

Проанализируем состав иноземцев подробнее и выделим среди них четыре группы в зависимости от места рождения и времени начала службы¹².

В первую группу мы отнесли иноземцев, родившихся в России, а также тех, кто поступил на московскую службу до начала правления Петра Великого (1689). Их насчитывалось 13 человек (24 %). Это Ф. Н. Балк, И. Л. и Л. Л. Блюментросты, Я. В. Брюс, Ф. Я. Буларт,

¹⁰ Здесь в подсчет включены те редкие случаи, когда лицо, состоявшее на армейской службе, не имело сухопутного генеральского чина. Таких в изучаемый период было лишь двое: А. Ю. Бибилов (1728–1730) и Г. Гюйссен (1730). Первый из них, казначей Военной коллегии (6-й класс Табели), носил чин статского советника (5-й класс), второй – служил советником Военной коллегии и в апреле 1729 г. был переведен из генерал-майоров в действительные статские советники.

¹¹ Второй по значению армейский ранг (генерал-аншефа) к 1728–1730 гг. также оказался под контролем иноземцев: 83–86 %. При Петре I схожие показатели встречались лишь однажды – в период Прутского похода 1711 г. [см.: Черников, 2009, с. 716].

¹² Эти сведения известны для 55 генералов из 56 (кроме П. Бема).

П. А. Гассениус, А. К. Гулиц, В. В. Дельден, А. Я. Лицкин, Т. И. Трейден, Е. И. Фаминцын, В. Ю. Фермор, А. Т. Юнгер.

Представители второй группы родились за рубежом и перешли на русскую службу только в 1689–1699 гг. (11 человек, 20 %). Это выходцы из Германии: М. М. Витвер (1697), Г. Гейн (1698), Г.-В. Геннин (1697), И. Я. Гинтер (1697), И. И. Кобер (1696), Л. Л. Шток (1695/96); из Дании: И.-Я. Бреклин (1696/97); Португалии: А. М. Девиер (1696); Швейцарии: П. Б. Лефорт (1694); Швеции: У. О. Сперрейтер (1694); Польши: П. И. Ягужинский. Формально перечисленные лица считались иноземцами «старого выезда»¹³. Но традиционная терминология, на наш взгляд, нуждается в уточнении. Почти все генералы этой группы поступили на службу в период Азовских походов или непосредственно перед началом Северной войны и, следовательно, обладали современными для петровского периода армейскими навыками. По своему составу эти военные были гораздо ближе к иностранцам, прибывшим в Россию после 1700 г., нежели к «старовыезжим» иноземцам из первой группы, проживавшим в Московском государстве уже долгое время. Поэтому в качестве «старовыезжих» в данной работе мы рассматриваем только представителей первой группы, а тех, кто начал свою службу при Петре I (с 1689), относим уже к «новому выезду».

С началом Северной войны (особенно после манифеста 16 апреля 1702 г. [ПСЗ-1, т. 4, № 1910, с. 192–194] процесс пополнения рядов российской армии иностранцами активизировался. Из числа генералов 1725–1730 гг. на службу в 1700–1725 гг. поступили 27 человек (49 %). Как и ранее, самую значительную часть составляли выходцы из Германии: Г.-И. Бон (1708), И.-Б. Вейсбах (1707), Т.-Г. Венедигер (1707), И.-Г. Гарбер (1710), Л.-Г. Гессен-Гомбургский (1723), К. И. Гохмут (1704), Г. Гюйссен (1702), И.-Л. Люберас (1709)¹⁴, Э.-С. Манштейн (1704), Б.-Х. Миних (1721), Т.-Э. Штаф (не позднее 1708). Уроженцев других регионов насчитывалось меньше. Из Прибалтики: Ф. Левен (не ранее 1710); Х.-Ф. Ропп (1703), Б.-Э. Траутфеттер (1724), И. Штерншанц (не ранее 1710); Франции: П. Бриньи (1717), И. Я. Дюпре (1703), А. Кулон (1707), С. Лукей; Польши: Я.-К. Сапега (1709), Х. Урбанович (1724); Швеции: А. Я. Ветерани (1707), О.-Г. Дуглас (1717), И.-Б. Кампенгаузен (1711)¹⁵; Швейцарии: А. Я. Трезини (1703); Ирландии: П. П. Ласси (1700), Италии: А. Брильи (1701).

¹³ По терминологии петровского времени иноземцами «старых выездов» считались те, «которые выехали до Свейской войны», а иноземцами «новых выездов» – «которые выехали в нынешнюю Свейскую войну» [Сб. РИО, т. 94, с. 275, 656]. Из этого правила были отступления. Так, Г. Гейн, поступивший на службу в 1698 г., согласно его «сказке», являлся «нововыезжим иноземцем» [РГВИА, ф. 490, оп. 2, кн. 37, л. 65]. Отметим, что размер оклада не всегда совпадал с временем выезда. В 1715 г. было приказано нововыезжим (с момента указа, т. е. после 1715 г.) платить более низкий оклад старого выезда, а выехавшим с начала «Свейской войны» до 1715 г. – повышенный нововыезжий [Сб. РИО, т. 94, с. 656].

¹⁴ По одним данным – родился в Лифляндии, по другим – в Германии (Херфорд, Северный Рейн-Вестфалия).

¹⁵ Лифляндский дворянин, родился в Стокгольме.

Непосредственно в изучаемый период (1725–1730) состав генералов расширился за счет четырех человек (7 %). Это уроженцы Германии К.-Ф. Голштейн (1726) и Ф.-Б. Шверин (1727), Грузии – Б. В. Грузинский (1729), Шотландии – Д. Кейт (1728).

Обобщим сведения по тем генералам, которые начали свою службу в России в 1689–1730 гг. (2–4 группы, 42 человека). Состав и структура генералитета 1725–1730 гг. в целом были обусловлены кадровой политикой петровского периода [Черников, 2009, с. 724]. Больше всего среди генералов было уроженцев Германии – 19 лиц (45 %). Представители этого региона в каждом из трех периодов чаще других нанимались на русскую службу (6 человек в 1689–1699, 11 – в 1700–1725, 2 – в 1725–1730). По четыре генерала дали Франция, Швеция и Прибалтика (по 10 %), три – Польша (7 %), два – Швейцария (5 %), по одному – Шотландия, Грузия, Дания, Ирландия, Италия, Португалия (по 2 %). Таким образом, на русской службе, как правило, оказывались представители государств, которые подверглись влиянию Реформации. Подобная традиция сложилась еще в допетровское время. Католическая церковь, по мнению правительства, ввиду строгой иерархии и активной миссионерской деятельности, представляла более значительную опасность для России.

Теперь рассмотрим состав той части иноземного генералитета 1725–1730 гг., которая находилась на армейской службе (табл. 4а, 4б).

Таблица 4а

*Иноземцы в составе армейского генералитета
(по видам служб), абс. (%)*

Вид службы	Родились в России или поступили на службу до 1689 г.	Родились за границей и поступили на службу в ...			Всего
		1689–1699	1700–1725	1725–1730	
Полевая армии и гвардия	6 (21)	3 (10)	17 (59)	3 (10)	29 (100)
Артиллерийский и инженерный корпус	1 (8)	6 (46)	5 (38)	1 (8)	13 (100)
Административные военные структуры	1 (9)	3 (27)	7 (64)	0 (0)	11 (100)
Коменданты и гарнизонная служба	6 (67)	1 (11)	2 (22)	0 (0)	9 (100)

Таблица 46

*Иноземцы в составе армейского генералитета
(по месту рождения), абс. (%)*

Страна / регион		Полевая армии и гвардия	Артиллерия и инженер- ный корпус	Администра- тивные военные структуры	Коменданты и гарнизон- ная служба
Родились в России или поступили на службу до 1689 г.		6 (21)	1 (8)	1 (9)	6 (67)
Начало службы в 1689–1730	Шотландия	1 (3)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	Германия	10 (34)	7 (54)	6 (55)	2 (22)
	Грузия	0 (0)	1 (8)	0 (0)	0 (0)
	Дания	0 (0)	1 (8)	0 (0)	0 (0)
	Ирландия	1 (3)	0 (0)	1 (9)	0 (0)
	Италия	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (11)
	Польша	2 (7)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	Прибалтика	3 (10)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	Франция	2 (7)	2 (15)	2 (18)	0 (0)
	Швейцария	1 (3)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	Швеция	3 (10)	1 (8)	1 (9)	0 (0)
<i>Итого</i>		29 (100)	13 (100)	11 (100)	9 (100)

Почти 60 % генералов-иноземцев, служивших при полевой армии, приехали в Россию в первой четверти XVIII в. Те, кто родился в Московском государстве или начал свою карьеру в допетровское время, получали подобные назначения гораздо реже (21 %). Но кардинальное обновление генеральского корпуса в годы Северной войны не привело к окончательному разрыву с самой «старой» частью иноземной военной элиты. Представители этого слоя попадали в действующую армию чаще, чем выехавшие при Петре I остзейцы, шведы, поляки, французы, ирландцы, швейцарцы или шотландцы, но реже, чем немцы. Вместе с тем многие «старые иноземцы» уже выбыли из полевой армии и служили в гарнизонных частях, которые почти не участвовали в боевых действиях. Ядро военно-административного аппарата, артиллерийский и инженерный корпуса в основном были укомплектованы иностранцами, прибывшими в Россию в 1689–1725 гг. Большинство среди них составляли немцы, вторыми по численности были французы.

Таким образом, несмотря на включение Лифляндии и Эстляндии в состав России, остзейцы так и не смогли потеснить уроженцев немецких земель в армейском генералитете. Двое из трех¹⁶ остзейцев (Б.-Э. Траутфеттер, И. Штерншанц) поступили на службу лишь после

¹⁶ Четвертый остзеец (Ф. Левен) был вице-губернатором Ревельской губернии и не служил при армии.

того, как оказались в русском плену. И хотя среди офицерских чинов остзейцы занимали видное место, их профессиональный уровень не всегда соответствовал ожиданиям российского правительства (как, например, в случае формирования кирасирских полков при Анне Иоанновне [Калашников, с. 88]).

Обратимся к русской части генералитета 1725–1730 гг. (110 человек из 93 родов). Все они начинали свою службу при Петре I или в более раннее время. В зависимости от профиля службы доля русских менялась. Из тех, кто в 1725–1730 гг. постоянно находился на военной службе, русских было 52 %, среди совмещавших военную службу с другими видами деятельности – 62 %, среди занятых исключительно в невоенной сфере – 88 %. Как уже отмечалось ранее, для генералов-иностранцев были свойственны иные предпочтения, и акцент делался прежде всего на военную службу. Генералитет русского происхождения, напротив, демонстрировал более «универсальный» тип карьеры, свойственный представителям государева двора XVII в. [Правящая элита, с. 442]. На военной службе русский генералитет распределялся следующим образом. В полевой армии и гвардии доля русских в 1725 г. составляла 67 %, а к 1729–1730 гг. уменьшилась до 58 %, в военной администрации динамика была такой же – снижение с 69 % до 54–55 %. В артиллерию и инженерный корпус русские генералы попадали очень редко – до 11 % (1725–1730). Среди комендантов и на гарнизонной службе доля русских в 1725 г. и 1730 г. оставалась на одном уровне – 67 % (с колебаниями от 53 до 67 % в 1726–1729). Таким образом, русский генералитет смог удержать свои позиции лишь в той части вооруженных сил, которая сравнительно редко участвовала в боевых действиях. В полевой армии и аппарате управления иностранцы усилили свое влияние.

Для анализа социальной структуры русской части генералитета выделим четыре группы в зависимости от происхождения¹⁷. К числу боярских, аристократических (первая группа) отнесены те фамилии, члены которых служили в чинах боярина и окольничего до 1613 г. и смогли сохранить это высокое положение при Романовых (15 фамилий, 21 человек¹⁸). Во вторую группу включены те роды, которые достигли любого из четырех думных чинов с 1613 г. до 1689 г. (23 фамилии, 28 лиц¹⁹). В третью группу выделены фамилии, представители которых были дворянами или принадлежали к верхушке приказных

¹⁷ Общие принципы классификации см.: [Черников, 2007, с. 373–379].

¹⁸ А. Б., И. И., П. И. Бутурлины, С. Л. Вельяминов, А. П., И. М. Волынские, кн. М. М. Голицын (старший), И. М. Головин, кн. В. В., И. Г. Долгоруковы, С. А. Колычев, кн. Б. И. Куракин, кн. А. И. Репнин, С. А. Салтыков, кн. И. В. Сонцов-Засекин, кн. И. Ю., Ю. Ю. Трубецкие, кн. Г. А. Урусов, В. П. Шереметев, кн. М. Ю., О. И. Щербатовы.

¹⁹ Гр. А. М. Апраксин, А. Астафьев, кн. И. Ф. Барятинский, кн. А. И. Волконский, Д. Ф. Еропкин, В. Н. Зотов, И. П., Л. В., П. В. Измайловы, И. С. Караулов, Л. Г. Ларионов, М. И. Леонтьев, И. М. Лихарев, М. А. Матюшкин, С. Г. Нарышкин, А. И., И. В. Панины, Ф. А. Полибин, А. М. Потемкин, П. Т. Савелов, С. И. Сукин, В. Н. Татищев, Д. И. Титов, С. Т. Хлопов, кн. А. И., И. Г. Шаховские, Д. А., Ф. А. Шепелевы.

служителей (дьяки), но не входили в Думу до начала правления Петра I (52 фамилии, 58 человек²⁰). В четвертую группу отнесены недворяне (3 рода, 3 человека²¹) (табл. 5).

Таблица 5

*Происхождение русской части генералитета
1724–1730 гг., кол-во (%)*

Группа	1724	1725(II)	1725(E)	1726	1727(E)	1727(II)	1728	1729	1730(II)
I	10 (26)	10 (26)	12 (24)	14 (21)	12 (18)	12 (18)	13 (17)	13 (17)	12 (18)
II	10 (26)	10 (26)	13 (27)	18 (27)	17 (26)	18 (27)	24 (31)	20 (26)	18 (26)
III	18 (46)	18 (46)	22 (45)	32 (48)	35 (54)	36 (54)	39 (51)	43 (56)	37 (54)
IV	1 (3)	1 (3)	2 (4)	2 (3)	1 (2)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)
I–IV	39 (100)	39 (100)	49 (100)	66 (100)	65 (100)	67 (100)	77 (100)	77 (100)	68 (100)
I–II	20 (51)	20 (51)	25 (51)	32 (48)	29 (45)	30 (45)	37 (48)	33 (43)	30 (44)

Основные процессы, которые мы можем проследить в 1725–1730 гг., продолжали динамику петровского царствования. Доля лиц, принадлежавших к «думным фамилиям» (I–II группы), уменьшалась: в 1700 г. – 89 % русской части генералитета, в 1724–1725 гг. – 51%, в 1729–1730 гг. – 43–44%. Снижение, как и раньше, происходило за счет наиболее знатной, аристократической прослойки (группа I): в 1700 г. – 78 %, в 1724–1725 гг. – 26–24 %, в 1730 г. – 18 %. «Недумное дворянство» (группа III), напротив, упрочило свои позиции: в 1700 г. – 11 %, в 1724–1725 гг. – 46–45 %, в 1730 г. – 54 %²².

Если дополнительно учесть социальную мобильность в течение XVII в., можно заметить, что многие фамилии, сформировавшие генералитет 1725–1730 гг., сто лет назад (при первом Романове) были тесно связаны с верхушкой городского дворянства. Так, 38 фамилий (6 из группы II, 32 из группы III) в конце 1620-х гг. либо вообще не входили в состав московского дворянства, либо служили по преимуществу «с городом». Они дали 39 % русской части генералитета –

²⁰ А. П. Арсеньев, Я. Х. Бахмеев (Бахметев), И. И. Бибиков, С. А. Блеклый, С. С. Буженинов, кн. Н. М. Вадбольский, И. Л., П. Л. Воейковы, А. Я., М. Я. Волковы, кн. В. М. Вяземский, П. С. Глебовский, И. М., М. Т., С. Т. Грековы, И. М. Денисьев, И. И. Дмитриев-Мамонов, С. Н. Друмант, А. Н. Елагин, Г. Д. Есипов, А. Г. Загряжский, И. И. Захаров, С. Л. Игнатьев, Л. Г. Исуповы, Ф. И. Козлов, В. Д. Корчмин, Р. М. Кошелев, Г. С., И. И. Кропотовы, П. И. Лачинов, В. Я. Левашов, С. Маврин, И. А. Менгден (Фамендин), И. П. Мерлин, кн. С. Ф. Мещерский, Ф. Л. Митрофанов, П. И. Мошков, Г. Я. Наумов, Я. Г. Островский, Е. И. Пашков, А. К. Петров-Солово, В. И. Порошин, А. И. Румянцев, И. Т. Сафонов, У. А. Сенявин, Г. Г. Скорняков-Писарев, Л. Я. Соймонов, И. В. Стрекалов, А. И. Тараканов, И. М. Тургенев, А. И. Ушаков, Ф. Г. Чекин, А. И., Г. П. Чернышевы, Я. С. Шамордин, Н. М. Шипов, И. М. Шувалов, кн. Г. Д. Юсупов.

²¹ С. А. Алабердеев, А. В. Макаров, кн. А. Д. Меншиков.

²² О социальной структуре русской части генералитета первой четверти XVIII в. см.: [Черников, 2013, с. 45–62].

43 человека. Члены еще 16 фамилий (22 человека, т. е. 20 % русского генералитета) имели в это время родственников среди городских дворян, но служили в основном по «московскому списку» (3 фамилии из группы I, 3 из группы II, 10 из группы III).

Представленные данные наглядно демонстрируют последствия того социального сдвига, который произошел в составе правящего слоя за последние десятилетия. Проникновение худородного дворянства, усилившееся в 1670-х гг. [Рое, р. 46–48, 80, 102–103, 131–132, 166–167], превратилось при Петре Великом в доминирующую тенденцию. В основном это отразилось на составе военного командования. В первой четверти XVIII в. армейский генералитет и высшее флотское руководство стали наименее родовитой частью правящей верхушки [Черников, 2010, с. 272–273]. В 1725–1730 гг. традиционная элита (I–II группы) все еще оставалась консолидирующим ядром генералитета, но уже потеряла свое численное превосходство. Самой многочисленной группой в этот период являлись потомки московского и верхушки городского дворянства. Но, как и при Петре Великом, рациональные принципы продвижения по службе, закрепленные Табелью о рангах, не являлись самодостаточными [Там же, с. 273]. Их дополняли традиционные факторы чинопроизводства, действовавшие со времен Московского государства – происхождение и родовитость. Два старших армейских ранга (фельдмаршала и полного генерала) в 1725–1730 гг. продолжали оставаться под контролем аристократии (кн. М. М. старший Голицын, И. И. Бутурлин, кн. И. Ю. Трубецкой, кн. В. В. Долгоруков, кн. А. И. Репнин). Потомки думных людей XVII в. получали их крайне редко (М. А. Матюшкин). Представители же более низких социальных групп (А. Д. Меншиков) попадали в эти чины только благодаря фаворитизму и особому доверию со стороны царствующих персон²³.

Подведем итоги.

Период после смерти Петра Великого стал временем масштабных перемен в российском генералитете: за пять лет его численность выросла в два раза, а кадровый состав обновился примерно на 60 %. Интенсивность пожалования генеральских чинов была в 3,5 раза выше, чем в 1700–1725 гг. Росту чинопроизводства и расширению генеральского корпуса немало способствовала активная деятельность правительства по регламентации состава различных учреждений и унификации лестницы чинов.

Национальный состав генералов 1725–1730 гг. был во многом схож с тем, который сложился к концу правления Петра Великого (2/3 русских и 1/3 иноземцев). Таким образом, для утверждений о «прорусской» или «антинемецкой» направленности кадровой политики Петра II нет никаких оснований. Влияние иноземцев в действующей армии и высшей военной администрации только усилилось, а самой многочисленной

²³ Среди генерал-лейтенантов в 1725–1730 гг. (в отличие от 1700–1725 гг.) уже преобладали потомки «недумного дворянства» (группа III) – 62–69 %.

группой среди иностранцев, как и ранее, остались уроженцы Германии. Социальная структура русского генералитета изменилась мало: около половины происходило из среды недумного дворянства, а традиционная элита продолжала контролировать высшие генеральские ранги.

Важным итогом кадровой политики 1725–1730 гг. стало формирование в среде генералитета значительной группы лиц, состоявших при статских делах. В основном она сложилась за счет «новичков», повышенных из чина полковника. Непосредственно в генеральских рангах интенсивность перемещений с военной службы на гражданскую (и наоборот) была невелика: около 70 % генералов этого времени ни разу за пять лет не сменили профиль службы. Приведенные в статье данные позволяют дополнить сложившуюся в историографии характеристику «типичного представителя элиты» как руководителя «универсального типа», получавшего на протяжении своей карьеры самые различные назначения. Эта точка зрения несомненно верна при анализе служебной деятельности как единого целого – от поступления на службу до момента полной отставки. Но, как видим, «мобильность» представителей элиты была подвержена колебаниям и в определенные периоды (как в 1725–1730) являлась весьма низкой.

Бабич М. В. Манифест об ограничении сроков дворянской службы 1736 г. в системе политики, административной практики и социальных ценностей в России XVIII в. // Правящие элиты и дворянство России во время и после Петровских реформ (1682–1750). М. 2013. С. 81–102. [Babich M. V. Manifest ob ogranichenii srokov dvoryanskoj sluzhby 1736 g. v sis-teme politiki, administrativnoj praktiki i sotsial'nykh tsennostej v Rossii XVIII v. // Pravyaschie elity i dvoryanstvo Rossii vo vremya i posle Petrovskikh reform (1682–1750). М. 2013. S. 81–102.]

Калашников Г. В. Офицерский корпус русской армии в 1725–1745 гг.: дис. ... канд. ист. наук. СПб., 1999. 295 с. [Kalashnikov G. V. Ofitseriskij korpus russkoj armii v 1725–1745 gg.: dis. ... kand. ist. nauk. SPb., 1999. 295 s.]

Опись высочайшим указам и повелениям, хранящимся в С.-Петербургском Сенатском архиве за XVIII век / сост. П. И. Баранов. СПб., 1875. Т. 2. XIV. 989 с. [Opis' vysochajshim ukazam i povelenyam, khranyaschimsya v S.-Peterburgskom Senatskom arkhive za XVIII vek / sost. P. I. Baranov. SPb., 1875. T. 2. XIV. 989 s.]

Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1 (ПСЗ-1). СПб., 1830. [Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii. Sobr. 1. (PSZ-1) SPb., 1830.]

Правящая элита русского государства IX – начала XVIII вв.: очерки истории. СПб., 2006. 548 с. [Pravyaschaya elita russkogo gosudarstva IX – nachala XVIII vv.: ocherki istorii. SPb., 2006. 548 s.]

Протоколы, журналы и указы Верховного тайного совета, 1726–1730 гг. // Сб. РИО. СПб., 1886–1898. Т. 55, 56, 63, 69, 79, 84, 94, 101. [Protokoly, zhurnaly i ukazy Verkhovnogo tajnogo sojeta, 1726–1730 gg. // Sb. RIO. SPb., 1886–1898. T. 55, 56, 63, 69, 79, 84, 94, 101.]

РГАДА. Ф. 16 (Разряд XVI – Внутреннее управление); Ф. 20 (Разряд XX – Дела военные); Ф. 199 (Портфели Г.-Ф. Миллера); Ф. 210 (Разрядный приказ); Ф. 248 (Сенат и его учреждения); Ф. 286 (Герольдмейстерская контора); Ф. 350 (Ландратские книги и ревизские сказки). [RGADA. F. 16 (Razryad XVI – Vnutrennee upravlenie); F. 20 (Razryad XX – Dela voennye); F. 199 (Portfeli G.-F. Millera); F. 210 (Razryadnyj prikaz); F. 248 (Se-nat i ego uchrezhdeniya); F. 286 (Geroldmeisterskaya kontora); F. 350 (Landratskie knigi i revizskie skazki).]

РГВИА. Ф. 489 (Формулярные списки); Ф. 490 (Офицерские сказки). [RGVIA. F. 489 (Formulyarnye spiski); F. 490 (Ofitserskie skazki).]

Черников С. В. Российская элита эпохи реформ Петра Великого: состав и социальная структура // Государство и общество в России XV – начала XX века. СПб., 2007. С. 366–386. [Chernikov S. V. Rossijskaya elita epokhi reform Petra Velikogo: sostav

i sotsial'naya struktura // Gosudarstvo i obschestvo v Rossii XV – nachala XX veka. SPb.: 2007. S. 366–386.]

Черников С. В. Эволюция высшего командования российской армии и флота первой четверти XVIII века: к вопросу о роли европейского влияния при проведении петровских реформ // Cahiers du Monde russe. 2009. 50 (4). P. 699–736. [Chernikov S. V. Evolyutsiya vysshego komandovaniya rossijskoj armii i flota pervoj chetverti XVIII veka: k voprosu o roli evropejskogo vliyaniya pri provedenii petrovskikh reform // Cahiers du Monde russe. 2009. 50 (4). R. 699–736.]

Черников С. В. Состав и особенности социального статуса светской правящей элиты России первой четверти XVIII века // Cahiers du Monde russe. 2010. 51 (2/3). P. 259–280. [Chernikov S. V. Sostav i osobennosti sotsial'nogo statusa svetskoj pravayaschej elity Rossii pervoj chetverti XVIII veka // Cahiers du Monde russe. 2010. 51 (2/3), R. 259–280.]

Черников С. В. Военная элита России 1700–1725 гг.: меритократические и аристократические тенденции в кадровой политике Петра I // Правящие элиты и дворянство России во время и после Петровских реформ (1682–1750). М., 2013. С. 45–62. [Chernikov S. V. Voennaya elita Rossii 1700–1725 gg.: meritokratische i aristokratische tendentsii v kadrovoj politike Petra I // Pravyaschie elity i dvoryanstvo Rossii vo vremya i posle Petrovskikh reform (1682–1750). M., 2013. S. 45–62.]

Meehan-Waters B. The Muscovite Noble Origins of the Russians in the Generalitet of 1730 // Cahiers du Monde russe et sovetique. 1971. 12 (1/2). P. 28–75.

Meehan-Waters B. The Russian Aristocracy and the Reforms of Peter the Great // Canadian-American Slavic Studies. 1974. 8 (2). P. 288–302.

Meehan-Waters B. Social and Career Characteristics of the Administrative Elite, 1689–1761 // Russian officialdom: the Bureaucratization of Russian Society from the Seventeenth to the Twentieth Century. Chapel Hill, 1980. P. 76–105.

Meehan-Waters B. Autocracy and Aristocracy: The Russian Service Elite of 1730. New Brunswick ; New Jersey, 1982. 274 p.

Poe M. T. The Russian Elite in the Seventeenth Century. Vammala, 2004. Vol. 2. 283 p.

В статье на основании широкого круга архивных и опубликованных источников рассматриваются состав, национальная и социальная структура российского генералитета 1725–1730 гг. Установлено, что его численность за пять лет выросла в 2 раза, а кадровый состав обновился примерно на 60 %. Среди генералов насчитывалось 1/3 иноземцев и 2/3 русских (около половины русских происходили из недумного дворянства, а традиционная элита, как и при Петре I, продолжала контролировать высшие генеральские ранги). В изучаемое время также сформировалась значительная группа генералов, состоявших при статских делах. Интенсивность перемещений генералитета 1725–1730 гг. с военной службы на гражданскую (и наоборот) была невелика: около 70 % генералов ни разу за пять лет не сменили профиль службы.

Ключевые слова: генералитет; правящая элита; армия; служба; национальный состав; социальный состав.

Sergey Chernikov (Сергей Васильевич Черников), dr.

Russia, Lipetsk

Lipetsk State Technical University

zserg72@gmail.com

DER DEUTSCH-RUSSISCHE UNTERNEHMER ANDREAS KNAUF IM URAL

Der Aufstieg

Hans Peter Andreas Knauf, known in Russia as Andrey Andreevich Knauf (1765 – 1835), is an uncommon figure in Russian history. His life leaves many questions that are still to be answered. He was, however, an outstanding personality that played a significant role in the development of the mining and iron foundry industries in the Urals. Born in Kiel, the capital of the Duchy of Holstein, Andrey Knauf, a son of a shoemaker who had neither capital nor connections, was a talented autodidact, and a fellow-countryman of Emperor Peter III. He came to Russia at the age of 18 and achieved considerable success in commerce becoming a prominent merchant of the top guild in Moscow and a manufacturer in the Urals. The article focuses on Knauf's activity in the Urals as an owner of mining factories and on their modernization by transferring German technologies, especially in 1801–1811. His experience is interesting in the context of serfdom and the lack of trained workers in the system of possessional manufactures. However, to study the problem in question the author considers it reasonable not to confine to the meta-concepts of autocracy and serfdom, which are perceived as interpretative patterns for the period in question, but to complete those meta-concepts with micro-historical sketches focusing on “particular” facts and the role of an individual in history.

Keywords: late 18th – early 19th century; P. M. Gussyatnikov; A. Knauf; I. M. Luginin; N. E. Myasoedov; A.B. Kurakin; M. F. Soymonov; I. F. Völkner; A. N. Golitsyn; L. N. Gagarin; G. A. Stroganov; S. P. Yaguzhinskiy; I. P. Osokin; S. A. Fomintsov; industrialization; mining industry; metal-working industry; Urals; modernization; transfer of technologies; transfer of knowledge.

Hans Peter Andreas Knauff, in Russland Andrej Andreevič Knauf (1765–1835), ist ein ungewöhnliches Phänomen in der russischen Geschichte, das bis heute viele Fragen aufgibt, auf die es nur annähernd zufriedenstellende Antworten geben kann. Eines kann jedoch als sicher gelten – Andrej Knauf ist ein ungewöhnlicher Unternehmer in der Geschichte des Bergbaus und der metallverarbeitenden Industrie im Ural und darf eine herausragende Persönlichkeit genannt werden.

In Kiel geboren, wurde er zum russischen Untertan, Moskauer Kaufmann 1. Gilde und Inhaber und Pächter von zahlreichen Bergwerken,

Eisenhütten und Metallwarenfabriken. Im Kontext seiner unternehmerischen Tätigkeit ist es interessant, Aspekte einer Modernisierung der Metallindustrie in Russland zu untersuchen. In die Zeit, als Andrej Knauf von 1797 bis 1818 Berg- und Metallwerke am Ural leitete, insbesondere in der Kernzeit von 1801 bis 1811, gehören wichtige Impulse für eine Modernisierung, die die Entwicklung der metallverarbeitenden Industrie positiv beeinflusste.

Seine Erfahrungen geben eine indirekte Antwort auf die Frage, die auch heute viele bewegt: Wie ist es eine Modernisierung zu bewältigen, wenn mikro- und makroökonomische Rahmenbedingungen einer Leibeigenschaft und staatlicher ineffektiver Verwaltung die Geschichte der Wirtschaft in vielem bestimmen? Diese Frage hat an Aktualität in keiner Weise verloren. *Raison d'état* und private unternehmerische Initiative, die oft in einen Interessenkonflikt gerieten, geben im Vergleich zu heute verblüffend ähnliche Sachverhalte aus dem Ende des 18. Jahrhunderts wieder. Die brisante Frage in Russland, wie viel Staat und wie viel privatwirtschaftliche Initiative überhaupt sein soll, bleibt nach wie vor hoch aktuell.

Der Autor dieser Fallstudie geht davon aus, dass weder „Autoritarismus“ noch „Leibeigenschaft“ ausschließlich am Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens „schuld“ waren, sondern vielmehr eine komplizierte Kombination vieler Faktoren.

Die Kaufmannslehre in St. Petersburg und die kaufmännische Praxis in Moskau

In der Sekundärliteratur sind vor allem zwei Artikel zu erwähnen, deren Autoren wichtige Forschungsarbeit geleistet haben: Erik Amburger und Ewgenij G. Nekljudow. [Amburger, 1982, S. 122–130; Неклюдов, с. 83–101] Ihre Artikel bilden eine wichtige Grundlage zur Erforschung dieses Themas.

„Der 1765 in Kiel geborene Schuhmachersohn Hans Peter Andreas Knauff begleitete seinen Vetter Hans Friedrich Knauff, als dieser 1784 als Silberschmiedeselle nach St. Petersburg reiste, wo man Verwandte besaß und wo Hans Friedrich es bald zum Meister brachte, während der jüngere Andreas in die Kaufmannsgilde ging.“ [Amburger, 1982, S. 122] Es kann als sicher gelten, dass Andreas Knauf ein Jahr früher schon Kiel verließ. Dies bezeugt sein Pass, der am Samstag, den 19. Juli 1783, vom Oberpräsidenten der Stadt Kiel Hans Casper Reichsgraf von Bothmer ausgestellt wurde, damit Knauf nach St. Petersburg reisen konnte [ЦИАМ, ф. 32, оп. 4, д. 2758, л. 3].¹ Knapp eine Woche später, am Freitag den 25. Juli, ging der junge Mann in St. Petersburg an Land [ЦИАМ, ф. 32, оп. 4, д. 2758, л. 3].

In vier Jahren absolvierte Andrej Knauf seine kaufmännische Lehre in der neuen russischen Hauptstadt und siedelte 1788 mit 23 Jahren nach

¹ Ca. eine Woche dauerte eine Reise mit dem Schiff von Kiel nach St. Petersburg.

Moskau über, wo er eine Anstellung im Kontor von John Tamesz & Co., einer alten Export- und Importfirma holländischen Ursprungs, fand [Amburger, 1979, S. 161 ff.]. Hier in Moskau war er so erfolgreich, dass er in sieben Jahren eine gute Position im Handelsgeschäft erreichte und 1795 mit seinem englischen Partner William Doughty die Großhandelsgesellschaft Doughty, Knauff & Co. gründen konnte. Dafür traten beide in die erste kaufmännische Gilde ein: A. Knauf am 19. Dezember im Basmanner Bezirk, in dem die Großkaufleute Mitglied waren [Микитюк, с. 71]. Dazu mussten beide Kaufleute die russische Staatsangehörigkeit erwerben, andernfalls hätte man ihnen nur eine Mitgliedschaft auf Zeit gewährt. Um jedoch uneingeschränkt Geschäfte tätigen zu können, bedurfte es der ständigen Mitgliedschaft. Doughty nannte sich von nun an Vasilij Vasiljevich. Knauf hieß in der Meldebescheinigung aus dem Jahr 1795 immer noch „Petr Andreev syn Knauf“, wobei in seinem Pass unter dem Vermerk vom 2. September 1793 auf Russisch Andrej Andreevich beglaubigt wird [ЦИАМ, ф. 32, оп. 4, д. 2758, л. 12].

Beim Erwerb der russischen Staatsangehörigkeit gab es zwei wesentliche Momente. Aufgrund des Hoheitlichen Erlasses vom 31. August 1795 schrieb der Moskauer Magistrat Andrej Knauf am 4. September als zeitweiliges Mitglied in die Kaufmannsgilde ein [Ibid., л. 8]. Kurz danach reichte er einen Brief an die Kaiserin mit der Bitte ein, ihm eine „ewige russische Staatsangehörigkeit“ zu verleihen und zu erlauben, sich als ständiges Mitglied in die 1. kaufmännische Gilde einzuschreiben [Ibid., л. 11]. Schließlich wurde er am 17. Dezember des gleichen Jahres vom Pastor der evangelisch-lutherischen Peter-Paul-Kirche im Basmanaja Bezirk vereidigt. Seinen sozialen Aufstieg setzte Knauf 1801 fort, als er zum „namhaften Bürger“ (imenityj grazhdanin) der Stadt Moskau ernannt wurde [ПЦЗ-1, т. 26, с. 326, zitiert nach: Amburger, 1982, S. 53].² Damit gehörte er der obersten Klasse der nichtadeligen städtischen Gesellschaft.

Peter Andreas Knauf ließ also seinen Namen erst am 31.12.1801 offiziell ändern, wobei er auch vorher schon, z. B. im Jahr 1788 bei den russischen Behörden, Andrej Andreevich genannt wurde und seine Gesuche auch mit diesem Namen unterschrieb. [ЦИАМ, ф. 32, оп. 4, д. 2758, л. 3, 15].³ Das war eine verbreitete Praxis unter den Ausländern, die sich zur Erleichterung des Umgangs mit den russischen Kollegen fast immer einen russischen Namen zulegte. Der Eintritt in die 1. Gilde ermöglichte Knauf und seinem Partner, nicht nur intensive Handelsgeschäfte zu tätigen, sondern auch ein industrielles Gewerbe zu betreiben. Damals wohnte Knauf im Hause des General-Leutnants S. A. Fomintsov nicht weit vom Borovitskij Kloster [Микитюк, с. 71].

Die ersten Erfahrungen konnten die beiden Partner 1796 machen, als ihnen am 25. Februar die Verwaltung des Preobrazhensker Werks des Mos-

² Identisch mit dem Stand der Ehrenbürger, der im Jahr 1832 eingeführt wurde.

³ Auf der Rückseite sind auch Vermerke aus den Jahren 1783, 1788 und 1793 zu finden.

kauer Kaufmanns Petr Michajlovich Gusjatnikov aufgetragen wurde. Dies kam zustande, als die Bankkaufleute John Hembry und Karl Hasselgreen und der englische Kaufmann Schneider vermutlich als Gläubiger von Gusjatnikov teilweise Eigentumsrechte an dessen Besitztum bekamen [РГИА, ф. 37, оп. 3, д. 187, л. 1–64; vgl.: РГИА, ф. 1374, оп. 3, д. 2649].

Andrej Knauf witterte große Geschäfte. Vielleicht schwebte ihm ein ähnliches Schicksal wie das von Nikita Demidov und seinem Sohn Akinfij vor, die ein Industrieimperium am Ural aufbauten und es zu großem Reichtum brachten. Bis etwa 1807 gelang dies auch Knauf gut, dann ging es allerdings bergab. Bis dahin waren es jedoch etliche Jahre unglaublicher Expansion: Knauf und seine Partner kauften, wo es möglich war, die Metallhütten im Ural auf.

Der Aufstieg

Der erste große Erwerb durch Doughty und Knauf fand im Jahr 1797 statt. Der russische Kaufmann Ivan M. Luginin war in finanzielle Nöte geraten und hatte sich immer mehr verschuldet. Vermutlich verfiel er der Spiel- oder Trunksucht. [РГИА, ф. 1374, оп. 2, д. 1779, л. 6; РГИА, ф. 1374, оп. 2, д. 1781]⁴. Ihm blieb nichts anderes übrig, als seine Zlatouster Werke im Südural 1797 zum Verkauf anzubieten [Ibid., д. 1799, л. 9, 48 fl.].⁵ Der Preis betrug 1.800.000 Rubel [Ibid., л. 2]⁶. Schließlich wurde am 26.11.1797 ein Kaufvertrag zwischen Luginin und Knauf in Anwesenheit vom Luginins Vormund N. E. Mjasoedov unterzeichnet, nach dem Knauf fünf Werke sowie dazugehörige Possessionsbauern und Ländereien bekam [РГИА, ф. 1374, оп. 2, д. 1779, л. 48].⁷ Dieser Vertrag wurde jedoch nicht von höchster Stelle bestätigt, sondern rückgängig gemacht.

Major Ahmatov, ehemals Luginins Leibeigener und Leiter seiner Werke, und der andere Werksleiter Major Hrushchev erfuhren vom Vertrag und meldeten ihre Ansprüche beim Bergkollegium, Senat und dem Zaren selbst. Dabei zweifelte man in der Regierung an der Eignung dieser Bewerber. Es war bekannt, dass sich die beiden eines unrechtmäßigen Erwerbs erfreuten. Ahmatov „bereicherte [...] sich auf Kosten von Luginin und hat jetzt ein beträchtliches Kapital. Er versucht eine fürsorgliche Rolle zu spielen, um an den Besitz der Werke heranzukommen, in Wahrheit aber strebt er einen vollkommenen Ruin von Luginin an, während er auch in

⁴ Siehe auch den Brief von Nikolaj Mjasoedov vom 25. August 1799. Luginins Ehefrau lebte von ihrem Mann getrennt und mittellos in St. Petersburg.

⁵ Am 25.08.1799 schrieb Nikolaj Mjasoedov in einer Erklärung: „Als ich jedoch meine Vormundschaft aufnahm, verließ Luginin sündhaftes Leben und zeigt bereits seit zwei Jahren gute Führung, wie es sich bei einem edlen Mann gehört.“

⁶ Mjasoedov erwähnt, dass der anfängliche Preis bei 1.370.000 Rubel lag und es ihm gelang, Knauf dahin zu bringen, den höheren Preis zu zahlen und noch zusätzliche 25.000 Rubel für dringende Maßnahmen zwecks Aufrechterhaltung des Betriebs „dieser verfallenden Werke“.

⁷ Die Possessionsbauern durften nicht getrennt von den Werken verkauft werden, weil sie ihre Arbeit dort entrichten sollten. Das konnten sowohl die Leibeigenen als auch die staatlichen Bauern sein, deren elende Lage sich jedoch kaum voneinander unterschied.

den Besitz von Luginins Wechseln für 112.000 Rubel herangekommen ist. Er hat ihn im höchsten Maße bestohlen und trieb ihn in die Pleite“ [Ibid., л. 8]. Unter dem Vorwand der Fürsorge kaufte Ahmatov von Luginin die Ein-Rubel-Wechsel für 20 Kopeken ab, verlangte jedoch dafür die ganze Summe von 112.000 Rubeln. Auch Major Hrushchev kam auf die gleiche Weise in den Besitz eines Wechsel von 22.000 Rubeln. In diesem Fall bekam Luginin nur 2.000 Rubel [Ibid.].

Das langwierige Erwerbsprozedere der Werke von Luginin nennt Mikitjuk zurecht als widersprüchlich und geheimnisvoll [Микитюк, с. 72]. Dabei lässt sich nach den letzten Erkenntnissen sagen, dass es hier fünf Interessenparteien gab, die eine wesentliche Rolle spielten: der Verkäufer Nikolaj Luginin, die Käufer Andrej Knauf und Vasilij Doughty, sowie die russische Regierung, außerdem die russischen Mitbewerber Majoren Ahmatov und Chrushchow. Die vielen Interessenten und der launige Kaiser Paul I. konnten für viele überraschende Wendungen sorgen.

Die Geschichte des Erwerbs durch Andrej Knauf lässt sich mit Hilfe eines Berichts aus der Kanzlei des General-Prokurors im regierenden Senat Alexej Kurakin rekonstruieren [РГИА, ф. 1374, оп. 3, д. 2500, л. 2–4]. Darin wird es erklärt, dass Knauf in den Ruin getrieben werde, weil die bei Luginin erworbenen Werke von der Krone wieder zurück gekauft wurden, nachdem Knauf bereits einen Kaufvertrag abgeschlossen hatte. Darin verpflichtete sich Knauf, die Werke für 1.800.000 Rubel zu kaufen, sofort deren Leitung zu übernehmen und darüber hinaus mit 400.000 Rubel in Vorlage zu treten, um die Luginins Gläubiger zu entschädigen und die Aufrechterhaltung des Betriebs der Werke zu garantieren [Ibid., л. 2]. Vor allem brauchte man Geld für die Verpflegung und die Löhne der Werksarbeiter.

Dafür lieh sich Knauf 1.000.000 Rubel im Ausland. Der regierende Senat bestätigte zwar den Kaufvertrag und legte ihn dem Zaren zur Unterzeichnung vor, was General-Prokuror Kurakin, der gleichzeitig Direktor der Reichsassignatenbank war, nicht hinderte, einzugreifen und zu erklären, Knauf sei ein Ausländer und kein russischer Untertan und habe deshalb kein Recht, solche Kaufverträge abzuschließen. Das entsprach jedoch nicht der Wahrheit, denn Knauf war seit 1795 russischer Untertan.

Desweiteren trug die Entdeckung des Goldvorkommens am Werk in Zlatoust dazu bei, dass die Regierung nach Abschluss des Kaufvertrags durch Knauf das Ganze für ungültig erklärte. So blieb die Goldgewinnung bis 1812 Staatsmonopol.

Danach wurde Luginin von höchster Stelle befohlen, alles daran zu setzen, die Werke zu behalten und den Betrieb zu gewährleisten. Dafür stellte ihm die Reichsleihbank ein Darlehen zur Verfügung. Sollte Luginin scheitern, würden die Werke von der Krone unter den gleichen Bedingungen wie bei Knauf gekauft werden [РГИА, ф. 1374, оп. 3, д. 2500].

Dies bedeutete für Knauf einen Verlust von 300.000 Rubel, die Zinszahlungen und die Rückgabe des Kredits eingerechnet. Als Knauf seine russische Staatsangehörigkeit bewies, bekam er von der Krone 100.000 Rubel zurück.

Widersprüchlich war das Verhalten seitens der russischen Regierung, als sie die Werke für sich beanspruchte, sie dann aber 1797 sofort zum Verkauf anbot, um die Schulden an die Gläubiger zurück zu zahlen [РГИА, ф. 1374, оп. 2, д. 1779, л. 10, 19]⁸. Anderthalb Jahre passierte nichts [л. 8].⁹ In dieser Zeit wurde Knauf, der sich im rechtmäßigen Besitz der Werke sah, mit weiteren Ausgaben belastet. Das waren unter anderem Ausgaben für die Arbeiter und Bauern. Mjasoedov berichtet über die Zeit, als er den Kaufvertrag mit Knauf abschloss, dass die Werke nur noch für einen Monat Geld hatten, um die Arbeiter mit den nötigen Lebensmitteln zu versorgen. Danach sollten sie stillgelegt und dem Verfall preisgegeben werden. Knauf rettete diese Werke, indem er ein schwieriges Geschäft mit dem Staat einging und sich sehr großzügig zeigte.

Insgesamt lässt sich sagen, dass das Intermezzo mit Knauf und sein energisches Eingreifen um den Erhalt der Lugininschen Werke positive Ergebnisse zeigten. Die Werke waren vor dem Konkurs gerettet, die Produktionsraten stiegen kontinuierlich: In der zweiten Hälfte des Jahres 1797 wurden 75251 Pud Eisen produziert, im Jahr 1798 – 291799 Pud, in der ersten Jahreshälfte 1799 – 287.924 Pud. Jedes Jahr wurde die Produktion verdoppelt, so dass 1799 das eingeplante Volumen mit zusätzlichen 3111 Pud übererfüllt wurde. Die Produktion beinhaltete unterschiedliche Profile, u.a. Eisenblätter und -balken. [Ibid., оп. 3, д. 2500, л. 36 f].

Nach allen Gesuchen und Bitten wurde dem Direktor des Bergkollegiums M. F. Sojmonov¹⁰ auferlegt, die Angelegenheit um die Lugininschen Werke endlich zu regeln. Erschwerend kam hinzu, dass Kurakin und Sojmonov mit Gesuchen von Ahmatov und Hrushchev konfrontiert wurden. Letztere waren der gleichen Meinung, dass es sich nicht gehöre, die Werke in private Hände zu geben. [РГИА, ф. 1374, оп. 3, д. 2500, л. 3]. Von Bedeutung war auch, dass Fürst Kurakin dem Bergrat angehörte. [Тулисов, 1999, с. 33–36; ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 2982, л. 73]. Die Bittschrift von Luginin, seinem Kaufvertrag mit Knauf stattzugeben, sowie die Bittschriften von Knauf, Ahmatov und Hrushchev wurden von der höchsten Stelle abgelehnt. [Ibid., оп. 2, д. 1779, л. 8].

Kurakin und Sojmonov sorgten dafür, dass die Werke in kürzester Zeit von der Reichsassignatenbank, die gegenüber der Bank-Brücke mit den Löwen-Greifen stand, zurück gekauft wurden. Wiederum trug die Reichsassignatenbank die Verwaltung der Werke dem Bergkollegium auf [Ibid., он. 3, г. 2500, л. 4]. Hiermit übernahm der Staat in Person von Kurakin nahezu die gesamte Verwaltung der Werke und brachte sie gänzlich in den eigenen Machtbereich.

⁸ „...Weil aber Luginin durch seine Schwäche in kürzester Zeit <...> große Schulden gemacht hatte“. Die Schulden betrugen nahezu zwei Millionen Rubel.

⁹ Aus dem Brief von Nikolaj Mjasoedov vom 25.08.1799.

¹⁰ Präsidenten des Bergkollegiums waren: M. F. Sojmonov (1771–81), I. I. Rjazanov (1781–1784), A. A. Nartov (1796–1798), A. V. Aljabjev (1798–1802), A. I. Korsakov (1802–1806). In: Geologičeskaja ěnciklopedija, Artikel von V. A. Bojarskij. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/464/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3.

Damit war die Geschichte noch nicht zu Ende, denn der Verkauf des Eisens seitens der Reichsassignatenbank wollte nicht vonstatten gehen: „Sehr langsamer Verkauf des Eisens in kleinen Mengen, das sich in der Handelsbörse angehäuft hat, führen die Unbedarftheit der Staatskasse in solchen Handelsangelegenheiten deutlich vor Augen. Es gehört sich nicht, die Staatskasse nach den Bräuchen der Handelsleute zu agieren.“ [РГИА, ф. 1374, оп. 3, д. 2500, л. 4]. Das Fazit lautete: „Eine Analyse der letzten zehn Jahre zeigt, dass die Bergwerke und Eisenhütten, die in privater Hand liegen, eine höhere Effektivität aufweisen.“ [Ibid.].

Das Bergkollegium nahm plötzlich den Standpunkt von Andrej Knauf ein und pflichtete ihm bei, dass „die Werke in der Staatshand nicht gewinnbringend betrieben werden können und die einzige Lösung wäre, sie Knauf zurück zu geben.“ [Ibid.]. Die Regierung könnte sich in diesem Fall als Gewinner betrachten, da Knauf sich verpflichtete, ihr das Geld, das sie für den Kauf der Werke aufgewendet hatte, zurückzuerstatten. Es bedurfte nur der Genehmigung des Kaisers.

Knauf kämpfte weiter und erreichte, dass die Werke ihm nach dem kaiserlichen Erlass vom 4. Mai 1798 zur Leitung und zur Pacht übergeben wurden. Chruschchev wollte im Auftrag der Regierung die Werke leiten und bot 1000 Leibeigene als Pfand. Ahmatov bot 2000 Leibeigene und wollte als selbständiger Unternehmer die Leitung übernehmen. Knauf bot dazu noch seine Firma als Pfand an. Das genügte, um das Bergkollegium und den Senat zu überzeugen [Ibid., л. 19], allerdings unter der Bedingung, dass Knauf das fünfte Werk in Zlatoust, die Kupferhütte mit Ländereien und Arbeitern, dem Staat abtrat [РГИА, ф. 1374, оп. 3, д. 2500].¹¹ Auch diesmal wollten sich Ahmatov und Hrushchev nicht geschlagen geben und ersuchten den Zaren, ihnen jeweils eines der Werke als Pächter zu überlassen. Sie bezweckten damit, „das Ganze zu verwirren und zu verhindern.“ [Ibid., оп. 2, д. 1779, л. 8]. Dies hatte zur Folge, dass die Zlatoust Werke am 20.05.1799 wieder von der staatlichen Reichsassignatenbank gekauft wurden [Ibid., л. 54]. Ein anderer Deutsche, I. F. Völkner, wurde von der Regierung zum Leiter der Werke ernannt. Er blieb im Amt von Juli 1799 bis April 1802, als die Werke bereits wieder Knauf gehörten. [Новиков; Неклюдов, с. 83–101; vgl.: ГАСО, ф. 24, оп. 3, д. 72, л. 2, 14]. Die seit 1797 kontinuierlich steigenden Produktionszahlen wuchsen auch unter dem neuen Leiter weiter. Sehr wahrscheinlich arbeitete Völkner in enger Verbindung mit Knauf. Zum wiederholten Male begannen die Staatsmühlen zu mahlen.

In der Zwischenzeit ging Völkner die Leitung der Werke energisch an. Wie es sich zeigte, verlief auch hier die Konfliktlinie zwischen dem neuen Hauptleiter und den einzelnen Leitern der Werke wie E. F. Ahmatov. Dieser beschuldigte Völkner nämlich eines Amtsmissbrauchs, einer bewussten Reduzierung der Produktion und einer moralischen Verderbt-

¹¹ Später hat es sich erwiesen, dass dort kein nennenswertes Goldvorkommen vorhanden war, die Kupferhütte blieb jedoch in staatlicher Hand, was für Knauf einen großen Verlust bedeutete.

heit, was nach einer Überprüfung nicht bestätigt wurde [Тулисов, 1999, с. 273–274]. In der Tat führte Völkner nach seiner Amtseinführung am 25. Mai 1799 ein strenges Regiment. Als er am 10. Juli vor Ort eingetroffen war, stellte er Inventarlisten zusammen und überprüfte die Werksunterlagen und Arbeiterzahlen. Ahmatov, dem Verwalter des Werks Artinsk, wurde wegen seiner Willkür und des eigenwilligen Gebrauchs des staatlichen Eigentums gekündigt. Er kam vor Gericht. Zvezdin, Verwalter des Werks Miass, und sein Buchhalter wurden für die Unterschlagung staatlicher Gelder bestraft [Новиков]. Die wieder hergestellte Ordnung in den Werken zeigte sich in den Produktionszahlen. Es wurden im Zlatouster Werk jährlich 280000 bis 416000 Pud Roheisen produziert. Völkner wie auch später Knauf beschwerte sich wegen des Mangels an Fachleuten, konnte jedoch wenig ausrichten. Einmal begegneten sie sich noch im Jahr 1812 auf dem Jahrmarkt in Makarjev bei Nizhnij Novgorod. Der ältere Sohn von Völkner, Fjodor, war 1856–1863 Hauptleiter der Bergwerke im Ural und hatte unmittelbar mit den Knauf-Werken zu tun [Ibid.].

Die Schwierigkeiten beim Erwerb der Lugininschen Werke durch Knauf hatten unter anderem mit der Umstrukturierung der staatlichen Bergverwaltung zu tun. [Тулисов, 1999, с. 33–36; ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 2629, л. 166]. Aufgrund der Erlasse vom 4.1.1797 und 3.5.1797 bekamen die neuorganisierte Kanzlei der Hauptverwaltung der Bergwerke Ural und ihr Hauptleiter mehr Befugnisse. Die Regierung behielt den Ural mit seiner strategischen Bedeutung besonders für die Kriegsindustrie, immer im Blick. Um diese Zeit wurden dort 81% Eisen und 95% Kupfer hergestellt [Ibid.]. Das war die einzige Region in Russland, in der Gold gefördert wurde. Verständlich, dass diese Region große Begehrlichkeiten von allen Seiten weckte. So gewannen in der Regierung abwechselnd prostaatliche und privatwirtschaftliche Interessen die Oberhand, nicht zuletzt je nachdem, wo die Staatsdiener mehr Vorteile für sich und für die Staatskasse erhofften.

Es folgen Bittschriften von Knauf an höhere Stellen über die Rückgabe der Werke. Eine davon ist mit 25.05.1800 datiert. Knauf erwähnt darin, dass er außer 300.000 Rubel noch Verluste in den Wechseln durch die Pleiten in Hamburg und London zu verzeichnen hätte. Seinerseits erklärte er sich bereit, nicht nur auf die Rückerstattung seiner Verluste zu verzichten, sondern auch alle Vorräte an Eisen, das unter seiner Leitung hergestellt worden war, an den russischen Staat abzutreten. Darüber hinaus erklärte er sich bereit, zusätzlich zur fälligen Steuer jährlich 100.000 Rubel und weitere 10% an die Staatskasse zu zahlen. Ebenso verpflichtete er sich, das Eisen, das bei der Reichsassignatenbank deponiert wurde, zum höheren als auf der Börse gehandelten Marktpreis zu kaufen [РГИА, ф. 1374, оп. 3, д. 2500, л. 8, 22, 42, 63].¹² Dass Knauf bereit war, solch hohe Auflagen auf sich

¹² Knauf wurde verpflichtet, 287.517 Pud Eisen für 2 Rubel pro Pud für 575.034 Rubel insgesamt zu kaufen. Im-Endeffekt zahlte er dann noch mehr – 706.868 Rubel. In seinem Gesuch aus dem Jahr 1812 nennt er gar 350.000 Pud.

zu nehmen, zeigt, dass er um jeden Preis sein Ziel erreichen wollte. Er hatte dazu auch alle Möglichkeiten: Hinter diesem Projekt standen außer ihm einflussreiche ausländische Kapitalgeber, die offensichtlich daran interessiert waren, beträchtliche Mittel in die russischen Berg- und Hüttenwerke zu investieren.

Aber es gab auch schmerzliche Verluste: Im Jahr 1800 fuhr Knaufs Partner Doughty zurück nach England und die Firma hieß von nun an Knauf & Co. Knauf erwies sich als hartnäckig, und nach fast anderthalb Jahren wurde der endgültige Erlass vom 30.09.1800 veröffentlicht, Kraft dessen ihm die Werke übergeben werden sollten [РГИА, ф. 1374, оп. 3, д. 2500, л. 27, 59-80; ГАСО, ф. 24, оп. 3, д. 72, л. 23; ПСЗ-1, т. 26, № 19583, с. 326 f]¹³. Dadurch bekam Knauf den ganzen Zlatoust Bergbaubezirk unter seine Verwaltung [РГАДА, ф. 271, оп. 1, д. 2978, л. 11-18; РГИА, ф. 560, оп. 3, д. 96, л. 2]¹⁴ Außer der Berg- und Metallwerke trug er die Verantwortung für 5245 Arbeiter und Possessionsbauern [РГИА, ф. 1374, оп. 2, д. 1779, л. 15]¹⁵ sowie ihre Familienmitglieder, insgesamt ca. 12000 „Seelen“, bekam Ländereien, Wälder und Bodenschätze wie Eisenerz [Микитюк, с. 72; РГИА, ф. 1374, оп. 2, д. 1779, л. 7]. Außerdem zählte er seit dem 31. Dezember 1801 zu den Ehrenbürgern der Stadt Moskau [ЦИАМ, ф. 2, оп. 2, д. 70, л. 89 f]. Rechtlich gesehen war er ein erblicher Pächter, zuerst auf zehn und dann auf 25 Jahre, der sich verpflichtete, alle Schulden innerhalb von zehn Jahren abzuführen. Seine ehrgeizigen Pläne schienen in Erfüllung zu gehen. Die Werke wurden auf 25 Jahre an die Reichsassignatenbank verpfändet, bis Knauf alle Schulden, die Luginin gemacht hatte - und die verliefen auf ca. 2.000.000 Rubel, Zinsen inklusive - an die Gläubiger zurück gezahlt hatte [РГИА, ф. 1374, оп. 3, д. 2500, л. 19]. Das fünfte Werk, in dem Goldvorkommnisse gefunden wurden, trat Knauf an die Krone ab. Sie machte damit ein gutes Geschäft, da Knauf bereit war, auf die Rückerstattung der Schulden durch Prozesskosten in Höhe von 400.000 Rubel, zu verzichten und jährlich an Luginin eine Pension in Höhe von 20.000 Rubeln zu zahlen. [Ibid., оп. 2, д. 1779, л. 1, 4ff].

Zu dieser Zeit verfügte Knauf bereits über Zugang zu den einflussreichen russischen Adelligen. Sein Verhalten lässt Rückschlüsse auf seinen Charakter zu. Dass er nicht nur sehr zielstrebig und energisch, sondern auch fähig war, Sympathien zu gewinnen, bezeugte sein immer größer werdender Partner- und Bekanntenkreis. Er gestaltete raffinierte Kombinationen, genoss großes Vertrauen und konnte überzeugen, galt gar als ein Wirtschaftsgenie. Hinter ihm standen die Bankiers und Großkaufleute Doughty, Schneiders und Hasselgreen. Ihn unterstützten einflussreiche russische Kaufleute und Adelige. Dazu gehörten Fürst A. N. Golitsyn,

¹³ Knauf wurde der Vorzug mit der Begründung gewährt, weil dass er „Kenntnisse in der Bergwissenschaft besitzt“.

¹⁴ Werke: Artinskij, Zlatoustovskij, Kusinskij und Satkinskij; vgl.: [Amburger, Knauff, S. 122f.]; Неклюдов, с. 83-101].

¹⁵ Stand am 29.06.1798.

Fürstin L. N. Gagarin, Baron G. A. Stroganov, Graf S. P. Jaguzhinskij, die Industriellen I. P. Osokin und P. M. Gusjatnikov. Er war so ehrgeizig, dass er gegen die russische Regierung einen Prozess anstrengte und ihn auch gewann. Ein Großunternehmer sollte sich jedoch früher oder später mit der Krone arrangieren.

Als Pfand für die Werke durfte er laut Kaufvertrag 1000 leibeigene Bauern „hinterlegen“. Da er aber keine hatte, erklärte sich Fürst A. N. Golitsyn bereit, ihm seinen Gutsbesitz in Kaluga zu verkaufen [РГАДА, ф. 271, оп. 1, д. 2989]. Bis der Kaufvertrag in Kraft trat, durfte Knauf wiederum eine Vollmacht von der Fürstin L. N. Gagarin vorlegen, die 1000 Leibeigene aus ihren Gütern in drei Gouvernements zur Verfügung stellte. [Неклюдов, с. 83–101].

Drei Jahre später, am 16. September 1804, überließ Baron G. A. Stroganov Knauf drei Eisenhütten im Ural, auf denen bereits 470.000 Rubel Schulden lasteten. [Amburger, 1982, S. 126]. Dafür verpflichtete Knauf Stroganov zur Zahlung einer einmaligen Summe von rund 500.000 Rubel. Stroganov schätzte Knauf als einen fähigen Manager, den er „von der besten Seite durch seine aktuelle Leitung der (Zlatouster, A. K.) Werke“ kannte. Der Baron erlaubte Knauf, „Werke zu besitzen und Arbeiter zu leiten, als ob das seine eigenen wären, in der festen Hoffnung, dass er dadurch sein ihm zustehendes Gewinn bekommt und dass er nicht ihn, Stroganov, und seine Leute vergesse.“ [Неклюдов, с. 83–101].

Andrej Andreevič war gut im Geschäft. Schon am 4. April des gleichen Jahres gelang es ihm, einen Kaufvertrag mit dem hoch verschuldeten Industriellen und Moskauer Kaufmann I. P. Osokin abzuschließen und so in den Besitz von weiteren drei Eisenwerken und drei Kupferhütten zu kommen. Dies kostete Knauf 1.315.000 Rubel. [Неклюдов, с. 83–101; Amburger, 1982, S. 126]¹⁶.

Anfang 1805 leitete Andrej Knauf 14 Eisenwerke und Kupferhütten, die Hälfte davon in seinem Besitz, die andere Hälfte gepachtet. Dank dieses Erwerbs zählte die Firma Knauf & Co. zu den dynamischsten in der Branche. Dies kostete Knauf oder besser gesagt seinen Gläubigern viele Millionen Rubel an Investitionen. Die Tatsache, dass es Knauf gelang, über Jahre hinweg sein Unternehmen aufrecht zu erhalten und die Produktion sogar zu steigern, verdient alle Achtung und ist einzig und allein Knaufs unternehmerischem Talent zuzuschreiben. Der Kapitalmangel, unter dem sein Unternehmen permanent litt, wurde ihm schließlich zum Verhängnis [Микитюк, с. 73].

Zum Verhältnis von Staat und Privatunternehmen in der Hüttenindustrie

Das Geschehen mit und um Andrej Knauf kann nur im Kontext der Entwicklung im 18. Jahrhundert verstanden werden. Von Anfang an ging

¹⁶ Beim aktuellen Wechselkurs von 249 Rubeln für einen Silberrubel oder 90 Rubeln für eine Banknote durften das 327.435.000 oder 118.350.000 Rubel sein.

die Gesamtentwicklung von Hüttenwerken und metallverarbeitender Industrie Hand in Hand mit staatlicher Initiative und Unterstützung. Peter der Große legte die Grundlagen dieser Industrie, wobei sie schon im 17. Jahrhundert mithilfe ausländischer Unternehmer in Tula und Karelien entwickelt wurde. Eine Zäsur markierte die Gründung des Bergkollegiums mit dem Erlass vom 10.12.1719, das die Bergindustrie einschließlich der Hüttenwerke leiten sollte. [ИЦ3-1, т. 5, №. 3464, с. 760ff]. Für Unternehmer und Handwerker bedeutete dies Vergünstigungen und Steuererleichterung. Dafür behielt sich der Staat das Recht vor, die Betriebe zu kontrollieren und alle Produkte der Werke zu kaufen. Nur dann, wenn die Staatskasse dazu nicht imstande war, durfte an Kaufleute weiterverkauft werden. Alle Werke wurden aus der Jurisdiktion der Gouverneure herausgenommen und unterstanden unmittelbar dem Bergkollegium. Weil eine Industrie dieser Art früher nur in Ansätzen existierte, kann dies als ein wesentlicher Fortschritt bezeichnet werden. Im 18. Jahrhundert entsteht dadurch vor allem am Ural ein großer Industriezweig. In dieses erste Drittel des 18. Jahrhunderts gehören Namen von Industriellen wie Demidov, Stroganov, Vjazemskij, Osokin, Nebogatov, Turchaninov. Mit Stroganov und Osokin schloss Knauf seinerzeit Verträge.

Die Entwicklung dieser Industrie verlief auch unter ständiger, wohlgesagt ungleicher, Konkurrenz zwischen Staat und privatem Unternehmertum. Vieles hing davon ab, welche Sicht der Dinge die Regierung hatte. Die meisten Industriebetriebe, die Peter I. gründen ließ, überlebten ihren Initiator nicht lange. Zu Zeiten Anna Ioannovnas befanden sich die staatlichen Betriebe in einem desolaten Zustand, dagegen wiesen die privaten Betriebe vergleichsweise bessere Zahlen und in den meisten Fällen eine positive Entwicklungsdynamik auf. Der Erlass aus dem Jahr 1739 verfügte deshalb, die staatlichen Betriebe an Privatunternehmer zu übergeben.

Neben staatlichem Besitz erschien 1747 noch eine neue Form vom Besitztum – der Kabinettsbesitz. Dieser ging aus einem Präzedenzfall hervor, als die Altai-Werke des verstorbenen Akinfij Demidov unmittelbar in den Besitz der Zarin übergingen. Die jährliche Kupferproduktion in dieser Zeit lag bei ca. 3000 Tonnen. Gleichzeitig bekam der Staat von allen Hütten 10 bis 20% des produzierten Eisens als Naturalsteuer, 50-70% der Produktion nahm er den Privatunternehmen zu festen Preisen ab. 1775 wurde der freie Handel mit Kupfer sogar untersagt. Allerdings wies die sogenannte Kabinetts-Wirtschaft kaum Wachstum auf, behielt jedoch ihre Position bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts.

Die neue Industrialisierungswelle mit den alten Methoden, d.h. kleine Öfen bei großem Arbeits- und Materialverbrauch, kam während der Regierungszeit Katharinas II. auf. In den Jahren 1793–1795 wurden jährlich im Durchschnitt etwa 48.000 Tonnen Eisen produziert [Покровский, с. 99], von denen mehr als die Hälfte nach England exportiert wurde [Fremdling, S. 39]. Die Anzahl der Arbeiter in den Metallwerken am Ural wuchs von 31.000 im Jahr 1719 auf 312.000 im Jahr 1796. [Blum,

p. 311]. Dieses extensive Wachstum erwies sich bald als sehr effektiv: Russland war führend in der Eisenproduktion und deren Export nach Europa. Genau um diese Zeit aber vollzieht sich in Europa ein technologischer Durchbruch durch die kontinuierliche Steigerung der Produktivität von Hochöfen dank der Koksverwendung und effektiver Lüftung mithilfe von Dampfmaschinen als Antrieb für die Gebläse [Бакшаев, с. 6–7, 19]. In Russland blieb man noch Jahrzehnte lang bei der Holzkohle, einem Arbeitsstoff, der sehr zeit- und kostenaufwändig gewonnen wurde und der in Europa sehr teuer und bereits veraltet war. Eine Zäsur bedeutete hier der gelungene Bau eines funktionsfähigen, mit Koks betriebenen Hochofens im Königlichen Hüttenwerk Gleiwitz im November 1796 [Verein, S. 8–9]. Es begann eine Blütezeit der Gusseisenindustrie in Europa [Johannsen, S. 32] – eine verhängnisvolle Entwicklung auch für Andrej Knauf, der, wie wir wissen, intensiv daran gearbeitet hatte, genau in dieser Richtung Verbesserungen in seinen Werken umzusetzen, nämlich bei der Vervollkommnung der Luftzufuhr und der Verwendung von Koks. Bei den veralteten Öfen war es jedoch schwer, wenn nicht unmöglich, Koks zu verwenden.

Zwei Grundfaktoren bestimmten die Entwicklung des Hüttenwesens im Ural: die Leibeigenschaft und der wachsende Export vom Eisen nach Europa, der am Ende des 18. Jahrhunderts seinen Höhepunkt erreichte und von da an wieder zurück ging. Es ist unumstritten, dass die Leibeigenschaft die Grundlage des nationalen Wirtschaftslebens Russlands im 18. Jahrhundert bis 1861 bildete. Das bedeutete vor allem unfreie Arbeit und eine extensive Art des Wirtschaftens. Die Entwicklung in Europa hatte gerade eine gegenläufige Tendenz: Während die Leibeigenschaft in Europa sukzessive abgeschafft wurde, nahm sie in Russland gegen Ende des 18. Jahrhunderts immer mehr zu. Das System war träge, brauchte keine großen Innovationen und war kostengünstig. Die beinahe unendlichen Ressourcen an billiger Arbeit und Naturschätzen erlaubten auch weiterhin eine extensive Entwicklung. Aber schon um diese Zeit versuchte die Regierung das Hüttenwesen zu kontrollieren und zu begrenzen, um den Wald zu schonen. Mit anderen Worten, das Wachstum mit veralteten Technologien stieß schon damals an seine Grenzen. Dennoch konnten die russischen Produzenten die ungeheuren Kosten für die Vorbereitung des Holzes und der Holzkohle und für den Transport des Eisens dank billiger Arbeit immer noch verkraften, was in England schon am Anfang des 18. Jahrhunderts schlecht funktionierte. Der Transport vom Ural bis ins Baltikum nahm ein, im ungünstigen Fall sogar zwei Jahre in Anspruch, wodurch sich das Gusseisen um das Zweieinhalbfache verteuerte [Blum, p. 286]. In Europa war es aber immer noch gewinnbringend zu verkaufen. In Tagiler Hütten beispielsweise wuchs die Anzahl der leibeigenen Arbeiter von 24% im Jahr 1747 auf 54,3% im Jahr 1795. Bis 1811 waren alle Arbeiter Leibeigene [Гусякова, с. 30, 37].

Modernisiert wurde überall, die Frage ist, wie viel und wie schnell. Was in Westeuropa einige wenige Jahre dauerte, konnte in Russland Jahrzehnte

in Anspruch nehmen. Die Überreste der Leibeigenschaft im Hüttenwesen und in der Metallverarbeitung wurden bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts noch nicht ganz überwunden. Langfristig gesehen, stand das russische Hüttenwesen auf verlorenem Posten. Während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts versiegte der Export aus dem Ural gänzlich [Wallerstein, p. 142; Рожков, с. 41].

Als Knauf nun die Umsetzung seiner Pläne in Angriff nahm, befand sich die russische Schwerindustrie auf ihrem Höhepunkt, und vor ihr lag die lange Stagnationszeit wegen sinkender Eisenexporte nach Europa, was er nicht voraussehen konnte. Erschwerend kam hinzu, dass 1797 die Tendenz zur Zentralisierung der Verwaltung dieses Wirtschaftszweigs am größten war, da die russische Regierung dabei war, die Erträge der Werke zu Gunsten der Staatskasse zu steigern. In Anbetracht der andauernden Kriege in Europa sollte auch die Kriegskasse gefüllt werden.

Mit der Schaffung der Kanzlei der Bergindustrie im Ural kamen drei Goldwerke, die Ekaterinburger und Kamensker Werke, vier Werke in Perm sowie 124 private Werke unter ihre Verwaltung. Aus diesem Kontext heraus ist es verständlich, dass die Kanzlei vorhatte, auch die fünf Werke von Luginin unter ihre Verwaltung zu bringen. Desto mehr verwundert es, dass es Knauf gelang, vier Werke der Staatshand zu entreißen.

Die Ereignisse überschlugen sich. Für Knauf war es ein Wettlauf mit der Zeit. Als die Kanzlei am Ural den Senatserlass erhielt, beschloss man beim Zlatouster Werk eine Bergdirektion mit zwei Mitgliedern, einem Sekretär, Kassenwart und Buchhalter zu schaffen. Nach diesem Projekt sollten der Bergdirektion alle Werke im Orenburger Oberbezirk, dem auch der Zlatouster Unterbezirk angehörte, unterstellt werden. Das Bergkollegium unterstützte diese Initiative nicht mehr, da es mit Knauf am 30. September 1800 den Vertrag unterzeichnete. Die Privatunternehmer hatten in manchen Regierungskreisen in St. Petersburg entschiedene Fürsprecher, bei denen sich auch Knauf Gehör verschaffen konnte [Тулисов, 1998, с. 37–40].

Andrej Knauf kam nach Russland zu einer Zeit, als dort viele Dynastien bedeutender Unternehmer, die im Ural die Schwerindustrie aufgebaut hatten, am Aussterben waren. Die Nachkommen dieser Unternehmer waren Nutznießer ihrer Vermögen und interessierten sich in der Regel wenig für ihre Betriebe oder wollten sie bei der ersten Gelegenheit gar wieder loswerden. Knauf und seine Partner erkannten diesen Zeitgeist und versuchten Gewinn daraus zu schlagen. Der Export vom Roheisen hatte noch wenige Jahre zuvor geboomt. Was sie nicht sofort erkennen konnten: dass die Ausfuhr ihren Höhepunkt bereits überschritten hatte und nie wieder eine solche Bedeutung erreichen sollte. Bereits in den Jahren 1793 bis 1801 ging die Ausfuhr nach England um ein Drittel zurück, um sich bis 1817 nochmals zu halbieren [Amburger, 1982, S. 127]. Angesichts dieser Exportkrise des russischen Eisens ist es verständlich, dass Knauf dem Trend hin zur Erweiterung des Sortiments und zu Inno-

vationen gerecht werden wollte. Die Lage der Schwerindustrie auf dem Ural konnte er leider nicht so schnell ändern. Die altertümlichen Methoden in der Wirtschaft waren noch Anfang des 20. Jahrhunderts zu spüren.

Бакишев А. А. Складывание и функционирование горнозаводского хозяйства Гороблагодатского округа Урала в XVIII – пер. пол. XIX века : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Екатеринбург, 2006. [Bakshaev A. A. Skladyvanie i funktsionirovanie gornozavodskogo khozyajstva Goroblagodatskogo okruga Urala v XVIII – per. pol. XIX veka : Avtoref. dis. ... kand. ist. nauk. Ekaterinburg, 2006.]

ГАСО. Ф. 24. [GASO. F. 24.]

Гусякова Т. К. Заводское хозяйство Демидовых в первой половине XIX века : автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1996. [Gusyakova T. K. Zavodskoe khozyajstvo Demidovykh v pervoy polovine XIX veka : avtoref. dis. ... kand. ist. nauk. M., 1996.]

Дашкевич Л. А., Микитюк В. П. Увеличение численности немецкого населения и его роли в экономике и культуре Урала // Немцы на Урале в XVII – начале XX в. : сб. ст. Н. Тагил, 2009. С. 26–51. [Dashkevich L. A., Mikityuk V. P. Uvelichenie chislenosti nemetskogo naseleniya i ego roli v ekonomike i kul'ture Urala // Nemtsy na Urale v XVII – nachale XX v. : sb. st. N. Tagil, 2009. S. 26–51.]

Микитюк В. П. Российско-немецкие предприниматели и их участие в экономической жизни // Немцы на Урале в XVII – начале XX в. Н. Тагил, 2009. [Mikityuk V. P. Rossijsko-nemetskie predprinimateli i ikh uchastie v ekonomicheskoy zhizni // Nemtsy na Urale v XVII – nachale XX v. : sb. st. N. Tagil, 2009.]

Неклюдов Е. Г. Купец А. А. Кнауф и его кредиторы: первый опыт иностранного предпринимательства в горнозаводской промышленности Урала // Изв. Урал. гос. ун-та. 2004. № 31. Вып. 7. С. 83–101. [Neklyudov E. G. Kupets A. A. Knauf i ego kreditory: pervyj opyt inostrannogo predprinimatel'stva v gorno-zavodskoj promyshlennosti Urala // Izv. Ural. gos. un-ta. 2004. N 31. Vyp. 7. S. 83–101.]

Новиков И. А. И. Ф. Фелькнер и управление Златоустовскими заводами на рубеже XVIII–XIX веков // Краевед. портал Челябин. обл. URL: <http://www.kraeved74.ru/pages/article517.html> (дата обращения: 30.04.2011). [Novikov I. A. I. F. Fel'kner i upravlenie Zlatoustovskimi zavodami na rubezhe XVIII–XIX vekov // Kraeved. portal Chelyab. Obl. URL: <http://www.kraeved74.ru/pages/article517.html> (data obrashcheniya: 30.04.2011).]

Покровский М. Русская история с древнейших времен. Т. 4. М., 1911. [Pokrovskij M. Russkaya istoriya s drevnejshikh vremen. T. 4. M., 1911.]

ПСЗ 1. Т. 5, № 3464; Т. 26, № 19583. [PSZ 1. T. 5, N 3464; T. 26, N 19583.]

РГАДА. Ф. 271. [RGADA. F. 271.]

РГИА. Ф. 37; Ф. 560. Оп. 3. Д. 96 (1817): Кнауф, купец. О расчете с ним по Златоустовским заводам; Ф. 1374. оп. 2. д. 1779: Об уплате долгов; д. 1781 (1799): Кнауф, московский купец. О передаче ему в управление бывших Лугининских заводов; Оп. 3, д. 2500 (1800): Об отдаче в потомственное содержание. Правительственный Сенат, канцелярия генерал-прокурора. Переписка по передаче в казну купленных заводов Лугинина московскому купцу А. Кнауфу в потомственную собственность. По прошению Кнауфа о возвращении ему приобретенных заводов; д. 2649 (1800): Кнауф, московский купец. О покупке им медеплавильных заводов. [RGIA. F. 37; F. 560. Op. 3. D. 96 (1817): Knauf, kupets. O raschete s nim po Zlatoustovskim zavodam; F. 1374. op. 2. d. 1779: Ob uplate dolgov; d. 1781 (1799): Knauf, moskovskij kupets. O peredache emu v upravlenie byvshikh Lugininskih zavodov; op. 3, d. 2500 (1800): Ob otdache v potomstvennoe soderzhanie. Pravitel'svennyj Senat, kantselyariya general-prokurora. Perepiska po peredache v kaznu kuplennykh zavodov Luginina moskovskomu kuptsu A. Knaufu v potomstvennuyu sobstvennost'. Po prosheniyu Knaufa o vozvraschenii emu priobretennykh zavodov; d. 2649 (1800): Knauf, moskovskij kupets. O pokupke im medeplavil'nykh zavodov.]

Рожков Н. Русская история в сравнительно-историческом освещении. Т. 7. Л.; М., 1928. [Rozhkov N. Russkaya istoriya v sravnitel'no-istoricheskom osveschenii. T. 7. L.; M., 1928.]

Тулисов Е. Инструкция главному начальнику Екатеринбургского горного начальства в 1802 году // Проблемы истории местного управления Сибири конца XVI–XX в. : сб. ст. Новосибирск, 1999. С. 33–36. [Tulisov E. Instruksiya glavnomu nachal'niku Ekaterinburgskogo gornogo nachal'stva v 1802 godu // Problemy istorii mestnogo upravleniya Sibiri kontsa XVI–XX v. : sb. st. Novosibirsk, 1999. S. 33–36.]

Тулисов, Е. К 200-летию открытия Канцелярии главного заводов правления «второго бытия» (1797–1802) // Екатеринбург – вчера, сегодня, завтра : сб. ст. Екатеринбург, 1998. Ч. 1. С. 37–40. [Tulisov, E. K 200-letiyu otkrytiya Kantselyarii glavnogo zavodov pravleniya «vtorogo bytiya» (1797–1802) // Ekaterinburg – vchera, segodnya, zavtra : sb. st. Ekaterinburg, 1998. Ch. 1. S. 37–40.]

ЦИАМ. Ф. 2; 32. [TSIAM. F. 2; 32.]

Amburger Erik. „Knauff, Andreas“ // Neue Deutsche Biographie. 1979. 12. S. 161–162. [online]. Available from: <http://www.deutsche-biographie.de/pnd136084036.html>

Amburger Erik. Andreas Knauff und die Knauff'schen Hüttenwerke im Ural. Sammelband: Fremde und Einheimische im Wirtschafts- und Kulturleben des Neuzeitlichen Russlands. Ausgewählte Aufsätze. Hrsg. v. Klaus Zernack. Wiesbaden (Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa 17), 1982. S. 122–130.

Blum J. Lord and Peasant in Russia. From the Ninth to the Nineteenth Century. N. Y., 1964.

Fremdling Rainer. Technologischer Wandel und internationaler Handel im 18. Und 19. Jahrhundert: die Eisenindustrien in Grossbritannien, Belgien, Frankreich und Deutschland. Berlin, 1986.

Johannsen Otto. Geschichte des Eisens. 2. Auflage, Düsseldorf, 1925.

Verein Deutscher Eisenhüttenleute: Gemeinfassliche Darstellung des Eisenhüttenwesens. 17. Auflage. Stahleisen mbH, Düsseldorf 1970/71.

Wallerstein I. The Modern World-System III. The Second Era of Great Expansion of the Capitalist World-Economy, 1730–1840s. San Diego, 1989.

Ганс Петер Андреас Кнауф (1765 – после 1835), в России – Андрей Андреевич Кнауф – необычный феномен русской истории. Его жизненный путь оставляет много вопросов, ответы на которые до сих пор не найдены. Но в одном можно быть совершенно уверенным: Андрей Кнауф является выдающейся личностью в горнодобывающей и чугунолитейной промышленности Урала.

Уроженец столицы герцогства Гольштейнского города Килиа и земляк российского императора Петра III, Андрей Кнауф, сын сапожника без связей и капитала, но талантливый автодидакт, прибыв в Петербург 18-летним юношей, добивается головокружительных успехов на купеческом поприще, становится именитым купцом 1-й гильдии московского купечества и заводчиком на Урале. Исследуется аспект его деятельности на Урале в качестве владельца горнозаводских предприятий, модернизированных за счет трансфера немецких технологий, особенно с 1801 по 1811 г. Его опыт интересен в контексте крепостного права и нехватки квалифицированных кадров при существовавшей системе посессионных заводов. Для разработки данной темы целесообразно все же не ограничиваться метапонятиями «самодержавия» и «крепостничества», служащими интерпретационными образцами исторической картины исследуемого периода, но стараться дополнить их микроисторическими зарисовками, используя «частные» факторы и «роль личности в истории».

Ключевые слова: Россия; Урал; Андрей Кнауф; индустриализация; горнодобывающая промышленность; металлообрабатывающая промышленность; Урал; модернизация; трансфер технологий.

Andreas Keller (Андрей Викторович Келлер), dr.
Russia, Yekaterinburg
Ural Federal University
a.v.keller@urfu.ru

**ЯКОБ фон ШТЕЛИН, ПРИДВОРНЫЙ
ИСТОРИОГРАФ И ПЕДАГОГ XVIII в.***Памяти**Николая Александровича Копанева*

The article outlines the life of Jacob von Staehlin, member of the St. Petersburg (Russian) Academy of Sciences, who lived under several Russian monarchs beginning with Anna Ioannovna, and died in St. Petersburg in 1785. Being a typical man of the Age of Enlightenment, Staehlin had many talents and, during his service in the Russian Academy and at the court, showed his worth in different positions: as a master of fireworks, author of panegyric poems, educator of Prince Pyotr Fyodorovich (future Emperor Peter III), editor of the *Sankt-Peterburgskie Vedomosti*, permanent secretary of St. Petersburg Academy, founder of the Academy of Fine Arts, member and, later, secretary of the Free Economic Society. A writer, author of numerous articles on Russia in the foreign press, art historian, numismatist, teacher, memoirist, one of the first ideologists of what is now called the method of oral history – that is an incomplete list of interests of the main character of this article. However, relying on sources that are little-known in Russia, the author reconstructs the historical portrait of “another” Staehlin, a man of a difficult nature, acrimonious, ambitious, and inclined to intrigues. The researcher outlines both the portraits of Staehlin-scientist and Staehlin-courtier, analyzing the pedagogical principles that he applied while training the heir to the throne, his mordant characteristics of some Academy fellows, his administrative cares, his attempts to become the official historiographer of the Imperial Court of Russia. The author pays particular attention to the history of creation and publication of “Anecdotes” about Peter the Great which formed, alongside with other similar works, a stereotype image of the first Russian Emperor and his time.

Key words: Jacob von Staehlin; Peter the Great; Elizabeth of Russia; Tsarevich Peter; Academy of Sciences; Voltaire; Enlightenment; panegyric; anecdotes.

Эта статья основывается на классическом труде, составленном дальним родственником Якоба фон Штелина – историком, специалистом по России, профессором Берлинского университета Карлом Штелином (1865–1959). Он опубликовал в 1926 г. книгу под названием «Aus den Papieren Jacobs von Stählin» (Berlin, Akademie Verlag). Ав-

тор имел доступ до и после 1917 г. к архивам Академии наук в Санкт-Петербурге, архивам Министерства иностранных дел в Москве, а также работал с документами отдела рукописей Государственной Прусской библиотеки в Берлине (Geheimes Staatsarchiv preussischer Kulturbesitz). Уже в то время Карл Штелин сожалел об утрате некоторых документов, в том числе автобиографии своего героя, следы которой обнаружены в его переписке. Довершила дело Вторая мировая война; до наших дней сохранились только бумаги Якоба фон Штелина в Берлине [Nachlass Karl Stählin], наследие его потомка Карла почти пусто, при том что последний выступал в качестве усердного публикатора неизданных текстов о России XVIII в. Вопрос о возможном месте их хранения и объеме остается открытым. Труд же Карла Штелина «Aus den Papieren Jacobs von Stählin» представляет собой уникальное свидетельство о жизни и деятельности исключительного человека, обладавшего множеством талантов.

Якоб фон Штелин пятьдесят лет провёл в России, где благодаря своему расчётливому уму сделал блестящую карьеру в Академии наук; «привыкший раболепствовать», внешне покорный, он тем не менее оставил мстительные заметки и записки, не слишком лестные для его современников¹. Если верить его сочинению, то престиж Академии наук зависел исключительно от присутствия в ее составе немецких и швейцарских учёных². Якоб фон Штелин был очень близок к семье Иоганна Элера. Как только вставал вопрос об его русских начальниках или, того хуже, французских, Штелин начинал писать ядовито. По его мнению, русские, включая Ломоносова, пребывали в отсталости, не усвоили даже Коперника; что же касается французских ученых, то те отличались высокомерием, злобностью и суетностью разговоров [Aus den Papieren Jacob von Stählin..., S. 45]. Его личный дневник раскрывает трусливость членов Академии, их непростые отношения с властью, которая характеризуется в самых мрачных тонах. Зато его официальная переписка свидетельствует о предельной осмотрительности автора и даёт «подчищенную картину» внутренней жизни основанной Петром Академии наук. Первые следы его историографической деятельности надо искать в наблюдении за учёными, современниками великого царя, ностальгирующими по славному прошлому.

Штелин приехал в Санкт-Петербург в 1735 г. Академия переживала разгар кризиса. Как следствие, задачи, которые ставились перед её членами, не отвечали принятым на Западе научным критериям и оставались чисто утилитарными. Анна Иоанновна увлекалась метеорологией и астрологией, но мало заботилась о науках точных и гуманитарных [Пекарский, с. 461]. Зачастую исследование затруднялось природными

¹ Запись о «Дневнике» Иоганна Альбрехта Элера от 31 января (11 февраля) 1774 г., см.: [Dulas, p. 234]. О биографии Штелина см.: [Stählin, 1920; Пекарский; Записки..., т. 1, с. 7–26].

² Он был не одинок в этом мнении, Миллер тоже почитал это за честь, см. недатированное письмо Штелину: [Lehmann, p. 171]. Перевод цитат из сочинений Якоба фон Штелина автора статьи.

катаклизмами; местонахождение здания, где раз в две недели проходили заседания, было неудобным. Среди первых записей Штелина от 24 октября 1735 г. можно прочесть, что члены Академии расходились, не приступая к дебатам, так как невские паводки вынуждали их поскорее добираться до другого берега. Иными словами, городская планировка Санкт-Петербурга была плохо приспособлена к местности.

Через два года после приезда Якоб фон Штелин был назначен профессором риторики; в 1738 г. он преподавал историю литературы, определяемую как «элоквенции и поэзии», к этому добавились лекции по естественному и моральному праву [Материалы..., т. 3, с. 498]. Его задачи этим не ограничивались; он вёл официальную переписку Академии с двором и Сенатом, когда они пребывали в Москве. Некоторое время спустя ему была также поручена организация погребальных церемоний Анны Иоанновны, он имел должность помощника распорядителя, в обязанности которого входило размещение приглашённых [Там же, т. 4, с. 640, 682; т. 6, с. 524]. Его жалованье достигало тогда 680 рублей (не считая жилья, дров, свечей), к которым надо добавить доходы от частных лекций [Там же, т. 7, с. 564–565]. Вскоре Штелин обеспечил немецкое издание «Санкт-Петербургских ведомостей». Поэт Академии, верный своему учителю Готтшеду, он был еще и «бурзописцем», сочинял поверхностные похвальные стихи, не задумываясь нанизывая рифмы и не слишком уделяя внимание неизменно подхалимскому содержанию [см., например: История Академии наук; Материалы..., с. 455]. Его соперники, французский лагерь, утверждали, что он воспроизводит элоквенцию двора Людовика XIV, но по мелкобуржуазной схеме [Aus den Papieren..., S. 51]. Были ли они так уж неправы? Не владея в совершенстве русским языком, Штелин мало-помалу терял родной язык; с годами его стиль отяжелел, загромождаясь анахронизмами. При этом он самоуверенно называл поэзию своих соперников, независимо от языка, *Afterdichtund* («поэзия задницы»).

Штелин воспользовался коронацией Елизаветы Петровны, чтобы от имени Академии наук представить ещё одну льстивую речь, приправленную дифирамбическими виршами о Петре Великом. Он настойчиво просил защиты и поддержки юной государыни; разве не обессмертят её имя и её священную персону поощрение исследований и искусств, разве не продолжают они труды её знаменитого отца? [Aus den Papieren, S. 96]. Он добился огромного личного успеха, став воспитателем великого князя Петра, что, правда, было небезопасно. В конце 1747 г. под эгидой Академии наук Штелин сумел создать Академию изящных искусств. Она должна была объединить лучших русских и иностранных специалистов. Его переписка с кандидатами свидетельствует, что он был готов согласиться на всё, даже на выплаты им жалованья, которое президент Академии наук Разумовский почитал чрезмерным (письмо Г. Ф. Шмидту, январь 1757 г., письмо Г. Н. Теплову от 20 марта 1757 г.: [Записки, с. 415–416]). Тем самым он обеспечил руководство (был назначен «директором всех при Ака-

демии художеств» [История Академии наук, с. 186]), но был быстро отстранён ввиду создания новой Академии изящных искусств, возглавленной фаворитом Елизаветы Иваном Шуваловым.

В марте 1766 г. Штелин был назначен постоянным секретарём Академии наук. И тут же завален бесчисленными задачами: надзором за всеми отделениями, назначением профессоров, подготовкой научных экспедиций (в том числе экспедиций Палласа и Гмелина), ремонтом зданий и оборудования, реорганизацией гимназии, постановкой юридического обучения учеников и студентов. Наконец, приходилось заниматься тридцатью учениками и продвигать юных выпускников на службу в администрацию, например в качестве писарей в Сенат (письмо Миллеру от 23(5) марта 1765 г.: [Lehmann, S. 181]). Он вёл официальную переписку и прилагал старания к каталогизации архивов, восходящих к эпохе Петра Великого. Отношения Штелина с Орловым, поставленным во главе Академии в 1766 г., быстро ухудшились. Однажды Орлов публично разбил секретаря перед собранием профессоров за то, что он недостаточно громко читал письмо. Штелин не без сарказма ответил, что, будучи профессором риторики, он почитает за принцип читать плохо написанные письма вполголоса, прежде чем декламировать их публично. Отметим ещё раз его чувство юмора и ироничность, которые обеспечат ему самый большой успех после издания анекдотов о правлении Петра Великого.

В конце 1760-х гг. Штелин начинает пресыщаться «существованием ученого-островитянина» в русской столице³; он отказался быть делегатом Академии при Уложенной комиссии. В 1768 г. он вышел из редакции «Санкт-Петербургских ведомостей» из-за того, что газета, жаловался он впоследствии, ограничилась только сообщением о событиях на Корсике и с опозданием дала сведения о скандалах, вызванных иезуитами! [Aus den Papieren, S. 298]. На следующий год он покинул (или ему пришлось покинуть) секретариат Академии, освободив место молодому Иоганну Альбрехту Элеру. Записки Штелина по поводу Академии становились всё более желчными, мнение о некомпетентности и бескультуре Орлова, «человека деспотичного, странного и вздорного»⁴, проходит в них лейтмотивом. Не без лукавства записал он разговор между Элером и берлинским академиком Редерном, в котором последний утверждал: «Мой Бог, кто у вас президентом: он дурно отзывался о всех эрудитах, считает Академию бесполезной и, подобно Руссо, думает, что положение в мире ухудшается из-за наук» [Aus den Papieren, S. 298.]⁵. С 1770-х гг. Штелин начал посвящать себя трудам по истории, изящным искусствам и музы-

³ Речь идёт о выражениях, использованных Шлёцером, когда его побуждали покинуть Россию [Aus den Papieren, p. 298]; Штелин, с тем чтобы не уронить репутацию Академии, пустил слух, что последний уехал по соображениям здоровья (письмо Миллеру от 2 (13) апреля 1769 г. см.: [Lehmann, S. 272]).

⁴ Иоганн Альбрехт Элер, напротив, обвинял Орлова в том, что он «привержен демократии и совершенному равенству между членами Академии» [цит. по: Dulac, p. 232].

⁵ Слово «деспотизм» появляется также в письме Рибейро Санчесу от июня 1774 г. [цит. по Dulac, p. 233].

ке в России, в какой-то степени забывая свой девиз: *Kein Undank mache Dich in deinem Wolthun müde* («Никакая неблагодарность не должна препятствовать тебе в благодеянии») (письмо Миллеру, 16 (27) октября 1768 г.: [Lehmann, S. 274.]). Его карьера, наперекор бесчисленным превратностям, продолжалась вплоть до самой смерти в 1785 г.

В конце 1760-х гг. Штелин решил навести порядок в своих собиравшихся в течение более чем 35 лет заметках по истории Петра Великого и даже истории музыки и зрелищ в России. Привередливый в вопросах риторики, он не был, однако, застрахован от неприятного сюрприза: после более чем тридцати лет пребывания в России его немецкий устарел; в его речь вошли галлицизмы и русизмы, которые искажали чистоту языка. Решив добиваться известности на Западе, он начал с посылки своей «Истории театра» и «Эссе об изящных искусствах» Шлёцеру, более известному под псевдонимом Хайгольда, чтобы он опубликовал их в своих *«Beilagen zum neueränderten Russland»*. Шлёцер высказал своё восхищение, но подверг критике стиль Штелина как не вполне современный, перегруженный тяжеловесной риторикой. Разъярённый фейерверкер Романовых ответил: «Мои источники на немецком, и я не желаю их ретушировать. Если речь идёт о выразительности немецкого на московский лад, то я тут ни при чём, меня понимают!»

Напряжённость возросла, когда Шлёцер возразил ему по поводу текстов, которые «порадовали новую Россию», а именно серии анекдотов о Петре Великом: «Не надо судить, восхвалять и особенно расточать азиатскую лесть; нам потребны живые факты с простой естественностью комментатора. Панегирик приличествует иностранцам (намёк на Вольтера. – Ф.-Д. Л.), а выводы должны делаться для потомства. Именно таков стиль в Германии, тонкий, деликатный и чуткий. То, что выглядело прекрасным в его стиле и в его экспрессии до 1730 г., стало отныне пресным и обрело вкус Шпицбергена или Гренландии». И, переходя к Штелину: «К несчастью, я зачастую читаю в газетах банальные новости подобного рода: читатель рассудительный, образованный имеет от этого рвотные позывы, а я покрываюсь потом, когда в приличном обществе слышу людей, потешающихся над статьями Санкт-Петербургской прессы» [Aus den Papieren, S. 319]. Намёк на «Санкт-Петербургские ведомости», редактором которых был Штелин, не оставляет сомнений. Таким образом, публикация «Анекдотов» застопорилась.

Из-за Шлёцера Штелин утратил интерес к сочинительству, или никогда его не имел, и ушёл в старомодную историографию. Был ли он так уж неправ? Когда в Париже берётся анекдот о Петре Великом, заимствованный из воспоминаний Черкасова, то поражает не только совпадение фактов, но и некоторое стилистическое тяготение к «Мемуарам» Сен-Симона, посвящённым царю. Однако они покрывались пылью в архиве у нотариуса, и никто не осмелился их публиковать вплоть до 1788 г., даты самого первого неполного издания, вышедшего у Бюиссона. Штелин, умерший в 1785 г., не мог об этом почти ничего знать.

Мемуары «захудалого герцога» имели огромный успех начиная с XIX в. вплоть до наших дней; манера письма Штелина представляла собой историографический стиль начала XVIII в., который будет реабилитирован спустя 100 лет. Таким образом, он оказался как позади, так и впереди своей эпохи. Подобно Шлёцеру, Вольтер тоже почти не оценил бумаги немца и почти не использовал их в своём труде о русском царе.

Штелин сделался историографом благодаря двойному опыту. Приглашённый в Россию стараниями Иоганна Альбрехта Корфа, переводчика президента Академии, он немедленно принялся опрашивать тех, кто пережил царствование Петра Великого. Он активизировал такого рода деятельность во время правления Елизаветы. Весьма озабоченная сохранением памяти о своем отце, она повелела вернуть ко двору большое количество сановников петровской эпохи и доверила им престижные должности. Излюбленными собеседниками Штелина были генеральный прокурор Никита Трубецкой, два брата Бестужевы-Рюмины, старый фельдмаршал Бутурлин, который в течение двенадцати лет был «денщиком» царя, и ещё дипломат Иван Черкасов. Лесток и Минних, возвращённые из ссылки, охотно соглашались на опросы. Штелин стремился также войти в контакт с менее видными персонами, такими как строитель галер Игнатий Елатчин или его собственный сосед Борис Шабликин, который был комиссаром на ткацкой фабрике, специализировавшейся на производстве чулок. Кроме того, он обращал внимание на тех, кто был близок к Екатерине I. Бывшая пленная ливонка Анна Крамер после «зело» многочисленных авантур стала первой дамой «гардероба» императрицы. Штелин встретил её, дальнюю родственницу своей жены, в 1752 г. во время путешествия в Прибалтику. Она входила в число многочисленных любовниц царя и сопровождала императорскую чету во время второго путешествия на Запад в 1716–1717 гг., после чего осталась при Екатерине в Голландии, тогда как Пётр продолжил путь в Париж. Достоверно только то, что она пользовалась полным доверием суверена, ибо именно ей была поручена подготовка тела несчастного Алексея Петровича к погребению. Впрочем, дело Алексея Петровича едва затрагивается в «Анекдотах» только для того, чтобы сказать, что великий царь действовал ради любви к отечеству [Voltaire, 1957a, p. 29]. Агиографический дух сияет здесь в полную силу, тогда как Вольтер осторожно говорит о государственных соображениях [Voltaire, 1957b, p. 556].

С начала правления Елизаветы Штелина ожидала другая, более опасная задача – воспитание царевича, наследника Карла-Петера-Ульриха фон Гольштейна, будущего Петра III, о котором он тоже оставил воспоминания. По его словам, юноша отличался нервозностью и невнимательностью. Что угодно – муха, забытое кольцо для салфетки – могло отвлечь его от занятий. Штелин испытывал облегчение, когда его императорское величество ограничивалось тем, что барабанило руками или ногами. Считал чудом, когда Петр более четверти часа оставался на месте. Невежество, бросающиеся в глаза пробелы

в познаниях юноши были таковы, что приводили в замешательство даже Елизавету. Штелин имел чёткие представления об образовании, в особенности о преподавании истории, фундаментальной в данном конкретном случае. Речь шла об удержании внимания ученика, используя короткие истории, сопровождаемые картинками, портреты, карты, монеты. Более современная история (он связывал её начало с правлением Карла V (1500–1558)) требовала иного метода. В этом случае Штелин хотел дать ученику более прагматичные знания, основанные на международном праве. Поэтому он зачитывал выдержки из Пуфендорфа, Викфорта и других авторов о международных отношениях и затрагивал договоры, конвенции и правила субординации. Он хотел наделить молодого человека, предназначенного для наследования престола, практическими познаниями. Заботясь о том, чтобы не слишком обременять разум малосообразительного царевича, он попытался преподавать ему недавнюю историю посредством 40 синхронистических таблиц Бергера [см.: Berger]. Он дополнял такое обучение географией, подкрепляя рассказами о путешествиях, топографическими трудами, геральдикой и генеалогией.

Штелин вдохновлялся, очевидно, «Телемахом» Фенелона и «Планом обучения принца» Лейбница, которые проповедовали свободу, дух игры, а также эмпирический и спонтанный аспекты обучения. Приемы его исторических штудий нашли дальнейшее развитие. Наставник быстро заметил предрасположенность Петра к войне, осадам и фортификациям. Обучение тогда осуществлялось с помощью макетов, оловянных солдатиков, миниатюрного оружия и инструментов. Вскоре Штелин перешёл к преподаванию прагматической истории, он стал использовать памятные монеты, иллюстрируя крупные события правления Петра I. Видимо, именно этот прием положил начало формированию коллекции медалей, имеющих отношение к Петру Великому. Коллекция, задуманная Елизаветой и продолженная Екатериной II, стала объектом дебатов в Академии наук в 1772 г. Известны и неотделимые от «Анекдотов» рисунки, ярко иллюстрирующие рассказы. Тем не менее проект провалился, ибо русские академики не поняли друг друга. Чтобы привлечь внимание царевича, Штелин делал ставку на образцовость Петра Великого, вещественно подтвержденную медалью. Созданный образ подкреплялся анекдотом, и требовалось следовать этой модели, чтобы, в свою очередь, стать примером для нации.

Несомненно, что результатом изучения им жизни военных и инженеров стала написанная в 1745 г. «Рапсодия собранных сведений об инженерах в России», которая представляет собой коллекцию сведений в форме анекдотов о специалистах, работавших до и во время правления Петра Великого в России [Aus den Papieren, S. 113.]. Чисто событийная история не была сферой Штелина, он любил опрос, журналистский тип работы, позволявший ему, например, брать интервью у инженеров, работавших в своё время на верфях Ладожского озера. Он также давал просопографические сведения об этих персонажах и

настаивал на гугенотском происхождении многих из них. Несомненно, годы, проведённые с великим князем Петром, обострили намерение Штелина стать историографом русского двора. Доказательством тому бумаги, оставленные им об Елизавете и Петре III. В 1767 г. он отписал интенданту своего родного города Меммингена свои заметки и рукописи, из которых он рассчитывал извлечь пользу и которые восходили к годам его наставничества. Следует обратить внимание на следующие сюжеты:

- изобретение науки образа или языка образа, предназначенного для обучения (с примерами, черпаемыми из греческого *вкуса*?);
- воплощение истории Петра I в медалях, которые повелела изготовить Елизавета, для иллюстрации деяний своего отца, предназначенных для подарочных преподнесений, а также для распространения среди неграмотного населения;
- его коллекция «русской литературы» под титулом «Оригинальные русские авторы», объединяющая извлечения из летописи Нестора, из истории Смутного времени, из придворных хроник царей Михаила и Алексея, из военных бюллетеней Петра Великого, именуемых «ядром» русской истории;
- рукопись «Меморандума о служении изящным искусствам в России» (на французском);
- рассказ о «славном восшествии на престол» Елизаветы Петровны некоего очевидца (текст на итальянском);
- портфель со многими «Описаниями» и «Набросками» его изобретений для работ, выполняемых время от времени при императорском дворе в Петербурге и Москве (на французском).

В 1750-е гг. Штелин принялся за составление «Оригинальных анекдотов о Петре Великом». По настоянию Шувалова ему пришлось передать некоторое их количество Вольтеру ввиду подготовки его «Истории России при Петре Великом». Он сделал это неохотно, французов Штелин не жаловал [Liechtenhan, p. 321–332], и, по-видимому, предоставив Вольтеру более сотни анекдотов, исключил порядка дюжины текстов. Известна негативная реакция в России на публикацию первого тома «Истории России», вплоть до вопля возмущения в Петербурге, особенно по причине профанного, зачастую противоречивого содержания; менее идеализирующий, чем ожидалось, текст грешил небрежной орфографией относительно русских имён собственных. Штелин желчно высказал подозрение, что Вольтер использовал не все свои источники, чтобы публиковать и в дальнейшем пикантные анекдоты с коммерческой целью. Реакция философа известна: «Один немец попрекает меня; я желаю ему побольше ума и поменьше созвучных (согласных)».

Начиная с 1769 г. Штелин взялся приводить в порядок свои бумаги. Критическая оценка Шлёцера несомненно обескуражила его, ибо он придержал издание «Анекдотов» ещё на шестнадцать лет. В конечном счёте он опубликовал 116 коротких историй в год смерти, в 1785 г., у Брейкопфа в Лейпциге. Публикации не хватает хронологиче-

ского порядка; Штелин затруднялся с систематизацией информации, с отысканием ей места в воссоздании исторического процесса, не сумел справиться с противоречиями личности Петра; он оставил их как есть, будучи не в состоянии составить цельный портрет, или умышленно предложил портрет двуликого Януса, свидетельствовавший о двойственной природе России: европеизированной в городе и московитской в деревенском мире. Эта работа резко отличается от великолепных, систематических и последовательных описаний того времени коронации Анны Иоанновны или Елизаветы. К тому же в течение десятилетия в Российской академии наук бушевали историографические дебаты, сталкивая Миллера и Ломоносова. Конкуренция с последним автором агиографических сочинений о Петре оставляла нашему автору, родной язык которого устарел после почти трёх десятилетий проживания в России, мало поля для маневра. Стиль его сочинений стал многословным, избыточным деталями, резко противоположным вольтеровской ясности. Можно говорить о типично галантной историографии рококо, игривой и асимметричной. Это небольшие картинки, характеризующие личность царя, вполне напоминающие «маленькие истории» Таллемана де Пео (Gédéon Tallemant des Réaux), тоже не издававшиеся в 1780-е гг. Царя можно увидеть лично вырывающим зубы, равно как и героем под Полтавой, а также жалким, но гордым во время Прутской капитуляции. Можно видеть Петра боящимся замёрзнуть в лютеранской церкви и по этой причине отбирающим парик у соседа. Царь бьет своего начальника полиции Девиера за плохое состояние моста, но при этом всё описывается восторженно, как если бы эти действия относились к поведению прогрессивного монарха. Штелин берётся также за историю в истории; Петр проявляет себя большим поклонником Ивана Грозного, который, по его мнению, заслужил титул «Великий», ибо только дураки, не знающие русский XVI век, могли назвать его тираном [Aus den Papieren, S. 317]. Не было ли это иронией со стороны Штелина, адресовавшего свое произведение, не будем этого забывать, германской публике, пресыщенной ужасными историями об Иване? Основание и украшение Санкт-Петербурга, реформы царя и их главные цели, наконец, его отношение к науке и искусствам – слишком сложные проблемы для издания такой направленности. Тем не менее речь идёт о мозаике, в которой возникают другие персоны, такие как Меншиков и Екатерина I. Книга содержит также обвинения, вполне соответствующие идеям Петра: коррупция администрации, обскурантизм церковников, косность некоего московитства, сопротивляющегося реформам.

Петр возникает как просвещенный деспот. (Автор опирается на легенду, созданную Фонтенелем, который, в свою очередь, вдохновлялся Феофаном Прокоповичем.) Как человек, способный взяться за самые невероятные дела, внимательный к мельчайшим деталям и имеющий пророческий дар. Простота его поведения создаёт яркий контраст с героями, не лишёнными в своих описаниях варварства и моральных недостатков.

Якоб фон Штелин явно подверг цензуре наиболее тёмные стороны портрета Петра, который тем не менее претендует на полноту образа. Доказательством является судебное дело царевича Алексея, по которому он не даёт ни подробностей о его бегстве, ни информации о смерти, тогда как Анна Крамер должна была бы знать об этом больше. Значит, тут имеет место цензура. Согласно Карлу Штелину, у которого на руках были материалы, ныне исчезнувшие, некоторые анекдоты были принесены в жертву и не использовались, чтобы не раздражать ту, которая воздвигла монумент с эпитафией «Петру Первому – Екатерина Вторая». Станным образом цензура затронула и Прокоповича. Архиепископ Новгородский говорил с попами и церковными иерархами, благоухая водкой и хватая их за сальные бороды с воплем: «Порождение дикобраза, на кого ты похож...». Тот же Прокопович велел выпороть священника, поскольку последний, пребывая в компании блудниц, не предстал у изголовья умирающего; он ограничился тем, что прислал рукавицу, в которую вложил своё благословение: *Se non è vero è bene trovato* (итал. «Если это не правда, то (по крайней мере) хорошо придумано»). Значит, у него был дополнительный материал, остаётся выяснить, где его искать, если он не уничтожен.

«Анекдоты» представляют собой, несмотря на некоторые преувеличения, образцовый документ того, что необходимо для создания образа России Просвещения, даже понимая ограниченность устной памяти. Эта мозаика из коротких рассказов, где создавался образ прогрессивной России, в которой Екатерина сменяла Петра, появилась в 1785 г., т. е. через четыре года после издания на английском, французском, русском и польском, – доказательство того, что вкус публики уже изменился. В Германии эта книжечка вновь имела успех благодаря публикации двенадцати анекдотов в «Göttinger Taschenkalender vom Jahr 1790», которые были украшены гравюрами. Они воспроизводились во всех трудах о Петре I в XIX в., начиная с тех, что показывали Петра рвущим зуб у молодой девушки. Как и Сен-Симона, Штеллина ждал посмертный успех. Даже сегодня анекдоты о Петре цитируются биографами зачастую без малейшего учета жанровых особенностей источника.

Записки Якоба Штелина об изящных искусствах в России / публ. К. В. Малиновского. М., 1990. Т. 1. С. 7–26. [Zapiski Yakoba Shtelina ob izyasnykh iskusstvakh v Rossii / publ. K. V. Malinovskogo. M., 1990. T. 1. S. 7–26.]

История Академии наук СССР. 1958. Т. 1. [Istoriya Akademii nauk SSSR. 1958. T. 1.] *Материалы для истории Императорской Академии наук*. СПб., 1887. Т. 3. (1736–1738); Т. 4; Т. 6. [Materialy dlya istorii Imperatorskoj Akademii nauk. SPb., 1887. T. 3 (1736–1738); T. 4; T. 6.]

Пекарский П. П. История императорской Академии наук. Т. 1. СПб, 1870–1873. [Pekarskij P. P. Istoriya imperatorskoj Akademii nauk. T. 1. SPb, 1870–1873.]

Aus den Papieren Jacob von Stählin's. Königsberg; Berlin, 1926.

Berger T. Synehronistische Universal historie... Coburg; Leipzig, 1755. (Синхронная всемирная история наиболее знаменитых империй Европы, от сотворения мира до 1767 г., составленная в 40 таблицах).

Dulac G. La vie académique à Saint-Petersbourg vers 1770. D'après la correspondance entre J. A. Euler et Formey // Académies et sociétés savantes en Europe (1650–1800). Paris, 2000.

- Lehmann U.* Der Gottschedkreis und Russland. Berlin, 1966.
- Liechtenhan F.-D.* Jacob von Stählin, académicien et courtisan//Cahiers du monde russe. 2002. T. 43. № 2/3. P. 321–332.
- Nachlass Karl Stählin*, Geheimes Staatsarchiv preussisher, Kulturbesitz, F.7414.
- Stählin K.* Jacob von Stählin, ein biographischer Beitrag zur deutsch-russischen Kulturgeschichte des 18. Jahrhunderts. Leipzig, 1920.
- Voltaire.* Anecdotes sur le czar Pierre le Grand, p.p. R. Pomean. P., 1957a, p. 29.
- Voltaire.* Histoire de l'Empire de Russie sous Pierre le Grand. OEuvres historiques, p.p. R. Pomeau. P., 1957b, p. 556.

Статья посвящена очерку жизни и деятельности Якоба Штелина – академика Петербургской (Российской) академии наук, пережившего несколько российских монархов начиная с Анны Иоанновны и скончавшегося в Петербурге в 1785 г. Будучи типичным человеком века Просвещения, Я. Штелин обладал разнообразными талантами и за годы своей службы в Российской академии и при дворе проявил себя в разных качествах: устроителя фейерверков и сочинителя панегирических стихов, воспитателя цесаревича Петра Федоровича (будущего императора Петра III) и редактора «Санкт-Петербургских ведомостей», постоянного секретаря Петербургской академии и основателя Академии изящных искусств, члена, а впоследствии секретаря Вольного экономического общества. Литератор, автор многочисленных статей о России в зарубежной прессе, историк искусств, нумизмат, педагог, мемуарист, один из первых разработчиков того, что сейчас называется методом «устной истории», – вот неполный перечень его интересов. Опираясь на малоизвестные в России источники, автор воссоздает исторический портрет «другого» Штелина, человека сложного характера, склонного к интригам, желчного и честолюбивого. Вниманию читателя представляется не только история Штелина-ученого, но и Штелина-царедворца. Раскрываются его педагогические приемы, разработанные для обучения наследника российского престола, его язвительные характеристики коллег по Академии, административные хлопоты, попытки стать историографом русского двора. Особое место в статье занимает история создания и публикации «Анекдотов» о Петре Великом, сформировавших стереотипные представления о первом русском императоре и России его времени.

Ключевые слова: Якоб фон Штелин; Петр Великий; Елизавета Петровна; цесаревич Петр; Академия наук; Вольтер; Просвещение; панегирик; анекдоты.

Francine-Dominique Liechtenhan (Франсин-Доминик Лиштенан), prof.
France, Paris
Centre National de la Recherche Scientifique
liechtenhan@sfr.fr

DIALOGUS





OLD BELIEF IN THE MIRROR OF LITERARY WORK

The talk of Larisa Soboleva, professor of Ural Federal University, and Olga Zhuravel, associate professor and Dean of the Department of Journalism at Novosibirsk State University and the author of the book entitled *Literary Work of Old Believers in the 17th – Early 21st Centuries: Themes, Problems, Poetics* concerns the diversity of manuscript sources used and published in the abovementioned book as well as the principles of the Novosibirsk School of Archaeography and Source Studies of which Olga Zhuravel is a representative. The discussion focuses on the problem of genres of the Old Believers' literary work, their utopist ideas, the correlation between folklore and literary traditions paying particular attention to the genre of laments and hagiographic texts whose oral circulation in Old Believers' communities could be encountered as late as the 20th century. The authors talk over the capacity of Old Believers' literary work to reflect the specific features of Russian literature and Russian national mentality. The book under consideration treats all these themes and represents an uncommon phenomenon in the contemporary historiography of the Old Belief and fills significant gaps in our knowledge of the Old Believers' literary work.

Keywords: Old Belief; hagiography; lament; Vyg-Leksa community; Ural and Siberian literature.

Larisa Soboleva [L. S.] The Old-Believers' movement stretches through several centuries of Russian history. It dates back to the mutinous 17th Century; surviving Old Belief communities can still be found in the far corners of Russian and in major population centers such as Moscow and Yekaterinburg. Scientific research on the Old Believers commenced in the 19th century, and has partly shown the same prejudice as the official Orthodox Church. However, mainly due to the works of Kostomarov and Shchapov, the 19th century also saw a significant rethinking of the Old Belief. After their works were published, the Old Belief came to symbolise an unbroken spirit.

A Scientific Renaissance in Old Belief studies occurred during the Soviet period within the scientific school of Novosibirsk State University, the famous Akademgorodok, where the common efforts of the historians and philologists of the Academia and the University brought to light new aspects of the study of the Old Belief. During this period, these new aspects spread across the continent, researchers sought out Old Belief communi-

ties, books and manuscripts without borders in the Urals, Siberia, the Far East, Altay, Tyva, and Kazakhstan, and combined unique field studies with rigorous scientific systematization and theorizing. Preserving the ancient written tradition had to be combined with an understanding of the contemporary Old-Believers' culture, i.e. turning to the vast variety of sources. The new sources, documents and artifacts, were given an interesting spin while being interpreted within the traditional method of interpretation of the classic Old Belief texts. This trend emerged as the most significant for researchers of the archaeographic department of the Institute of History of the Russian Academy of Sciences led by Academician Nikolay Nikolaevich Pokrovskiy in the 1960s – 1970s.

Close study of the Old Belief has uncovered interesting and unexpected results, connected to the understanding of the phenomenon of schism and preserving tradition – the nexus of ideas, beliefs and practices in which the creative potential of the emerging Russian nation revealed itself. National features show up in the religious sphere, in dogma and everyday culture, in literature and art. These ideas were supported by numerous publications of the new sources from the classical Old Belief heritage, and the modern Old-Believers. The main methodology of the research is based on the hypothesis of the dual nature of the Old-Believers' literacy that combines traditional genre models with folklore poetics. Old-Believers literature appears thereby as unified hypertext, connecting genetically different layers of literacy.

Olga Zhuravel's work, «Литературное творчество старообрядцев XVIII – начала XXI в.: темы, проблемы, поэтика» (Новосибирск, 2012) [“Old-Believers' Literature from the 18th Century to the early 21st Century: Themes, Problems, and Poetics” (Novosibirsk, 2012)], is devoted to the study of the particularities of the Old-Believers' written tradition. We are publishing an extensive interview with the author of the book that, in the opinion of the editors, constitutes a significant event in the contemporary historiography of the Old Belief, as well as filling in many gaps in our knowledge of the Old-Believers' literacy.

Dear Olga, as far as I know, you are familiar with the Old Belief not just in theory – you have taken part in many archaeographic expeditions and had a chance to witness yourself the importance of the literary tradition in the Old-Believers' milieu. When did you first start your research on this topic and what benefits did you experience by being exposed to the living Old Belief tradition?

Olga Zhuravleva [O. Zh.] Dear Larisa, you rightfully mentioned the renaissance in the study of the Old Belief in the scientific school of Academgorodok in Novosibirsk. Indeed, starting from the mid-1960s, under the supervision of Elena Dergacheva-Skop, Elena Romodanovskaya, and Nikolay Pokrovskiy (all of them are my teachers, too), extensive field work was launched, leading ultimately to an event that academics A. M. Panchenko and D. S. Likhachev would coin as ‘the archaeographic discov-

ery of Siberia'. Siberian archaeographers, according to Likhachev, have not discovered particular authors and manuscript copyists, - they have in fact uncovered the entire Siberian literature, thereby discrediting the prejudiced view of the peasants as illiterate and without intellectual ambition. The works of folk writers that became known recently thanks to this archaeological research, indeed prove their authors' talents. The Old Belief has survived better beyond the Urals than in the center or in the North of Russia. Fleeing their prosecutors, the Old-Believers took ancient books and manuscripts to the furthest corners of the country. In addition, they created their own works, following the ancient tradition.

I have taken part in many expeditions. Mostly, we were visiting village communities, often lost in unreachable spots, 'in the woods and mountains.' I have the brightest and the dearest impressions from the Old-Believers' *skits* (solitary or ascetic monasteries) of the upper Yenisei river – life in those places repeats everyday life of the ancient Russian monastery. Starting from my early student years, I had a chance to witness that the Old-Believers are not just the keepers of rare books, but also of the ancient Russian spiritual and everyday traditions. Thus, the ancient books of the pre-Nikon era (before the mid-17th century) have been put into the context of the atmosphere and beliefs that are practically medieval. I was lucky enough to observe the milieu of the *Chasovennye* (Chapel) Old-Believers where the unique written tradition of birch bark etchings developed in the 19th and 20th centuries, and still survives today. I was also fortunate to communicate with some of the real-life prototypes of the contemporary Old-Believers' *Patericon*, created in this community. We have, therefore, found not just the priceless book treasures and contemporary written sources – thanks to the unique experience of the expedition we were able to verify the texts, created by the Old-Believers, and comprehend the ideas, the meaning, and the method from within the Old Belief tradition. In the chapter devoted to the Old-Believers' hagiography, I mention particularly how the *Lives of Saints* canon, being summarized back in time as a generalization of the real experience (something that V. P. Adrianova-Peretz has written on), influences in turn the lives, the way of thinking, and even the speech patterns of the Old-Believers who have chosen the way of the Christian ascetics – and is moreover found in literature (folk hagiographies of the Old-Believers) with the description of their lives. This is the phenomenon of extraordinary life-making, when there is a close interconnection between someone's life and literature. One priest's wife told us a story of how, listening to the Old-Believers' singing during church holidays since her early childhood, she has imagined life in the *skit* as a kind of heaven on earth, and how, as a secret runaway, has been preparing herself to be accepted by the 'angelic rank.' Her speech, as well as that of the many hermit Old-Believers of the late 20th century, is full of the speech idioms familiar to the medievalists that study ancient Russian 'Lives.' This speech is the reflection of the topics, of the *loci communes* of the hagiobiographies, built upon the *imitatio angeli* (*Lives of Ascetics*) pattern. This same old lady presented me with a drawing made by her own hand in her youth – the drawing that I used as a cover of my book

twenty years after our meeting. It depicts a naïve, idealistic Paradise as seen by a young peasant girl. The flowers, the fruit, the animals, and the Saintly Ascetics are united by love and harmony – for a beautiful folk-religious depiction of the Ideal.

That expedition took place long before I began to work on my book. My studies of the ancient Russian literature preceded it. Siberian archaeographers and our Urals and St. Petersburg colleagues who are studying the Old Belief – as well as you, dear Larisa, – belong to the medievalist school. I believe that the application of the method that was developed by classical scholars is of great importance for the successful development of the study of the Old Belief. I have been publishing the ancient Russian sources, ranging from the literary artifacts of the Tobolsk Arch-Bishop House (together with E. K. Romodanovskaya) to the early copies of *Stepennaya Kniga* (The Book of Ranks) that was the first non-Chronicle historiographic collection, created at the time of Ivan the Terrible (together with N. N. Pokrovskiy, and colleagues from Russia and the USA). My work with the handwriting types of the 16th century then allowed for fluency in Old-Believers' handwriting types, especially the *Vygovsky* type, that are my specialty. The handwriting types, naturally, are of great importance for the attribution of the authorship, as well as for understanding the ways in which the Old-Believers authors worked with text. As for my book, it grew out of archaeographic findings, and extensive manuscript work that was undertaken by me and my colleagues in the archives and on field trips. Some of the sources are published in the Appendix to my book.

L. S. The generous material included in your book inspires nothing but admiration. The time span is the 18th through the 21st centuries; however, you also touch upon the origins of the Old-Believers' tradition in the 17th century, as well as the early Christian medieval literature tradition. The original source base of the book includes many new manuscript sources that are being made public for the first time. What is your opinion concerning the level and the trends in the study of Old-Believers' literacy, as well as of the place that your work occupies in this context?

O. Zh. My study of the Old-Believers' literature as a spiritual and aesthetic phenomenon became possible mainly due to the well-established tradition of the study of the history and the ideology of the Old Belief, as well as the archaeographic research of colleagues based in Siberia, the Urals and Northern Russia. Their research is constantly widening the source base; new texts that are of both historical and philological interest are being introduced, new Old-Believers writers are being discovered, and our understanding of the scale and the character of the Old-Believers' literature is being transformed.

As concerns the study of the history of the movement and the individual a lot has been done; without the historiographic work of V. G. Druzhinin, P. S. Smirnov, N. N. Pokrovskiy, the pioneering work of N. V. Ponyrko, N.

S. Guryanova, G. V. Markelov and other Russian scholars, my research would have been impossible. The discovery and study of new sources has helped confirm a number of profound ideas expressed earlier in the works of American Slavists S. A. Zenkovsky and R. Krammy. It seems difficult to overestimate the importance of E. M. Yukhimenko's research, which comprehensively described the history, the culture and the spiritual life of the Vygovsky center. She has discovered and published many works by Vygovsky authors that nevertheless require further philological interpretation.

The appeal to the literary and the aesthetic side of the written heritage of the Old-Believers has been episodic over a long period of time, and there was no research that might describe the Old-Believers' literacy at different stages of its development. The literary heritage of the Vygovsky center seems to be the best studied of all, but the productivity of Vygovsky authors has been so high, and the changes in the creative process so significant that many of the texts have not yet been published, and many issues relating to poetics and artistic peculiarities remain open. Many of those issues require colossal work with manuscript material, and the use of specific hermeneutics, capable of conceptualizing the aesthetic views within which the literary texts were created - in particular, the Baroque.

Archaeographic discoveries of the Russian scholars in the second half of the 20th and the 21st centuries have revealed a large number of Old-Believers' texts, many of them philologically significant. The books and manuscript tradition of Siberia and the Urals region are being extensively studied by historians, such as N. N. Pokrovskiy, N. D. Zolnikova, and scholars based in the Urals, such as your colleagues, R. G. Pihoya, A. T. Shashkov, V. I. Baydin, A. G. Mosin, and others. However, it is a rare case that a philologist is turning to those sources - your own works, Dr. Soboleva, are among the very few where a number of Old-Believers' texts belonging to various genres have been made available to the scientific community, and the historical basis and artistic background have been uncovered for the '*Genealogies*' genre. I would like to stress the significance of the recent major publication by the Ural University Press, "A History of the Literature of the Urals" - not just for studies in regional literature, but also for research on the genre system used in the Old-Believers' literature, including hagiography.

Newly discovered Old-Believers' literature need scientific systematization and the establishment of typological and contextual connections. There is an increasing need to identify common trends in the Old-Believers' literature and to assign it its place as a part of Russian literature in general. The researchers have to identify genres that have not lost their relevance in the writings of the Old-Believers throughout the ages, to trace the constant themes, the motifs, and the images which have provided for the longevity of the Old-Believers literary tradition.

The main methodology of the N. N. Pokrovskiy School, to which I have the honor to belong, is interdisciplinary, based on the close cooperation of philologists and historians. Careful handling of the original sources, as well

as thorough textual research of the manuscripts is conducted taking into account the broad cultural, historical, and philosophical context. These are the principles that I have tried to use in my book.

The focus of the book are the texts that were created in different ideological and artistic paradigms within two main cultural models: the rhetorically oriented literary culture of Vyg (a region in Karelia) and the system based on syncretism of the book and folklore genres, characteristic of the Old-Believers' literature of the 19th and the 20th centuries. What do they have in common? Firstly, these works are associated with early Christian writings and ancient Russian traditions. Vygovsky authors were daring text innovators; they created a new canon that was copying European rhetoric, while simultaneously remaining committed to the Christian literary tradition. Within just a few decades, their work has become a recognized canon.

My own research has revealed the genres that for three centuries have been showing their creative potential: the sermon, book laments, and hagiography. The research highlighted the wide range of fundamental mythologems, upon which the Old-Believers' literature is based and which date back deep into antiquity. The book addresses common literary sources that the authors of the beginning of the 18th and the 20th centuries have based their writings upon. Thus, both Andrei Denisov, and Father Simeon from the Urals *skits*, the mentor of the Chapel Community (*Chasovennoe soglasie*) were referencing the same shared circle of "book authorities", including the works of early Christian Neoplatonist, Methodius Lycian (the Olympian), and early Byzantine and Christian mystics and Hesychasts. Old-Believers' literature indeed appeared as a unified, dynamic text space, combining many lines of succession.

L. S. Your monograph comprehensively represents diverse genres of manuscript literature, and it is precisely the combination of philological and historical approaches that enable this work - through the detailed analysis of poetics - to give a valid characterization of the complex and often contradictory Old-Believers' world view; it reveals the dynamics of common folk's thoughts on various topics of an ontological character. Can we generally describe the Old-Believers' written tradition as literature - or is it reasonable to treat it, in the manner of 19th century thought, as literacy, given that its main task through the 18th to the 21st centuries was not responding to the aesthetic needs of readers, but upholding of the "Ancient Orthodox" identity?

O. Zh. Indeed, the appearance of works created by the Old Belief writers was justified by various reasons outside the sphere of mere aesthetics: the desire to prove the truthfulness of the doctrine, to refute the position of ideological opponents, and to capture the history of the Consent or to witness the manifestations of the ascetics' holiness. Eschatological issues were very important for the Old Belief writers. However, regardless of pragmatic functions, many texts created for polemic, dogmatic, or commercial

purposes, have artistic merit and can justifiably be considered not only as narrowly Old-Believers' works, but also as works belonging to Russian literature. When Andrei Rublev was creating his "Trinity", he probably did not consider too much the aesthetic demands of those who would contemplate the icon. Of course, continuing the ancient tradition, the Old-Believers' literature for objective reasons related to the tragic history of the Schism, became an utterly marginalized, albeit large-scale phenomenon. You rightly mentioned, Dr. Soboleva, the attempts to see in it a 'symbol of the unconquered national spirit' and the creativity of the whole Russian nation. I am sure that in the history of Russian literature the brothers Denisov and the most talented peasant Old Belief writers of the 20th century deserve to take their proper place next to Arch-Bishop Avvakum.

Naturally, not all of the written tradition of the Old Belief can be identified as 'literary'. For the monograph, I have selected exclusively those works that carry aesthetic potential. I have no objection to the term 'literacy' (*slovesnost'*), especially because it is precisely the word, no less 'self-sufficient' (*samovitoe*) than rendered by the Futurists; the word's ontological status is the basis of all literary creativity. The term 'literary culture' seems highly relevant as well - I gladly use it, especially in relation to the literary phenomena of the 18th century, when the texts were closely linked to certain types of rhetoric, and were serving not just literary needs.

L. S. Your monograph consists of five chapters, and each of them is devoted to a specific genre of Old Believer literature. However, I think that the Appendix to the book, which contains the newly discovered texts of the manuscript collections owned by the founders of the Vygo-leksinsky community – The Denisov brothers – and one 20th century writer, Afanasiy Murachev, is an integral part of the research. I will have more questions later about the latter personality and work. It seems to me that the referral to the Old Believers' rhetoric of the 18th century, which is considered as the main creative method of the Old-Believers, is justified in the first chapter. For me personally, the connection between the Old-Believers' genre of sermon with the aesthetics of Baroque art, and the polemical tradition of Christian literature, is of great interest. Sermon is at the heart of Old-Believers' literary work, it is present not only in rhetoric, but permeates, for example, narrative genres of historic and hagiographic character. It seems likely that the theoretical understanding of rhetoric peculiar to the Vygo-leksinsky school of The Denisov brothers, having constituted a canon, a certain breakthrough to eternity, could have later developed into a system of commonplace and standard expressions. The question is, to what extent did the rhetorical tradition remain creative work over the subsequent development of poetics in the works of Old-Believers?

O. Zh. You are right, Dr. Soboleva, the sermon indeed penetrates all genres of the Old-Believers' written tradition; one can even say that the sermon is 'everything' for the Old Believers. During the first decades of the

18th century, in the Vygovsky centre, thanks to the personal energy, work, and most importantly, the extraordinary talent of Andrei Denisov, new genre forms of the sermon developed. All the efforts of the Vygovsky authors were devoted to the creation of a new, effective sermon which would undoubtedly prove the truth of doctrine. Andrei Denisov, dealing with the problems of the *pustyn'* (hermitage) building, leading the debate, and dealing with urgent everyday problems, finds time to edit the "Great Science of Raymund Lully" («Великая наука Раймунда Люллия», сочинение Андрея Белоботского), and to work on the creation of original Rhetoric, writing sample tropes for theoretical parts of the research, because he fully realizes the importance and effectiveness of the sermon word. We can say that the *word* itself became a genuine foundation of the Vygovsky center that flourished for nearly half a century. The word of a preacher convinced parishoners in the correctness of the chosen path because it was the only way to salvation. In one of the works that was published in the Appendix to my book, the author Andrei Denisov, using vivid metaphors and generously referring to the Baroque style, celebrates the beauty and majesty of "wise words." Working with Baroque rhetoric enabled the Vygovsky authors to develop a method based on rational principles, the active use of logic and philosophical categories, as well as visual tools. Vyg founders apparently combined this method with personal writer and speaker talents, a combination which resulted in exceptionally high quality sermons and a prolific literary output.

Despite the large number of written texts, by the year 1760 the Vyg creative period ends and the references to folklore change. The best works of the Old-Believers literature of the late period are based on folk tales; they actively involve legend, folklore and mythopoetics as a living source. Afanasiy Murachev, of peasant origin, had lived in *chasovenny skit* monasteries and learned book culture from the knowledgeable Old Believers. He at the turn of the 20th and the 21st centuries wrote his original compositions, intricately combining literature and folk elements, and vividly expressing his personal relationship with biblical events. He created a sermon-parable about Marfa and Maria, using naive exegesis. He, for example, calls the sister of Lazarus "*Mashenka*," and invests so much love in describing her sincere faith in Christ that the reader doesn't wince.

In addition to everyday life details, and recreating the 'earthly' context of the parable (for example, a description of the lunch that Marfa was preparing for Christ included 'local open pies' (*shanezhki*) and 'pies' (*pirozhki*)), there are the details that deepen psychology and increase the emotionality of the narrative, allowing the reader to visualize the behavior of the characters, even Jesus Christ himself.

The image of Mary in Murachev's text is developed at both symbolic and everyday levels. Mary is the expression of the author's ideal, but also a living, earthly girl, holding superior qualities such as spiritual purity and virginity – these, according to the author, distinguish her from both evangelical forgiven harlot and from Eve.

“But Mashenka, who was sitting at the feet of Jesus, still a girl, innocent of human sins; although in her virgin (*nevestnye*) years, but [having] children’s righteousness. She’s still that beautiful graceful doll, adorned by God’s hands and fingers at the creation of Adam and Eve <...>”.

Baroque rhetorical works continue their life in modern times. They are being actively copied, and they affect the Old-Believers’ written culture. Exact quotations from the Vygovsky school historical and hagiographic writings were found in the Ural-Siberian Patericon, that was created in the 1980s.

The Appendix contains only a small part of the literature sources that were the basis for my study. Another part was published earlier by me and my colleagues in «Духовная литература староверов востока России XVIII-XX вв.» В 3 т. Новосибирск, 1999 (1 т.); 2005 (2 т.); 2011 (3 т.), some other works are scheduled for publishing.

L. S. The second chapter examines the poetics of the sermon, the leading literary genre for the Old Believers. You trace the line of sermon development from the Baroque parabolic structures of the Vygoleksinsky School to the sermon-parable of the 20th century. The chapter describes in great detail the development of anthropological themes in the Old-Believers’ sermon. The monograph repeatedly refers to the theory of human value, characteristic of European humanism. The anthropological method is inherent in modern literary criticism, though, as you remember, the first presentation of the systemic anthropological approach appeared in D. S. Likhachev’s work «Человек в литературе Древней Руси» [“Man in the Literature of Ancient Rus”] (1956). Is there a fundamental trait in the Old-Believers’ anthropology that would characterize the Old-Believers’ subculture as having a certain degree of autonomy in describing the nature of humanity, the axiological parameters of one’s life’s journey, and the survival strategy?

O. Zh. Indeed, I have noticed that the Old Believers were interested in the anthropological problematic at various levels: philosophical, clerical, and phenomenological, especially in the genre of the sermon. The work dedicated to Man by Andrei and Semyon Denisov bizarrely combines logic and the Kabbalah; the meaning is virtuously dug out of the plexus of rhetorical figures; however, in treating the central theme of the composition – Man – the authors (primarily Andrei Denisov) do not question Christian dogma. Through Baroque rhetoric (most importantly, the works of Andrei Belobotsky), the Vygovsky Old Believers entered European cultural and philosophic space. This does not mean, however, that, embracing Aristotle’s ideas and the ontological categories of Thomism, the Old Believers forgot their Holy Fathers’ traditions and went against Orthodoxy. Quite the opposite, in their dogmatic treatment of the theme, the authors are faithful to the established authorities in the Eastern Orthodox Church.

“Man is a miraculous, great and beautiful thing, miraculously created by the miraculous God, standing by itself and being in itself, wonderfully composed of the immaterial soul and the material flesh,” – writes Andrei Denisov in his sermon. The soul is lighting up the body, and the body is strengthening and beautifying the feelings. The author insists on the unity of the soul and the body, continuing Thomas Aquinas’ line in Christian theology. The founder of Catholic theology opposes the ascetic tendency of St. Augustine who, following Plato, insisted on treating the body as the soul’s prison. Aquinas suggests the idea of the inseparable unity of the soul and the body and, thus, produces a philosophical apology of the body. The idea of the self-sufficiency of Man comes forward (let us quote Pushkin: “The self-sufficiency of man is the basis for his greatness.”)

The Old-Believer author marvels at the wondrous construction of the human body and its organs, its sensations, existing in such wonderful accordance with the soul’s life. The whole human essence demonstrates the unity of the mind, the word, and the spirit, because Man is the favorite creation of God. Apologetic ideas are known to have surfaced again in the Renaissance epoch. According to Dante, who anticipated the Humanists, “Of all manifestations of divine wisdom, Man is the greatest wonder.” The problem of human dignity and the apology and rehabilitation of his ‘nature’ is put in the center of Humanist anthropology. Giannozzo Manetti in his treatise “On the Dignity and Excellence of Man” (“De dignitate et excellentia hominis”) writes about the beauty, the will and the supremacy of a human being. The Humanist discusses the properties of sight and hearing, the “solemn and divine combination of the parts” of the human body. The Antique formula “human as a thinking animal” finds its bright manifestation in Denisov’s work; it stresses not just the mind but also the ability to create and to know everything in the world, including God.

The Humanists developed a Christian view of a man as the ultimate creation; in their works, much as in those of the Apologists, God appears as the supreme artist. Giovanni Pico della Mirandola in “Speech on Human Dignity” (“Oratio de hominis dignitate”) puts man in the center of the universe. Man in his work is worth more adoration than the angels because they acquire their supreme spiritual perfection immediately, whilst man has to achieve it by his deeds. This idea is one of the main ones in the works of Andrei and Semyon Denisov. Man unites all the worlds and all levels of being, standing at the crossroads of the universe: “He is the wonderful world of God’s creation, and the whole great world manifesting in himself, it can be said, [that he is] the king of creation, and the lord of all creations”.

The idea of man as a microcosm originated in ancient philosophy, it was rethought in patristics and then occupied a central place in the writings of the Humanists. In the patristic tradition man was treated not just like another world, and not even so much as a small world, but as a “second world, great in its smallness.” When Old Believers addressed this subject, it was out of the need to understand the concept of a person in aesthetic and philosophical categories that were new for them.

The artistic features of the composition demonstrate the creative approach of the Vygovsky Old Believers of the 18th century to the ideas of European Baroque, putting the Old-Believers' sermon on the same level as the sermons of Simeon Polotsky and Feofan Prokopovich. Almost two centuries later, the Old Believer and ardent polemicist Alexander Miheevich Zapyantsev built his own anthropologic construction. He was head of a community of self-baptized Old Believers that split from the Spas community at the end of the 19th century, challenging not just the priesthood but also the holy sacraments that were deemed invalid in the world of the Antichrist. The sign of the cross and personal prayer remained the only possibility for salvation for a follower of this community. In his work "What Is Man and What Dignity He Received From God" (1909), Zapyantsev constructs the concept of the human where he proves that man is endowed with all the qualities necessary for salvation from the moment he is created, and that he no longer needs any intermediaries between himself and God. This concept is the cornerstone upon which the whole dogma of the self-baptized Old Believers is founded.

The main arguments of A. M. Zapyantsev are based on citations, taken from authoritative sources, abridged and threaded together by the logic of the author's thought. Essentially, it is a skillful compilation of cited fragments. The author stresses that God the Heavenly Father, Jesus Christ and the Holy Spirit all took part in the creation of man, thus giving him the whole divinity at the moment of his creation. Looking back at Gregory of Nazianzus, he promotes a thought about the initial godliness of man and the reflection of the image of the Holy Trinity in him. The basis for the exegesis of this folk theologian are Apostle Pavel's words that man is God's temple and God's image (1 Kor. 3:16, 17). Summarizing the meaning of the quotations, the author writes at the end of his work: "Thus, man is the image of God, the Church of God, and has the Kingdom of God and His Throne in himself". This lapidary conclusion, in the author's opinion, should have justified the whole practice of the self-baptized community that no longer required priests. In his version of "natural theology" Zapyantsev bypasses the dogma of the Fall. Referring to the participation of Jesus Christ in the act of creation, the author does not write of sacrifice in the name of the atonement, and the primordial Adam remains as beautiful and harmonious as ever, in no need in fact of the New Adam. The constructions of the self-baptized ideologist can be typologically compared with the European religious movements of modernity.

The aforementioned Old Belief authors, separated by two centuries, created completely different works. Their composition, their style, their selection and the method of citation differ a lot. Nevertheless, both texts demonstrate a clear tendency towards the apotheosis of man as a creature of God; the dogma of the humiliation of human nature after the Fall in the Denisov brothers' work is accompanied by jubilant panegyric intonations, while Zapyantsev altogether overlooks this dogma. As noted, both the Denisov brothers and Zapyantsev were members of the two *bespopovskoe* consents. In this situation, the tendency to accentuate the eminence and greatness of man is

not accidental, because the type of relationship with God is different: a person has access to a “direct link” with the divine. Quoting G. Florovsky, “in his graceless abandonment, the *bespopovets* knows that he depends on himself, and must, therefore, be presumptuous <...>” (Флоровский Г. Пути русского богословия [Ways of Russian Theology]. Vilnius, 1991).

I think the idea of personal responsibility is actualized with extraordinary sharpness in the hagiography of the Old Believers, whose eschatological beliefs brought them into conflict with the official church hierarchy and the priesthood. The life of the characters in hagiographic narratives is the way of salvation through union with the community; their survival strategy is primarily a strategy of salvation of the soul and obedience to the will of the Supreme Being, following the path of true faith. This can be seen very well in the “Life” of Korniliy Vygovsky. The complex life course of one of the founders of Vygovsky community was defined by the internal dictates of his soul and by God’s will, though it might have looked like a manifestation of passivity for the outside observer. Next to this supreme principle no authority exists; thus Korniliy is able to disobey the order of the patriarch, if it contradicts his inner voice. The *Bespopovets* Old Believer is left face-to-face with God.

L. S. Let us talk about the special role of Utopia in Old-Believers’ views, namely in a Vygovsky preacher of the 18th century, Andrei Denisov. Can one define it as a dominant feature, able to support the viability of the Old Belief movement and to give hope of salvation to the Old-Believers?

O. Zh. Undoubtedly, Georgiy Florenskiy was right to call the Old Belief movement a social apocalypse utopia. The Old-Believers’ utopia is based on the actualization of eschatology; it is a part and a manifestation of the mythopoeic consciousness. Naturally, the chapter about the Old-Believers’ utopia is at the center of the book – it is also at the center of the Old-believers’ mentality. It is not a genre; the utopian text is primarily a world view-related phenomenon, and in our case that world view is religious and eschatologically aligned. This phenomenon is manifested as a complex of motives in literary texts. I am the first researcher who has tried to demonstrate this, because the works containing the Old-Believers’ utopian views have been largely overlooked by previous researchers, the works of K.V. Chistov and some notes by S. Zenkovsky being an exception.

L. S. The sources in your book prove, as I think, that the utopian views were rather deep and encompassing for the national worldview. But the Old Believers had their own utopian imagery where idealistic images of the past are combined with eternal harmony. The image of the Church is drawn in accordance with this; due to historical circumstances, the image of the *pustyn’*, the Old-Believers’ hermitage, is also a utopia, the only place where salvation of the soul, separated from the world of the Antichrist, becomes possible. The theme of the beautiful *pustyn’* is conceptualized by the folk-Christian tradition in the form of the Garden of Eden in religious poetry,

lovingly sung in the Old-Believers' milieu until as late as the 20th century; the manuscripts containing spiritual poetry are in abundance in any collection of Old-Believers' manuscripts, such as the Ural University collection. The special role of utopia in Russian folk life not only in the 18th, but in all subsequent centuries found its expression in Russian literature. Thus, the Old-Believers' texts relate to the history of Russian national literature, although they have inimitable genre specifics.

O. Zh. Of course, through the motifs composing the utopian text, as well as through the archetypes underlying them, such as the Holy Land, the motherly source of being, and Sophia (God's wisdom) – that is, through the set of mythologemes, idealizing the past, the Old-Believers' utopia is connected to the national tradition. No research has yet been conducted on works featuring the utopian chronotope; moreover, they were not published for the most part.

L. S. It seems to me that the Old-Believers' utopia can be related more closely to the global quest of mankind, and in your monograph you have made a significant step in this direction. Might it not be appropriate to pay more attention to the contradictions of utopia that dictated a particular type of behavior and lifestyle for the Old Believers who preferred the strategy of passive protest?

O. Zh. Perhaps – however, before conducting a systematic historical and typological study, it was necessary to explore the phenomenon of the Old-Believers' utopia itself. If my assumptions about the proximity of the views of the Old Believers to the ideas of medieval mystics (Joachim of Fiore and Thomas Müntzer) are confirmed and complemented by the broader context, this would be wonderful. As of now, I have uncovered and published sources of various genres, conducted their primary interpretation, and built a model of the Old-Believers' utopian chronotope. Further work will be connected with new archive material.

Just look how thoroughly the image of the world is represented in the sermons of Andrei Denisov! He really is (as R. Krammy rightfully wrote) representing Vyg as an island of salvation in the world of Antichrist. Anyone who is on this island has a very close relationship with the supreme forces, he is under the direct protection of our Heavenly Father, and he feels the protection of, and connection to the dead Old Believers. Denisov constantly insists on the dynamic connection between the earthly and the heavenly worlds. Vyg, like the Holy Land in the ancient Russian world view, is at the center of the world. Vyg inhabitants are referred to as “citizens of Heavenly Jerusalem!” Those are some striking examples of myth creation! The destiny of the the Vygovsky center proves that the effectiveness of the Word!

Later texts – the spiritual poetry and the 19th – 20th centuries ‘*wailings*’ – prove the vitality of the utopian ideal based on religious symbols along with ancient, pagan archetypes. It is a bright phenomenon of folk Christianity.

This is the main difference between the folk utopia and the rational utopia of the 'high' literature created by the lay authors, including the classics. The Old-Believers' utopia is rooted in folk mythopoetic consciousness; it is part of mythological thinking.

Yet another task would be to construct a typology of utopia – say, in the culture of the Russian Silver Age. We would probably observe the same constants, the same actualization of eschatological and apocalyptic topics, and the same revival of ancient archetypes. It would not matter if the author in question was Vl. Soloviev, D. Merezhkovskiy or A. Bely: the main breeding ground and a powerful creative resource for utopia is the national 'plot repertoire'.

L. S. An original twist awaits the reader in the fourth chapter, devoted to the genre of literary *wailings* in Old-Believers' manuscripts. Your monograph discusses in detail the folkloric and Christian origins of this genre and convincingly develops the idea of harmonic synthesis of genetically different techniques in poetics. But it seems to me that the connection of the *wailings* and the Old Belief principles is not researched thoroughly enough. Thus, for example, this genre was in particular demand with the *Bespopovtsy* of the Pomorie consent, where the weeping, in fact, stood for the church burial readings, and acquired a ritual function, primarily attributed to folklore. Moving lyrical wailings are so filled with the sensation of the world's tragedy and the transiency of man's being that they can be put alongside Russian 'high' poetry, communicating the borderline existentialist sensations of early modernity. As a reader, I received great aesthetic pleasure from the artistically refined burial *wailings* of Andrei Denisov and the emotionally moving text of the 20th century Old Believer A. Murachev, "The Weeping of the Holy Mother at the Lord's Cross." The name and the destiny of Murachev, in my opinion, have to be introduced into the History of Russian literature of the 20th century.

O. Zh. In my book, I suggest that the Old-Believers' literary *wailings* should be seen as a specific genre or, rather, metagenre. I have discovered a broad variety of Old-Believers' compositions that carry on the tradition of the ancient Russian literary *wailings*. These texts have either been recently made available to scholars, or (in many cases) were published for the first time in my book. The texts are united by the theme of woeful weeping over historical figures (brothers in faith), abstract categories (the church and the holy sacraments), or even Biblical heroes and Christ himself. I have asked myself a question, whether there are persistent features that unite all these texts, except their theme and a certain emotional intention (their tragic or elegiac tonality).

The folk weeping basis of one of the burial 'Words' from Vyg was noted by E. I. Dergacheva-Skop in 1978. She rightfully mentions the closeness of this text to the genre specifics of folk weeping – both appeal to the forces of nature, both woefully complain and address the dead. This has led many to conclude that the wailing poetics combines Vygoleksian rhetoric and folk

attitude (see: Дергачева-Скоп Е. И. «Сердце болезной сестры убодающ оsten...» - рукописный плач середины XVIII в. // Научные библиотеки Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1978. Вып.14).

Many of those texts contain rhythmic inclusions, characteristic of folk wailings. Wailing basis is clearly seen even in one question-and-answer composition that carries a strictly pragmatic function. This text, named at the date of its publication «Сочинение о времени, достойном плача» [“A Composition about the Times that are Well Worth Wailing”] is a marvelous example of literary wailing. Reflecting on the fatal date of the Schism, i.e. the split from the true Orthodox faith (in the year 1666), the anonymous author accentuates his sorrow at the loss of church values following the rejection of priesthood – a reality for all the *Bespopovtsy* Old Believers.

It was important for me to identify the genre-forming features of this text, expressed in the images and the rhythm used. The rhythm of the Old-Believers' wailings has until now been overlooked by researchers – however, the rhythm is a genre-forming feature in the Russian tradition because the collective memory of the folk wailing is embedded in national cultural consciousness. Its rhythm can be recognized in many Old-Believers' texts, even those which are extremely refined and literary, such as the burial ‘Words’ of Andrei Denisov or Trifon Petrov. The inner need for expressing especially warm feelings towards the Mother of God has caused the prevalence of lyric outset in this Wailing. Both in the author's remarks and the Wailing itself one can observe the widest range of emotions, from love and tenderness to compassion, woe, and even offense and perplexity. These utterly earthly emotions the author assigns to the Mother of God, thus filling in the gaps in the Evangelists' silence about the emotions, and also expressing the quite common and understandable feeling of discontent and sadness at the thought of a Mother not being able to help her Son. The laconism of the New Testament texts is compensated in Eastern Christianity by the church hymns that enter the obligatory liturgy and usually coincide with Passion Week, as well as by the apocrypha ranging from the popular “Passions of Christ” to spiritual poetry.

The ‘Wailing’ composed by Afanasiy Murachev is undoubtedly original: the Old Believer does not copy any of the known texts. The absence of textual stylistic coincidence between the abovementioned texts and Murachev's composition leads us to believe that the author did not base his text on any specific source, but on some general ideas or common places in the story of the Passions of Christ that had become an oral folk tradition in Orthodoxy.

Thanks to recent archaeological discoveries, the wailings created in Old-Believers' villages of the Ural and Siberia *chasovennye* (Chapel Consent) in the 20th and the beginning of the 21st centuries are now being published. The influence of folk genres on those is even stronger.

L. S. In the last chapter of the book you consider the possible development of hagiography in the context of the evolution of this genre. You characterize in detail the 18th century hagiography created by the Old Believers

of the Pomorie Consent and stress an important feature of its poetics: the inclusion of eschatological ideas and stories into the *Lives* of Old-Believers' ascetics that prove their confessional exceptionality. Considering that since the 18th century the canonizing of new saints in Russia was significantly restricted and bureaucratized, the presence of the idealized ascetic type within the Old Belief enabled popular sacralization, stemming from a naïve but honest belief in the ability to earn sainthood by devotion to the Old Belief and personal martyrdom. The idea of personal martyrdom as the basis for salvation is even lore central to the *Patericon* stories of the Old Believers of the Soviet era. I know that this theme was first developed by N. N. Pokrovskiy, and I am glad to see the time when texts about the tragic destinies of the Soviet people are finally coming to light and being studied. In the 1980s, at the time these texts were discovered, there was a feeling that they would be kept indefinitely in some restricted collection.

O. Zh. N. N. Pokrovsky discovered the 'secret' literature of the *chasovennye* (Chapel) Old Believers, the biggest consent in the Russian East. He described the genre of Genealogy of the consents, as well as a broad circle of texts that demonstrated the continuation of the ancient Russian literature traditions, and the fact that the 17th – 18th century literature traditions were still alive in the Old-Believers' literacy of the Urals and Siberia. In 1990s, N. N. Pokrovsky and N. D. Zolnikova discovered the "Urals and Siberia Patericon" – an ample and unique historical and hagiographic composition, created in the 1940s – 1990s by the *chasovennoe* consent. At the heart of this collection are compositions of the Old Believers of the 18th – 19th centuries about the history of their consent, the recordings of oral tales and the *Patericon* collectors' authored texts. The *Patericon* includes several dozen hagiographic *Lives* of the settlement inhabitants. It includes a variety of ancient Russian literature and religious folklore genres: the apparition, the miracle, the legend, and the story. Some chapters of the Patericon were published in the First volume of «Духовная литература староверов востока России XVIII-XX вв. » [“The Spiritual Literature of the 18th – 20th centuries of Old Believers of the Russian East”]. At present, two more volumes are scheduled for print; they have been prepared by N. N. Pokrovskiy (the last work by our recently deceased teacher), N. D. Zolnikova, and myself.

My own monograph studies the genre aspects of hagiography in this Patericon, such as stable formulas, motifs, or plot turns, expressed through the system of the traditional *Lives* topoi. The hagiographical canon is combined here with elements of spontaneous realism, and with the penetration of folk models into text.

It is sometimes hard to draw the line between literature and life, as reflected in the text; between the ambition of the folk hagiographer to “fit” his hero into the literary canon on the one hand, and the reflection of a true situation, reproducing this canon, on the other.

Usage of isolated elements of the genre canon and typization “of hagiographic type” is combined with individualization of a character in the

Patericon. The *Patericon* portrays truly original images of the ascetics, and some chapters resemble by genre not so much the *Lives* as literary biographical portraits. The presence of vernacular expressions, as well as everyday and psychological details, in the *Patericon* does not allow for the hagiographic canon to be turned into a trivial stencil. The sophisticated powers of observation and the literary talent of the authors have highlighted the most distinctive features of the ascetics' individual paths in the spiritual image of the characters.

The word of the character himself becomes an important means of characterization. One can note here, apart from sensitivity towards the language precision and apt wording, an attempt at veracity, and authenticity. A hero's word can be presented as a citation or a list of his compositions, if the hero is a writer. In the milieu of the *chasovennye* the Old Believers reader's erudition and literary gift were highly appreciated and considered a kind of asceticism.

L. S. I have to agree that the texts of this *Patericon* are a bright testimony to the struggle for spiritual independence in the folk environment at the expense of one's own life. The Old Believer ascetics, referring to the images of the first Christians, persecuted by the tyrants, stand head-to-head with the innocent martyrs of the GULAG. Pokrovskiy wrote about this; moreover, this is clear evidence of the creative potential of the folk religious culture, a sort of bonding of times, a consistent devotion to the ideal that in fact lies at the core of the famous 'Russian Idea.'

Summing up our talk, I would like to say in the genre of panegyric that the research presented in your monograph is essential for the understanding of Russian culture as a whole, not just its Old-Believer component. I would like to thank you, dear Olga, for your answers, and to quote an observation from the Conclusion to your book: "At the heart of the Old-Believers' culture and the Old Belief movement itself, there is a striving for the ideal. The vector of the search for moral and social ideals is mainly determined by the eschatological beliefs of the Old Believers. Utopian ideas that were reflected in the folk Christian written tradition of the Old Believers, one way or another have carried through time an ideal image of historic Russia and the folk conceptions of spiritual values."

В беседе профессора Уральского федерального университета Ларисы Соболевой с доцентом, деканом факультета журналистики Новосибирского национального исследовательского университета Ольгой Журавель, автором монографии «Литературное творчество старообрядцев XVIII – начала XXI в.: темы, проблемы, поэтика» (Новосибирск, 2012. 442 с.), обсуждается многообразие рукописных источников, использованных и опубликованных в монографии, выявляются особенности новосибирской школы археографии и

источниковедения, последователем которой является автор работы. В диалоге затрагиваются проблемы особенностей старообрядческой словесности, утопических воззрений старообрядчества, взаимосвязи письменных и фольклорных традиций. Особое внимание уделяется жанру плачей и житийным текстам, живое бытование которых обнаруживается в старообрядческих скитах вплоть до XX в. Обсуждаются выводы, насколько старообрядческая словесность отражает специфические особенности русской литературы и национальной ментальности. Выражается мнение, что данное исследование представляет незаурядное явление в современной историографии староверия и восполняет значительные лакуны в современном знании о старообрядческой словесной культуре.

Ключевые слова: староверие; агиография; плач; выголексинская община; литература Урала и Сибири.

Larisa Soboleva (Лариса Степановна Соболева), prof.
Russia, Yekaterinburg
Ural Federal University
l.s.soboleva@mail.ru

Olga Zhuravel (Ольга Дмитриевна Журавель), dr.
Russia, Novosibirsk
Novosibirsk State University
Olga_zhuravel@mail.ru

CRITICA





THE HISTORY OF LITERATURE
AND ITS ETHNOPOETICS:
REALIZATION OF A LARGE SCALE PROJECT

История литературы Урала. Конец XIV – XVIII в. / глав. ред: В. В. Блажес, Е. К. Созина. – М. : Языки славянской культуры, 2012. – 608 с. : ил.

A History of Literature in the Urals: From The End of the 14th Century To the 18th / ed. by Valentin Blazhes and Elena Sozina. – М. : Yazyki slavianskoi kultury, 2012. – 608 p.: ill.

The review analyzes, in the context of ethno poetics, *A History of Ural Literature. Late 14th - 18th Centuries*, co-authored by a number of scholars. The author points out the innovative character of the publication which covers newly discovered literary sources, summarizes the information about the collections of manuscripts and private libraries, and explores the factors of the emergence and development of a regional literature. The book under consideration provides an interesting concept of the multinational literature of the Urals, and outlines a system of cultural centres in which literature and book-learning played a significant role. Among the considerable achievements of the research in question is the reporting of the artistic biographies of writers, some relying on new materials. This is the first research of the kind establishing correlations between the history of the exploration of the Russian East and the unique nature of the literary works of the region.

Keywords: Ural literature; culture of the Urals; exploration of the Urals; cultural centre; ethno poetics.

The first volume of the planned three of the History of Literature in the Urals is out of press. This major project of the Urals-Siberian humanitarian community has its own uneasy history. The tribulations of the project are described in the Preface to the First Volume, and proper acknowledgements are made to all who started the work – along with Professor Ivan Dergachev, an early enthusiast of the systematic cataloguing and studying of Urals literature, other researchers who were interested in reclaiming and contextualising the ‘peripheral’ (i. e. not written in Moscow or St. Petersburg) regional literatures.

In the preface, written by Academic V. V. Alexeyev, the actuality and necessity of a thorough research of the literature in the Urals is clearly stated; as of the “major region of Russia that from the end of the 14th century has had its place and status in history, geography, and culture; as well as serving as the crossroads of many cultures and peoples during the previous millennium.”

The main selection criteria and research methodology are outlined in the Editorial preface by Elena Sozina and K. V. Anisimov. Considering both the rich history of, and contemporary research tendencies in regional studies, the following research principles can be identified: 1) historicity in the analysis of the literature of the region and its literature process; 2) interaction of the national literatures in the region bearing in mind the cultural autonomy of every nation and its multiple identities that find their reflection in various texts; 3) a systematic approach towards the development of literature in the region in the context of Russian or, in some cases, world literatures; 4) maximum objectivity in research, attempting full and detailed description of the most prominent representatives, important for: a) the region and its culture, b) separate entities in the bigger region (Udmurt, Bashkir, or Komi literature; literature of the Tyumen region, etc.), and c) “for the expression of the wider national tendencies in the literature of a certain historic period, mainly all-Russian tendencies” (p. 23).

The following criteria are set for the selection of the individual writers in the research: 1) the cultural (often also political, social, religious, etc.) significance for the region and /or Russia in total; 2) the expression of the *idée fixe* of the given region in the works of the author, as well as the presence of general strategies that put the Urals literature into a wider all-Russian context; 3) the level of personal artistic talent of the author and the importance of her/his aesthetics; 4) the reflection of the Urals theme in the creative work of the author and her/his interest in the history or present day of the region (p. 23).

The Editors specifically limit the research to authors whose life is connected to the Urals in some way: firstly, those who were born in the Urals (if and only if their writing has touched upon the problematics of the region); secondly, those authors whose life and writing has been connected to the region for shorter periods of time; and thirdly, those authors who have only passed through the Urals, or have not passed but have left a ‘trace’ in the literature of the region. Thus, the literature map of the Urals is not identical to its geographical and historic maps (p. 23).

The Introduction to the first volume (written by Valentin Blazhes, Larisa Soboleva, and Elena Sozina) identifies the uniqueness of the research in which for the first time the literature of the Urals is represented as a poly-ethnic system. In this work, purposeful characteristics are given to Bashkir, Russian, Udmurt, and Komi (both oral and written) traditions, because “To represent multi-national Urals literature historically as a cultural phenomenon with its thematic and aesthetic autonomy, is primarily to determine the uniqueness of the medieval literature, its organic connection to folklore, to

outline the role of Christianity and Islam in the formation of the literature, as well as the meaning of Slavic writing tradition as connected to Komi and Udmurt literatures" (p. 31).

The First Volume of the "History of the Urals Literature" was initially conceived as an academic-level project, architectonically complex and scientifically clear. The research owes its complexity to the enormous time and space spans involved. However, the scientific professionalism and the editors' attention to detail have produced a complex eight-section construction of the research that encompasses four centuries and four national literatures within one region and one literary process.

The first part of the first volume, "Orthodox Traditions in Cultural and Historic Development of the Perm Lands" (P. F. Limerov, and Larisa Soboleva), consists of two chapters. The first contains systemic research of the spiritual and cultural role of Stephan Permsky (St. Stephan of Perm) whose life is found in both oral and written traditions ("The Life of Stephan Permsky" by Epiphany Premudry). The second chapter describes the written sources and literature works of Perm Vychegodskaya. The analysis shows that, while being conceptually whole, the image of Stephan Permsky has its variations in written and oral traditions. So for example, in the work of Epiphany Premudry (the end of the 14th c.), "The Perm lands are represented not as alien and hostile but as acquired by the spiritual efforts of the Russian Saints, as part of the common Orthodox church and the Russian princes' politics.

The image of Stephan appears to be connected not only to hagiographic tradition but also to historic myth about the acquisition of the Urals. "The Life of Stephan" promoted further advancement towards the East, and created a successful model of interaction between the capital and the periphery. It also propagated sympathy towards the native peoples, considering them as Orthodox followers" (p. 51).

In the oral legends of the Komi it is not the state-and-religious role of Stephan that is emphasized; he rather appears as a hero, he is perceived not as or not solely as a saint but also as a cultural hero: "heroic and mystic traits in his image clearly prevail over his sanctity" (p. 58). Moreover, bearing in mind that "the texts of the legends and tales about Christianising are created within the context of Christianity and have adequate description of the events," then, clearly, "there was another, pagan (*chud*) point of view of this process, and the circle of native texts that existed and has been circulated until the Christianising was finished" (p. 58).

In any case, as the Perm Vychegodskaya written sources and literature tradition conclusively show, "Stephan began his mission as religious teacher with the creation of the Perm alphabet, thinking that a specific literary and written ethnic culture of Perm might be formed on the basis of this alphabet. This indeed happened, and the advancement of the new Christian religion promoted the ethnic and confessional consolidation of the Perm tribes into a single Komi nation. The development of the literary culture, in its turn, was the beginning of the written history of the Komi" (p. 59).

The second part of the volume, "Medieval Bashkir Literature" (by A. H. Vildanov, M. H. Idelbaev, M. H. Nadergulov, R. Z. Shakurov, Z. Ya. Sharipova; translated into Russian by A. H. Hakimova), is dedicated to the history of the appearance (9th-15th cc.) and the development (16th-18th cc.) of Bashkir literature.

The researchers divide medieval Bashkir literature into four major periods; 1) the ancient sources of the Bashkir literature, pan-Turkic texts; 2) the Volga Bulgarian period; 3) the Kypchak period; 4) Bashkir literature of the 16th – 18th centuries, i.e. the first centuries of the Bashkirs' inclusion into Russia. The authors analyze the social, cultural, religious and confessional, language and artistic characteristics of the given texts. Common characteristics surface during the presentational cataloguing of the main texts of the period studied. The texts include runic artefacts, "The Dictionary of Turkic Languages" by Mahmud of Kashgar, "Blessed Knowledge" by Jusuf Balasagunski, "The Book of my Grandfather Korkut" and "The Tale of Jusuf" by Kul Gali, "Hosrov and Shirin" by Kutba, "The Book of Love" by Khorezmi, "Dzhumdzhuma Sultan" by Katib, and "Gulistan Bit-Turki" by Saifi Sarai.

The editors pay special attention to the Sufi literature that penetrated the Urals and the Volga Region via Central Asia. The Sufi literature "found favorable socio-historic ground in Bashkortostan and, gradually developing, became a distinct religious literature trend in the following centuries" (p. 94). Analyzing the Bashkir literature of the 16th-18th centuries, the researchers combine genre-oriented analysis (*shezhere*, *tavariih*, *seseny*, publicistic genres, *hikayat*, and *sayahat-name*) along with a focus on the author's individuality (Salavat Julaev, Mavlya Kului, Tajetdin Yalsyugul Al-Bashkordi, and Gabdrahim Usman).

The common theme of this part of the volume is the idea that "the departure of some Turkic literatures from the zone-based or region-based systems and their development into national literatures happened during the 15th and the 16th centuries. In the Urals and the Volga regions, Tatar literature begins its existence as the national system in the 15th century, during the Kazan Khanate epoch. Bashkir literature emerged as a national literature in the 16th century after the inclusion of Bashkortostan into Russia. However, up until the middle of the 19th century both literatures retained the features of the unified regional system. Thus, the regional and the national literatures coexist within one system, and create various forms of genetic and typological unity." According to the well-argued opinion of the researchers, "the Bashkir literature of the 13th-18th century, while passing through several developmental periods, saw a long evolutionary process from pan-Turkic towards national, and from medieval abstractness towards the new, realistic literature of the European kind, thus entering the 19th century with traditional features as well as certain renovations" (p. 117).

In the third part of the volume, "Russian Hand Written Book Tradition in the Urals of the 16th and 17th centuries" (Valentin Blazhes, Olga Zhurav-

el, Petr Mangilev, Natalia Mudrova, Elena Romodanovskaya, and Larisa Soboleva), it is chronologically logical that the discussion passes onto Russian literature of the Urals, and specifically the role of the Russian-language tradition (both folklore and literature) in the process of the cultural acquisition of the territory.

This part of the volume starts with the seemingly striking but inherently precise idea that “before the Urals folklore appeared, there had been folklore *about* the Urals” (p. 118). This section highlights the chronology of the appropriation of the Urals and the variations in its appearance and the image that were caused by the shift in the author’s viewpoint and pragmatics. The author, be it a chronicle writer, a commentator, a traveler, or a storyteller, thus appeared as the person of their own historical epoch or state. Thus, in the manuscript article from 1096 “the Other,” in the field of which the Urals and its peoples are attributed, is understood as “hostile.” The Ugra travelogue by Sigizmund Gerberstein (1549) that is a translation of the Russian travelogue, attributed to the Novgorod traders of the 14th-15th centuries, and the Perm travelogue found and published by A. I. Pliguzov, show that foreigners are characterized strictly within the dichotomy of ‘familiar’ vs ‘alien,’ as in folk tales or stories (p. 127).

After the review of the accounts of travelers and observers, the volume gives a picture of the ‘Ural text’ creation in folklore and literature. The peculiarity of the Urals landscape has received “its reflection in folklore, namely, in a number of prose tale cycles” (p.128), and has also been manifested through the reference to landscape objects, and the creation of toponyms that, “along with the folk tales, have seemingly animated the territory of the Southern Urals, including it in the circle of the national acquisitions” (p. 129).

In this part the researchers discuss Ural-specific folklore genres, marked by the zoomorphic and anthropomorphic images of the ‘owners’ of natural treasures. The cognitive complexity of the mountainous treasures, as well as their mystic unknowability, becomes clear. Cultural appropriation of the territory is one of the powerful ways of turning it into ‘little motherland’ with the homestead, the family, and the household.” However, the ‘Ural – Russia’ opposition has stayed up until the beginning of the 20th century, when it was usual to hear in the Urals: “This song is Russian,” “I’ve served as a soldier in Russia,” and “We’ve been brought from Russia as a whole village” (p. 133).

The second powerful movement of the cultural appropriation of the Urals territory was Christian colonisation. Christian church opuses that penetrated the Urals region, kept their ‘Grace’ status. All believers – the priests and the migrants, including the old-believers, – had piety in their attitude towards the church books that were hand-written or printed in Old Church Slavonic. The books were considered worth of veneration because they supposedly had exclusive powers of influence and persuasion” (p. 134). Church opuses in Old Church Slavonic laid the foundation of the literature of the Urals region. “One of the main problems connected to this

is cataloguing the existing book collections, researching their whereabouts, numbers, compositions, and distribution” (p. 138). The author of this part of the volume singles out three types of libraries, each with its own role in the Urals’ spiritual community: (a) the monastery libraries, closely connected to “the process of christianization of the region and the establishment of the administrative structure of the Russian Orthodox Church in the region”; (b) the Stroganov libraries that provided for the economic, spiritual, and educational success of Stroganov’s progress in the Urals and Kama regions. A direct proof of this process is the creation of the “Stater” collection by the priest of Solykamsk Nativity Church who had finished his work in Orel, invited by Grigory Stroganov, one of the most successful ‘merchants-conquerors’ of this great family. (c) The third unique type of the libraries of the region is represented by the village library that belonged to the Stroganov peasants of Sludka and Ilyinskoye. It was meticulously collected by several generations of one peasant and merchant extended family. It can be concluded that “in the middle of the eighteenth century in Sludka and later in Ilyinskoye, there existed a peculiar ‘reading circle’ of book collectors. The peasant book lovers collected the texts and passed them between each other, as well as thoroughly copied them, because many of the texts of interest existed exclusively in manuscript form. The interesting texts were collected during longer travels. The circle of their interests was exceedingly wide, ranging from the Lives of the Saints, the Bible and bible-related books and prayers to sly or waggish tales and Apocrypha” (p. 177). An interesting fact arises in connection to this library: “the wide-scale opening of village libraries happened as a result of the Zemstvo movement as late as the end of the 19th century. Thus, the Stroganov peasants’ library was ahead of its time by more than a century” (p. 181).

Description of the Russian hagiographic texts of the Urals concludes the third part of the volume. Researchers observe that “anthropological factor based upon local leaders who possess certain charismatic power and serve as catalyzing agents in the process of a given society’s self-identification can be located among the components of regional identity. This results in the appearance of local saints in the appropriated territory – a process that can be treated as obligatory within the context of Russian state politics. It is a necessary condition of the church’s reinforcement, playing a safeguarding role in everyday Orthodoxy. Without local saints, one could not feel protected against hostile powers, especially in places where the collective memory of the pre-Christian history was strong” (p. 182). Thus, the Lives of Trifon of Viatka, Simeon of Verkhniaia Tura, Kosma of Verkhniaia Tura, the hagiographic sources about the Elder Dalmat, and the hagiography of Mother Superior Taisiya Kostromina, all appear in the Urals within the book and manuscript tradition of the 16th–17th centuries.

The fourth part of the volume, “The Literature and Educational Work of the Tobolsk Archdiocese House” (by Elena Romodanovskaya and Larisa Soboleva), is focused on the research of one of the most important ‘cultural nests’ of the Urals and Siberia region, along with Stroganov’s. An important

role in the organization of this 'nest' is "played by the bishops who presided over the Tobolsk Cathedral. Among them there were major writers, known not only in Siberia" (p. 215): Archbishop Cyprian, Archbishop Nektariy, Simeon, Ignatiy Rimskiy-Korsakov, a number of Ukrainian natives – Silvester Glovatsky, Dmitry (Tuptalo), Filofey Leshchinsky, and Johann Tobolsky (Maximovitch). Each of these individuals is connected to serious spiritual, culture curating, and creative practices; from original writings to the founding of schools, a seminary, a typography, and a theater. The development of the Tobolsk Archdiocese House led to the creation of the Yesipov Chronicle, one of the few 'authored chronicles' that can be "characterized primarily by the logic and the clarity of its structure". Yesipov, writing his Chronicle, presents Yermak as a weapon of God in the war with the infidels, as a "double-edged sword" (p. 226).

The Fifth Part, "Historical Tales in the Urals" (by Valentin Blazhes and Larisa Soboleva), is focused on the conceptualization in the regional texts of two important historical events: Yermak's Conquest of Siberia and the coming of the Old-Believers to the Urals. Several variations on events surrounding the acquisition of Siberia are found in the Stroganov Chronicle, the Kungur Chronicle, the "Tale of the Sibir Land," the "Tale of Yermak's Origins," and in the "History of Siberia" by Semen Remezov. The main methodology in studying these sources involves the idea that "treating a Chronicle as literature, it is important to keep in mind that the notions of the historic and artistic truths, while not contradicting each other, do not coincide. By changing historical reality consciously or involuntarily, by bending space and time in the artistic text, the author is heading towards another type of truth: the truth of penetration into the system of human values, and the replication of the logic of the human destinies in their relations with their epoch and society" (p. 232).

The arrival of the Old-Believers in the Urals is yet another factor in the history of the Urals' literary tradition. Analysis of the "Genealogies of the Chapel Sect" (Родословий часовенного согласия), "Genealogy of Nikon," historic "Genealogy of the Old-Believers of Pomorie," etc. leads to the conclusion that "the Old Believer type of writer developed thanks to the realization of the dramatic condition and through the personal opposition of the author to a monstrous and well-organized system of state prosecution. It has always been a choice for the suffering in the name of the truth as understood by the Old-Believers, the practical result strived towards, and formulated by the confessional unanimity of the members of the church. In this respect the Old-Believer's opuses incorporate elements of publicistics on a much wider scale than the traditional old Russian" (p. 263).

The sixth part of the volume is named "The Types of Literary Tradition in the Mining Urals of the 18th Century" (by Valentin Blazhes, N. S. Korepanov, Elena Pirogova, Larisa Soboleva, and V. N. Solomeina). In the preface to this part, the researchers identify some characteristics of the spiritual and artistic state of the region in the period of its intense economic development. These include, firstly, the channelling of intellectual and creative

energy into the life-supporting realm, ensuring a rather active, pragmatic attitude towards art, rather than a merely creative one. Secondly (as a consequence), not only the artistic texts, but also official documents come to occupy prime positions in the literature as it develops. Thirdly, it should be noted that literature of the border time did not know strict division into 'documentary' and 'artistic' – the feature that can explain the appearance of "the mature and thinking reader who possesses the knowledge of all literary genres and is capable of judging the text according to its cumulative qualities. The same feature shows an understanding of the need not only in pragmatic texts, but also in the aesthetically meaningful and artistically organised texts in the 18th century.

Therefore, the appearance of the unique collection of *bylinas* and songs compiled by Kirsha Danilov, Master Refiner from Nizhny Tagil plant, seems logical" (p. 292). The composition of the collection is daring and artistically charged: *bylina* follows erotic song, and historic song follows parody, spiritual poem "Golubina kniga soroka pyaden" follows a song about 'a blooming fool.' Study of the composition principles of the collection suggests a distinctive concept of time, that of the 'Epic person.' Analysis of the ways this person perceives and evaluates life events and the world, uncovering the specifics of his spirituality, which is often not recognized and not 'read' by the new time, shows that true bearers of the Epos, such as Kirsha Danilov, "raise to the heights of genuine assessment of a human being as a contradictory unity between the 'high' and the 'low,' the ideal and the material. This type of assessment is reflected in the act of creation of the collection, for example, via the contamination of the 'heroic' and the 'comic' songs" (p. 302).

This part of the volume contains a further discussion of the role of the libraries in the region, indirectly supporting the thesis of the existence of a serious circle of readers in the Urals. Thus, the famous library of Akinfiy Demidov "suggests understanding of the bookish interests of the newly born Russian manufacturing bourgeoisie of the 18th century. The composition and contents of the library differ from the known book collections of the first half of the 18th century. It can be rather compared to the libraries of the secular elite of the post-Petrine era. <...> It was not a grand and ostentatious library: much of Demidov's book collection was necessary to him as handbooks or educational resources; and an interest in the fiction cannot be excluded." (p. 309).

The final part of the chapter devoted to the intensive transformation of the Urals into the industrial treasure-house of Russia, quite naturally incorporates fragments analysing the scientific, epistolary and documentary heritage of the two founders of Yekaterinburg – Wilhelm de Hennin and V. N. Tatishchev.

The seventh part of the volume, "Documentary and fiction literature of the Enlightenment in the Urals" (by K. V. Anisimov, V. M. Vanisushev, T. G. Vladykina, D. V. Larkovich, E. E. Prikazchikova, A. G. Prokofieva, and V. Yu. Prokofieva), is one of the most structurally complex parts of the edi-

tion. The necessity for various methodologies combined in one part can be explained by the heterogeneity of the Enlightenment literature in the Urals.

1. Firstly, the work analyses the transformation of the description of the Urals in travel notes of Western European and Russian travellers. In the notes of the 17th century travellers (such as the arch-priest Avvakum, Nikolai Spafariy, Izbrant Ides, and Adam Brand) the image of the Urals arises as being 'witnessed' by a Russian exile or a foreigner. In Enlightenment texts (such as those by V. N. Tatishchev, G. I. Novitsky, V. F. Zuev, and A. N. Radishchev) the Urals are placed in an "*ideological* context that included and processed the mythology of the authority and the plots behind national and state self-identity" (p. 348).

By the end of the 17th century the modern, familiar image of the Urals as a mountain ridge and a border between Europe and Asia emerges. This image is accompanied by the economic and professional characteristics of the 'borderland' as a mining and metal processing territory.

2. Further travelogue research continues with the study of widely present Ural memoir accounts ("Zapiski" by I. I. Nepluev, K. G. Derzhavin, A. I. Labzina, and "My Time" by G. S. Vinsky). An excellent example of the Urals memoirs tradition is "The Life Story of A Noble Woman" by the 'Ural Mason' A. E. Labzina, "whose extraordinary character and will power made her one of the most interesting women of the 18th century" (p. 357).

3. An essay on the literary life of the 18th century Orenburg region serves as a preface to the study of K. G. Derzhavin's presence in the Urals. His early literary activities, address, albeit in embryonic form, the same problems that became central in the period of this "state poet's work in the Urals: the peculiarities of nature and the geographical position of the territory on the border between Europe and Asia, the Pugachev uprising, and the specificities of the nomadic life of the steppe peoples" (p. 371).

4. A detailed study of the state and creative activity of K. R. Derzhavin in the Urals, including the well-checked literary plots featured in his 'Ural pages' (his memoirs, "Chitalagayskiye odes," Felitsa image, etc.), offers interpretation of the little-known comic opera "Miners" in which "that ballet, conceived by Derzhavin, reflected the process of semiosis, when the traditional mythology of the peoples of the Urals seemingly gave way to a new mythology of imperial colonialism, and the pragmatic idea of the greatness of the Urals and its inexhaustible natural resources and economic opportunities was given original artistic expression" (p. 389). The creation of an 'industrial' opera (a term coined by V. V. Danilevsky) "once again confirms that the Urals left a significant trace in the life and creative work of Derzhavin. The 'Urals' poetry of Derzhavin gave way to the genre of the 'new ode' and significantly contributed to the author's rethinking of the geopolitical realities of 18th century Russia. It also defined the main direction in which the state utopia developed, connected to the reign of 'Kyrgyz-Kaisak Tsarina Felicia.' In its turn, Derzhavin's first 'industrial' opera "Miners" anticipated the appearance of the manufacturing theme that was rigorously fed by the reality of mining life in the Urals" (p. 389).

5. A historical essay on the development of Udmurt culture speculates upon the fact that for centuries a nation without written tradition fulfilled its magic, cognitive, and aesthetic potential through folklore. However, it was precisely “the system of forming folklore genres that prepared the ground for the perception of written culture by the nation. After the Udmurts were put into the orbit of all-Russian social, political and economic change, they found an opportunity to develop their culture in a new direction – graphically expressed literacy. The Eighteenth century in this sense becomes an important point of reference: the socio-economic and cultural development of the epoch paved the way for the first steps in the development of scientific views in the Udmurt language” (p. 392).

The final, eighth part of the volume – “The literary process in the Urals of the late 18th and early 19th centuries” (by K. V. Anisimov, V. V. Blazhes, O. V. Zyrianov, D. V. Larkovich, V. A. Pavlov, V. D. Rak, and E. K. Sozina) provides an analysis of the literary process and the specificities of literary life, along with comprehensive portraits of the important writers, who were largely responsible for determining the nature of the literature of the period.

The literary process and literary life of the period, linked by a single centre (Tobolsk), are explored by the philological reconstruction both of editorial strategy and tactics, and of the artistic functioning of the first Ural-Siberian magazines “*Irtysh, prevrashchayushchiysya v Ipokrenu*” (“*Irtysh turning into Hippocrene*”), “*Istoricheskaya biblioteka*” (“*Historical Library*”), ed. D. V. Kornilyev, and “*Biblioteka uchenaya, ekonomicheskaya, npravouchitelnaya, istoricheskaya i uveselitelnaya v polzu i udovolstviye vsyakogo zvaniya chitateley*” (“*Library scientific, economic, pious, historical, and entertaining for the benefit and enjoyment of all classes of readers*”), for the latter D. V. Korniliev served as a publisher. This focus on publishing activities is understandable, since the publication of non-capital, provincial magazines “has had important implications in the literary life of the region itself. Replacing the folklore genres system, the paradigm of ancient Russian literature, as well as business correspondence and memoir writing, dominant during the preceding period and marked, as a rule, by social and utilitarian function, there came a new artistic and aesthetic paradigm that can be called literature in the full sense of the word (as artistic writing, characterized by an exclusively aesthetic function)” (p. 403). The favourable role of the magazines can be proven, for example, by the appearance of the unique circle of “*Irtysh*” magazine poets, each with their unique poetic voice. These are the publisher and poet P. Sumarokov, the poet, journalist, and playwright I. I. Bakhtin, and N. S. Smirnov, who was a bright and original poet of dramatic destiny, accompanied by the stigma of an exiled criminal to the end of life.

The overview of the Urals literature at the turn of the 18th and the 19th centuries is rounded up in this part by the three essays on authors P. A. Slotvsov, A. I. Popov, and I. I. Varakin.

P. A. Slotvsov was born in the Urals and as a particularly gifted student was sent from Tobolsk Theological Seminary to St. Petersburg, where he re-

ceived further education. He was a person, whose literary, historiographical and nature-cataloguing activities "became one of the pivotal events in the cultural development of the Ural-Siberian region of the first half of the 19th century" (p. 480). Slovtsov was the author of "Letters from Siberia," "Walks Around Tobolsk" and "Historical Overview" ("Istoricheskoe obozrenie"), as well as poetic works (The Ode "Antiquity" ("Drevnost"), mis-attributed to Radishchev for a long time, "Message to Speransky," "Materia" etc). In his various creative works Slovtsov combined scientific academism and artistic vision: "The scientific and the artistic combined eclectically in him, and defined both the poetic individuality of the works of Slovtsov himself, and the perspectives of further literature development in the region" (p. 491).

The poet A. I. Popov represents a different direction in the literary process of the 18th century Urals – a satirical one. In 1778 in St. Petersburg this author published a collection of "Satirical, funny and moralizing epigrams or inscriptions, composed in Khlynov by the prefect of the Vyatka Seminary Anton Popov." The originality of the poet's epigrams lies in the fact that "the moralizing epigrams of A. I. Popov are deprived of characters with antique literary names. The poet speaks in the first person or in general terms of poverty and wealth, of fleeting time, of the inconsistency of social being and other 'eternal' issues. In these epigrams, the reader communicates not with a moralist with a pointing finger, but a secular person with a wide range of cultural baggage and a mockingly cheerful view of the world, typical of Russian nature" (p. 495).

The serf poet I. I. Varakin with his poetry book "Pustynnaya lira zabvennogo syna prirody I. V." ("The Deserted Lyre of Nature's Forgotten Son I. V."), (SPb., 1807) occupies a very special place in Urals literature - it "is an outstanding aesthetic achievement that occupies an important place not only in the literature of the region but also in all-Russian literature, even if he is not very well-known. It is a well composed book, not just a collection of poems. In its composition one sees the movement from the 'higher' genre of ode to the 'lower' genres of message and prosaic letter, as well as a shift of the artistic consciousness towards the lifestyle and feelings of a private person that acquire aesthetic significance. The latter is of course the brightest trait of the sentimentalist and pre-romantic periods in literature. Finally, in some works by Varakin there is a passage from individual creative consciousness to a specifically romantic usage, stimulated by his own biography" (p. 507).

We should hope that the above review of this voluminous publication demonstrates the whole scale of extensive socio-historical, cultural, and literary material analysed by the researchers, as well as the extensive work on systematising it and contextualising the long neglected or half-forgotten names of several cultural 'heroes.' This volume of the original research, in our view, is not a patchwork but instead a rich mosaic and highly complex work. The necessity of internal logic in each part of the first volume of "A History of Literature in the Urals" manifests itself in the mandatory scientific themes that have become the backbone for the whole publication

and have ensured the integrity of the research. These themes include the relationship between literature and ethnicity, literature and history, literature and power, literature and religion, literature and folklore, literature and culture, the spiritual value of regional literature and its artistic potential, etc.

The unified algorithm of the research, conducted according to the planned 'lines of force,' is complemented by the variety of philological analysis (biographical, genre-related, stylistic, contextual, meta-textual, evolutionary, etc.), the method and the techniques of which are dictated by the specifics of the material. As a result, as the text unfolds, the unusual, sometimes unique features of the literature and literary life of the region emerge in a vivid picture, entirely correlating (in various forms, sometimes behind, sometimes in front) with the way in which literature developed in Russia as a whole.

The Academy of Sciences level and status of the publication is determined by the whole system of its qualities: the implementation of the most comprehensive description of the literary process and artistic phenomena within it; professional responsibility and rigour; the introduction of little-known or unknown facts into the scientific picture that involves an enormous archival research; the system of innovative approaches to interpretation necessarily correct towards the history of the research that has manifested itself in mandatory historiographical introductions, giving the history of the issue its maximum representativeness. Scientific controversy is presented correctly, it goes well 'inside the text,' thus saving the needed objectivity of tone. An example here might be the essay on medieval Bashkir literature, which raises the traditionally controversial issue of the culture and literature of the Bulgar period and the related problem of the origins of the belongings and beginnings of a whole row of literatures. Finally, while maintaining an individual research style, all pages bear the 'genre memory' of proper academic research. Special mention should be made of the fundamental explanatory, reference and bibliographic sections of the edition.

In the preface to the First volume the reviewers express the hope that "scientific austerity, preserved among Russian scientists," will enable the Urals literature of the 19th and 20th centuries to be studied. For there can be no doubt that "the Ural region nowadays takes a prominent place in the Russian Federation, so an adequate assessment of its literary and cultural heritage needs urgently to be addressed" (p. 10).

В контексте идей этнопоэтики анализируется исследование «Литература Урала XIV–XVIII вв.» (М., 2012), выполненное группой ученых. Подчеркивается новаторский характер коллективной монографии, в процессе создания которой были открыты новые литературные источники, собраны сведения о рукописных коллекциях и библиотеках частных лиц, выявлены факторы возникновения и развития региональной литературы. По мнению автора, вниманию читателей

предложена интересная концепция многонациональной литературы Урала, обрисована система «культурных гнезд», в которых важное место занимала литература и книжность. Существенным достижением стало обращение к творческим судьбам создателей артефактов, выполненное с привлечением новых материалов. Это первое исследование подобного рода, где устанавливается взаимосвязь истории освоения российского пространства на востоке и неповторимость литературного творчества региона.

Ключевые слова: литература Урала; культура Урала; освоение Урала; культурное гнездо; этнопоэтика.

Tatiana Snigireva (Снигирева Татьяна Александровна), prof.
Russia, Yekaterinburg
Ural Federal University
tas0905@rambler.ru

**ЕВРОПЕИЗАЦИЯ РОССИИ
В ИССЛЕДОВАНИИ ЯРМО Т. КОТИЛАЙНЕ**

Kotilaine, Jarmo. Russia's Foreign and Economic Expansion in the Seventeenth Century. Windows on the World (The Northern World. North Europe and the Baltic c. 400-1700 AD. Peoples, Economies and Cultures 13). – Leiden : Brill Academic Publishers, 2005.

This is a review of a book considering the problems of foreign political and economic expansion of the Moscow State in late 17th century. The main idea of the book under review about the fact that the Moscow State had by the time of Peter the Great's reforms become a European one is substantiated by Jarmo T. Kotilaine by means of two points: 1. Dynamic economic development within the context of international connections and 2. The integration of the Moscow State into the European economic system. A comprehensive bibliographic survey deepens the research of the development of trade routes and the level of Russia's international economic integration.

Keywords: Moscow Centralized State; Europeanization; modernization; international trade routes; history of economic relations.

Даже историки, специализирующиеся на истории Европы и рассматривающие процессы государственного и имперского строительства России как часть европейской истории, относят начало европеизации России, как правило, на время правления Петра Великого с 1689 по 1725 г. Киевская Русь и Московское централизованное государство оцениваются более как евразийские, а значит, неевропейские. И даже Московское государство раннего Нового времени, реорганизованное и стабилизированное в XVII в. династией Романовых, классифицируется в большинстве случаев как (еще) «неевропеизированное». Образ предшественника Петра, его отца Алексея Михайловича (1645–1676), как целеустремленного модернизатора и «прозападника», каким его создал берлинский историк Ганс-Иоганн Торке, едва ли нашел приверженцев. Схожей точки зрения придерживается историк из Гарварда, специализирующийся на истории Северо-Восточной Европы, Ярмо Т. Котилайне (Jarmo T. Kotilaine), выдвинувший тезис о том, что Московское государство уже за сто лет до того, как Россия стала ведущей державой

в регионе Балтийского моря, и за двести лет до достижения своей гегемонии во всей Восточной Европе, было в своей основе европейским ввиду динамичного экономического развития в контексте международных связей, более того, ввиду интеграции Московского государства в мировую европейскую экономическую систему. Соответственно начало Европеизации России ученый относит не к концу, а к началу XVII в. Для обоснования своей точки зрения Котилайне приводит два главных аргумента. Во-первых, экономика Московского государства ни в коем случае не была «отсталой», «недоразвитой» и «изолированной». Напротив, она находилась в процессе драматичной экспансии и модернизации, страной, открытой по отношению к другим рынкам. Автор показывает это с помощью подробного описания торговых путей из России и в нее. Это морской торговый путь из Архангельска через Белое, Баренцево, Балтийское и Северное моря, а также из Северо-Восточной Руси через шведские владения в Балтийском море в прибалтийские страны. Их дополняли маршруты по суше через Центрально-Восточную в Центральную Европу, маршруты в Азию, прежде всего в Иран в период правления династии Сафавидов, Китай, Индию, Османскую империю, а также крупные торговые центры Средневековья Бухару и Хиву. Кроме того, Котилайне позиционирует российскую экономику XVII столетия как соответствующую своему времени и на гребне всеобщего экономического развития, так как она чутко и динамично реагировала на вызовы времени и рынка, поставляя на него *naval stores* (снаряжение для строительства судов)¹: поташ, мачтовый лес, канаты, веревки, парусину, а также предметы роскоши: юфть и «мягкую рухлядь» (меха), время от времени – зерновые и даже персидский шелк-сырец.

Demand-driven trade (управляемый торговый спрос) и *Russian supply response* (российская реакция-предложение), согласно квинтэссенции Котилайне, играли роль взаимодополняющих противовесов. В заключение своей аргументации он называет также процесс Европеизации, происходящий в России начиная с 1630-х гг. и сопровождавшийся притоком иностранных специалистов, дипломатов и прежде всего зарубежных торговых гостей, а также трансфером технологий по производству protoиндустриальной продукции.

Работа Котилайне, показывающая возросший интерес английских, голландских, ганзейских, датских и шведских торговых партнеров к российскому рынку, чуткую экономическую и политико-экономическую реакцию со стороны России, в том числе и благодаря существующим торговым путям, является в количественном и качественном отношении *dichte Beschreibung* (или «интенсивным описанием»), базирующимся на солидной базе источников. Автор исследовал множество архивных материалов в Москве, Тарту, Любеке и других городах, изданные источники на различных языках, огромное количество научных публикаций (список литературы и источников занимает 60 страниц).

¹ Термины Котилайне и Трёбста приводятся в соответствии с оригиналом.

Статистический анализ материала позволяет автору исследования прийти к трем принципиально важным выводам: 1) на протяжении всего XVII в. между Россией и Европой преобладал интенсивный торговый оборот с соответствующими конъюнктурными всплесками в середине и в конце изучаемого периода; 2) уровень модернизации российской экономики виден на примере двух видов мобилизации: повышенный спрос порождал повышение объемов производства; возникающие политические, военные, инфраструктурные проблемы решались за счет мобилизации и переключения на один из трех торговых путей в Северо-Западную Европу; 3) интеграция страны в европейскую мировую экономическую систему требовала со стороны царя формирования и продвижения инновационной политики экономической модернизации, предусматривавшей не только повышение объемов продукции и максимизацию сбора налогов, но и развитие отечественного крупного купечества – *a Russian 'bourgeoisie'*. Следовательно, согласно Котилайне, торговые партнеры Западной и Северной Европы оказались «акушерками империи» (*midwives of an empire*) или крестными отцами империи Петра I. Тезисы Котилайне по поводу экономической экспансии Московского государства, включая политику открытости и интернационализации, не являются полностью новыми. Артур Аттман (Artur Attman), специалист по экономической истории из Гетеборга, посвятил труд всей своей жизни одной единственной цели – показать уровень интеграции российского рынка в мировое хозяйство XVII в. Его коллега из Билефельда Элизабет Хардер-Герсдорфф (Elisabeth Harder-Gersdorff) подробно исследовала со статистическими выкладками западноевропейский спрос на юфть, вызвавший массовое выращивание крупного рогатого скота и появление кожевенных мануфактур в Центральной России.

Рецензент основательно ознакомился с научной литературой по вопросу альтернативных торговых экспортных путей России, а ссылки на литературу и работы Гельмута Пиримейе (Helmut Piirimäe) [Piirimäe] Вальтера Кирхнера [Kirchner], Германа Келенбенца [Kellenbenz], Самюэля Г. Барона [Baron, 1967; 1991], Пауля Бушковича [Bushkovitch], Василия Дорошенко [Дорошенко] или И. П. Шаскольского [Шаскольский, 1994; 1998] освещают различные аспекты интенсивного трансфера культуры, капитала и технологий между Россией и другими регионами Европы XVII столетия. Основная заслуга исследования Котилайне состоит в обобщении большого количества исследований международного научного сообщества, а также в подкреплении своих выводов дополнительными источниками балтийского происхождения.

Ценность данного исследования была бы гораздо выше, если бы автор дополнил его заключительной аналитической главой, в которой бы он, помимо упоминания отдельных приграничных городов и портов, произвел бы аналитический и статистический анализ всеобщей экономической интеграции между Россией, Западной и Северной Европой и Азией, с одной стороны, и, с другой, подвел бы своего рода общеэкономический итог.

И хотя региональные и секторальные тренды указывают на то, что Россия раннего Нового времени трансформировалась под знаком европеизации благодаря таким своим «окнам в мир» (*windows on the world*), как Архангельск, Новгород, Смоленск или Астрахань, общая картина остается схематичной. Работа содержит пять относительно информативных карт, а также 25 исторических репродукций российских и внешних торговых путей включая некоторые исторические карты. В заключение прилагается обширный предметный указатель. Большую ясность в представление о степени исследованности данной темы помогут бы внести краткий и инструктивный обзор уровня исследований во введении, многочисленность которых затрудняет составить себе целостную картину о данном предмете. Исследование Ярмо Т. Котилайне с хорошо обоснованными главными тезисами, убедительными результатами и порою слишком длинными аналитическими частями представляет собой подведение итогов исследований XVII столетия российской истории. Оно содержит частичные объяснения того, почему Московское государство, находящееся на европейской периферии, со слабо заселенными территориями, смогло взять на себя в XVIII в. роль гегемона в Северо-Восточной Европе, а в XIX в. стало «жандармом Европы». Благодаря многочисленным указаниям на значение импорта оружия и материалов оборонного значения в российской внешней торговле, выкристаллизовался еще один момент, проясняющий развитие Российской империи, а именно милитаризация российского государства, находящегося в состоянии перманентного военного противостояния в эпоху Северных войн с 1558 по 1721 г.

Дорошенко В. В. Торговля и купечество Риги в XVII веке. Рига, 1985. [Doroshenko V. V. Torgovlya i kupechestvo Rigi v XVII veke. Riga, 1985.]

Шаскольский И. Русская морская торговля на Балтике в XVII в.: Торговля со Швецией. СПб., 1994. [Shaskol'skij I. Russkaya morskaya torgovlya na Baltike v XVII v.: Torgovlya so Shvetsiej. SPb., 1994.]

Шаскольский И. Экономические отношения России и Шведского государства в XVII веке. СПб., 1998. [Shaskol'skij I. Ekonomicheskie otnosheniya Rossii i Shvedskogo gosudarstva v XVII veke. SPb., 1998.]

Piirimäe H. Die Rolle des Handels und Handelskapitals in der schwedischen Staatswirtschaft in Livland im 17. Jahrhundert. – Hansische Studien. 3. Bürgertum-Handelskapital-Städtebünde. Weimar, 1975. (Abhandlungen zur Handels- und Sozialgeschichte. 15.) S. 70–85.

Piirimäe H. Dorpat/Tartus Handelsstraßen (bis zum Nordischen Krieg). – 6. Forum Balticum “Europa als Brücke – Europäische Wege zwischen Tartu/Dorpat and Pskow/Pleskau”. Tartu/Dorpat, 1998. S. 84–107.

Piirimäe H., Sommerhage C. Zur Geschichte der Deutschen in Dorpat, Tartu, 1998

Kirchner W. Kontinuität und Wandel im Wirtschaftsverkehr zwischen Russland und dem Westen, 1991

Kellenbenz H. Anton Fugger: Persönlichkeit und Werk, Augsburg, 2001.

Baron S. H. The Travels of Olearius in seventeenth-century Russia. Stanford. 1967.

Baron S. H. Explorations in Muscovite history. Hampshire : Variorum, 1991.

Bushkovitch P. The Merchants of Moscow 1580 – 1650. New York : Cambridge University Press, 1980.

Рецензируется исследование, в котором поставлены вопросы внешнеполитической и экономической экспансии Московского государства до конца XVII в. Свой главный тезис о том, что Московское государство уже к этому времени – до начала Петровских реформ – было по своей сути европейским, Ярмо Т. Котилайне верифицирует с помощью двух тезисов: 1) динамичное экономическое развитие в контексте международных связей и 2) интеграция Московского государства в европейскую экономическую систему. Широкий библиографический обзор дополняет глубокое исследование по развитию торговых путей и уровню международной экономической интеграции России.

Ключевые слова: Московское централизованное государство; европеизация; модернизация; международные торговые пути; история экономических связей.

Stephan Troebst (Штефан Трëбст), prof.

Germany, Leipzig

Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur

Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig

troebst@uni-leipzig.de

Сокращения

БАН	Библиотека Российской академии наук
BAN	Biblioteka Rossijskoj akademii nauk
ГАСО	Государственный архив Свердловской области
GASO	Gosudarstvennyj arkhiv Sverdlovskoj oblasti
ПСЗ-1	Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1
PSZ-1	Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii. Sobr. 1
РГАДА	Российский государственный архив древних актов
RGADA	Rossijskij gosudarstvennyj arkhiv drevnikh aktov
РГВИА	Российский государственный военно-исторический архив
RGVIA	Rossijskij gosudarstvennyj voenno-istoricheskij arkhiv
РГИА	Российский государственный исторический архив
RGIA	Rossijskij gosudarstvennyj istoricheskij arkhiv
Сб. РИО	Сборник Императорского Русского исторического общества
Sb. RIO	Sbornik Imperatorskogo Russkogo istoricheskogo obschestva
ЦИАМ	Центральный государственный архив г. Москвы
TSIAM	Tsentral'nyj gosudarstvennyj arkhiv g. Moskvvy
ЧОИДР	Чтения Общества истории и древностей российских
CHOIDR	Chteniya Obschestva istorii i drevnostej rossijskikh

1. Война как социокультурный феномен в российской истории (1814, 1914 и др.). Модератор – Андрей Келлер (a.keller2010@yandex.ru):

- Военные технологии: аспекты институционального влияния.
- Военные победы и поражения: горизонты ожиданий.
- Предательство и героизм: национально-исторические особенности и идеологические стратегии.
- Российский пацифизм: форма идеологии или народное убеждение?
- Военные события и их участники в сознании народа. Создание образа войны в русском искусстве.

2. Принуждение, насилие, террор в российской истории и национальной памяти. Общественно-политическое и личностное противостояние. Модераторы – Дмитрий Редин (volot@mail.ru), Владимир Аракчеев (arakk@rambler.ru):

- Легитимация страха и террора в государственной идеологии (от Ивана Грозного до Сталина).
- Историческая аксиология режимов насилия и преследования.
- Фальсификация безопасности и защиты в артефактах режима насилия.
- Антропология насилия: человек в противостоянии террору.
- Опричнина как утопический институт достижения идеальной власти: сравнительные аспекты.

3. Российское православие. Сергей Радонежский: полифония образа. Модераторы – Елена Главацкая (elena.glavatskaya@usu.ru), Лариса Соболева (l.s.soboleva@mail.ru):

- Церковь как политический институт в государственной истории и мифологии.
- Формальные и духовные лидеры церкви.
- Христианская аскеза и хозяйственная этика.
- РПЦ: адаптационные процессы во времени и пространстве (возможен сравнительный аспект).
- Методологии изучения религиозного наследия.
- Миссионерство: сопоставительный аспект.
- Литература и искусство в церковной жизни.

4. Советское наследие в науке и искусстве. Модераторы – Дмитрий Редин (volot@mail.ru), Мария Литовская (marialiter@gmail.com):

- Научные школы советского периода в гуманитаристике: контекст мировой науки и проекция на идеи марксизма.
- Перспективные концепции в гуманитарной науке советского времени (М. Бахтин, В. Пропп, А. Лосев, А. Гуревич, Ю. Лотман, Д. Лихачев и др.).
- Советское искусство в контексте мировой культуры.

5. Константы российского массового сознания: словесное и изобразительное воплощение. Модераторы – Лариса Соболева (l.s.soboleva@mail.ru), Грем Робертс (groberts@u-paris10.fr):

- Лозунги и слоганы российской политики и идеологии: культурно-исторические истоки и вызовы времени.
- Реклама в России как инструмент познания бытовой жизни, культурной памяти и игры предпринимательского воображения.
- Инструментальные функции литературы и искусства в жизни современной цивилизации.
- Русский язык и языковые контакты.

1. War as a Sociocultural Phenomenon of Russian History (1814, 1914, etc.). Moderator – A. V. Keller (a.keller2010@yandex.ru):

- Military Technology: Aspects of Institutional Influence.
- Military Victories and Defeats: Horizons of Expectation.
- Treason and Heroism in the War: National and Historic Peculiarities and Ideological Strategies.
- Russian Pacifism: a Form of Ideology or a National Conviction?
- Military Events and their Participants as Viewed by the Public, the Creation of the Image of War in Russian Art.

2. Compulsion, Violence and Terror in Russian History and National Memory. Sociopolitical and Personal Confrontation.

Moderators – Dmitri Redin (volot@mail.ru), Vladimir Arakcheev:

- Legitimation of Fear and Terror in State Ideology (from Ivan the Terrible to Josef Stalin).
- Historical Axiology of Regimes of Violence and Persecution.
- Safety and Protection Falsification in the Artifacts of Violence.
- The Anthropology of Violence: Man against Terror.
- Oprichnina as a Utopian Institution for Reaching Ideal Power: Comparative Aspects.

3. Russian Orthodoxy. Sergius of Radonezh: the Polyphony of Image.

Moderators – E. M. Glavatskaya, L. S. Soboleva (l.s.soboleva@mail.ru):

- Church as a Political Institution in State History and Mythology.
- Formal and Spiritual Church Leaders.
- Christian Asceticism and Economic Ethics.
- The Russian Orthodox Church: Adaptation Processes in Time and Space (with a Possible Comparative Approach).
- Religious Heritage: Methods of Study.
- Literature and Art in Church Life.

4. The Soviet Legacy in Science and Arts. Moderators –

D. A. Redin (volot@mail.ru), M.A. Litovskaya (marialiter@gmail.com):

- Research Schools of the Soviet Period in the humanities: World Academic Context and Marxist Projections.
- Breakthroughs in the Sphere of Humanities of the Soviet Era (Bakhtin, Propp, Losev, Gurevich, Lotman, Likhachev, etc.).
- Soviet Art and the Ideologemes of Social Realism.

- Nostalgia for the Soviet Past as a Modernization Resource of the Present.
- Soviet Culture Re-actualization through the Dialogue with the Past.

5. The Constants of Russian Mass Consciousness: Verbal and Artistic Realization. Moderators – L. S. Soboleva (l.s.soboleva@mail.ru), Graham Roberts (groberts@u-paris10.fr):

- Mottos and Slogans of Russian Politics and Ideology: Cultural and Historical Origins and the Challenge of the Time.
- Advertising in Russia as an Means to Comprehend Everyday. Life, Cultural Memory and Commercial Imagination.
- Instrumental Functions of Literature and Art in the Life of Modern Civilization.
- The Russian Language and Russian Contacts: the Phenomenon of Precedent.

